

Артур Конан-Дойль

Т Е Н Ь Б О Н А П А Р Т А

МОСКВА – 2021

А. Конан-Дойль. ТЕНЬ БОНАПАРТА. Переводы с английского.

Крупнейший английский писатель, тонкий мыслитель, общественный деятель, публицист, доктор медицины и доктор права сэр Артур Конан-Дойль известен всему миру как непревзойдённый мастер детективного и приключенческого жанров. Многие герои, рождённые его пером, обрели поистине грандиозную известность по всей планете: это и сыщик Шерлок Холмс со своим верным спутником доктором Ватсоном, это и неутомимый герой Наполеоновских войн бригадир Жерар, и английский рыцарь сэр Найджел Лоринг, и несравненный профессор Челленджер со своими друзьями. В настоящий том вошли два романа «наполеоновского цикла» Конан-Дойля: «Гигантская тень» и «Дядюшка Бернак» (вымышленные мемуары адъютанта французского Императора).

© Перевод с английского: М.Антонова и П.Гелева, 1998 г.

НАПОЛЕОНОВСКАЯ ЭПОПЕЯ КОНАН-ДОЙЛЯ

Нет, что ни говорите, а применительно к Конан-Дойлю нынешнему поколению русскоязычных читателей необыкновенно повезло! В достославные советские времена этот английский автор на 99% был известен и памятен у нас лишь как создатель «Шерлока Холмса», классик, мэтр и зачинатель детективного жанра. К тому же книги его ни в каких магазинах, ни за какие деньги было не купить и «по знакомству» не достать, хотя печатались они как минимум стотысячными тиражами, а обычно и более того. А сейчас все, кто интересуется, могут приобрести любую из его книг в свободной продаже да к тому же знают, что копь скоро речь зашла о Конан-Дойле, то детективами здесь дело не исчерпывается.

В самом деле, если взять огромный массив сочинений писателя и вычестить из него все произведения, посвящённые Холмсу и Ватсону, то оставшегося вполне хватит на то, чтобы составить ещё несколько добротных писательских репутаций. Такова сила огромного таланта и трудолюбия.

И далеко не последнее место займёт здесь та часть французской тематики, что целиком посвящена у него Бонапарту. Романы и рассказы «наполеоновского цикла» составляют значительный пласт творчества английского автора. То будут: «Дядюшка Бернак» (вымышленные мемуары адъютанта французского императора); два цикла обожаемых русскими читателями рассказов о подвигах и похождениях бригадира Жерара, этого незабвенного рубаки и вряля, своеобразного французского аналога барона Мюнхгаузена. Наконец, это – «Гигантская тень» (роман о битве при Ватерлоо), отдельные новеллы и завершающий наполеоновский цикл роман «Родни Стоун», являющийся одновременно и романом о боксе, к которому тематически вполне может примкнуть несколько спортивных рассказов писателя. (Конан-Дойль, вообще говоря, сильно любил спорт и серьёзно им увлекался; был зачинателем и пионером в некоторых видах спортивных состязаний; достаточно сказать, что именно он ввёл в обиход катание на лыжах в Альпах. И к автомобильным гонкам он тоже приложил руку!)

В 1894 году, когда писатель находился в Соединённых Штатах, выступая с публичным чтением своих произведений, на одном из них (дело было в Нью-Йорке) он предложил слушателям ещё не опубликованный рассказ «Медаль бригадира Жерара». В декабре того же года рассказ появляется в английском журнале «Стрэнд мэгезин». А уже в январе 1895 года в письме к матери из Швейцарии он сообщает: «Я закончил два новых рассказа из серии о Жераре. Первый из них – *Как бригадиру достался король*. Второй – *Как бригадир достался королю*. Оба довольно удачны... Надеюсь закончить всё к исходу зимы – по два рассказа в месяц. Мне кажется, это нечто новое». С апреля по сентябрь 1895 года «Подвиги бригадира Жерара» печатались всё в том же «Стрэнде», на страницах которого имел обыкновение впервые появляться и Шерлок Холмс.

Но детектив – одно, а историческая проза – другое, дело совершенно особое. Вальтер Скотт, её родоначальник, предпочитал всегда указывать на документальную основу. Следуя этой традиции, Конан-Дойль в предисловии к книге о бригадире Жераре тоже писал: «Читавшие Марбо, де Гонневиля, Куанье, де Фезенака, Бургоня и других французских воинов, которые поделились своими воспоминаниями о наполеоновских походах, узнают тот источник, из которого я почерпнул похождения Этьена Жерара».

Источники названы здесь писателем в той последовательности и по той значимости, как он ими пользовался. «Мемуары» Марбо Конан-Дойль получил в 1892 году из рук Джорджа Мередита: знаменитый прозаик настоятельно советовал прочитать их. И книга поразила Конан-Дойля как беззастенчивой бравадой, так и живостью изложения. Под воздействием этих своеобразных записок воображение писателя тотчас же заработало. Чисто по-французски высокое мнение о собственных достоинствах, бахвальство, самоуверенность и вместе с тем неподдельная искренность – всё это досталось Жерару от его прототипа – Марбо.

Конан-Дойль поначалу сильно сомневался в выборе общего заголовка для всей серии. Редактор журнала предлагал испытанный и избитый заголовок – «Приключения...», а автору хотелось – «Подвигов...». Он считал: «Приключения нынче ценятся дёшево». К тому же, «приключения» публикой обычно воспринимались вполне серьёзно, а Конан-Дойлю хотелось

иронии. Однако, как и в шерлок-холмсовской эпопее, ограничиться «Подвигами» автору не удалось. С лихим воякой-бригадиром читатели также никак не желали расставаться и требовали всё новых его походов.

Так и вышло, что, напечатав «Подвиги бригадира Жерара», в 1902-03 годах Конан-Дойль стал публиковать его «Приключения...». И, ещё до завершения журнальной публикации, лондонский издатель выпустил обе части под одной обложкой как отдельную книгу.

Успех «Подвигов...» и «Приключений бригадира Жерара» оказался заметен даже на фоне Шерлока Холмса. О бригадире вскоре узнали и за пределами Англии. В частности, он вернулся к себе, так сказать, на родину, во Францию, где книгу Конан-Дойля не только перевели, но и по достоинству оценили. В результате читателям захотелось узнать, насколько всё написанное достоверно, в какой мере бригадир, точнее, автору его «Подвигов...» и «Приключений...» стоит верить. А это вопрос не праздный.

Пусть «подвиги» и «приключения» Жерара вымышлены, а подчас поистине невероятны, сильно смахивая порой на хвастливые выдумки барона Мюнхгаузена, но зато всё окружение героя, обстановка, в которой он действует, имена крупных военачальников, названия мест и сражений – всё это вполне соответствует истории. Тут Конан-Дойль по своему обыкновению избегает небрежности и тщательно соблюдает историческую точность. Он даже заручился свидетельством авторитетного историка Арчиальда Форбса, который в письме подтвердил, что «дух и ход этих рассказов замечательны, тщательность в соблюдении имён и названий показывает, какой труд был Вами затрачен. Очень немногие, я уверен, смогут отыскать какие-либо ошибки. А я, обладая особым нюхом на всякие промахи, так и не нашёл ничего за ничтожными исключениями». Как обычно у Конан-Дойля сплетение вымысла с реальной историей служит надёжным приёмом, в результате которого фантазия обретает убедительность факта.

Конан-Дойль, видимо, сознательно подражал манере Марбо в истолковании некоторых обстоятельств и событий. В устах Жерара, у него все противники французских завоевателей жестоки и отвратительны, а наполеоновская солдафонщина сплошь кавалеры да рыцари. Бригадир чернит чужеземных крестьян и ремесленников, испанских партизан и защитников Сарагосы, короче, ругает всех, с кем нелегко было сладить Наполеону. Для бравого вояки все они просто «разбойники». Спору нет, кое-какие выходки и подвиги славного бригадира имеют своё объяснение лишь в его неисправимом хвастовстве да зазнайстве – автор словно бы не успевает его вовремя остановить и поправить (весьма хитрый литературный приём!). Но, так или иначе, писатель стремится до сознания читателей свою главную мысль, которая упорно пробивается сквозь неудержимую болтовню бравого вояки: «Как это всё-таки ужасно – воевать против всего народа!»

С середины XIX-го века «наполеоновская» тема прочно заняла своё место в европейской литературе, и так продолжается и по сию пору. Стоит отметить, со времён толстовской «Войны и мира» много что поменялось в осмыслении наполеоновских войн и личности их виновника. И основу этим переосмыслениям заложил, в том числе, и Конан-Дойль или был, по меньшей мере, одним из тех, кто их инициировал. Достаточно вспомнить впечатляющую эпопею о приключениях королевского стрелка Ричарда Шарпа, созданную современным английским писателем Бернардом Корнуэллом (кстати, превосходно экранизированную). Автор убедительно показывает, что прекрасные и благородные люди, равно как и отъявленные мерзавцы и негодяи есть среди обеих противоборствующих сторон, как среди самих англичан, так и среди французов и среди испанцев. Но только среди французов негодяи у него оказываются особенно отвратительны. Взять хотя бы бригадного генерала де Лу, явного антипода бригадир Жерару. Де Лу – палач и редкостный мерзавец, которому впору быть не наполеоновским офицером и предводительствовать бригадой французских гусар, а эсэсовским начальником, командующим оравой таких же озверелых убийц. Всё это, прямо скажем, чересчур, такое прямо-таки коробит. Конан-Дойль подобных крайностей не просто избегал, а более того, стремился к объективности.

Именно поэтому первые три «наполеоновских» романа написаны у него от лица французов, все события в них осмысляются как раз под этим углом зрения. Последний же, завершающий роман излагается уже от лица англичанина. И всё это неспроста, такая позиция

автора позволяет нам заметить его стремление *быть объективным*, не видеть, в согласии с традицией народов и наций-победителей, в Наполеоне только «абсолютное зло». Именно как об абсолютном зле было принято судить о нём и у нас, ведь все мы по данному поводу в той или иной мере воспитаны в понятиях толстовского романа и не его одного. А точно ли оно так? Конан-Дойль, например, пытался решить для себя этот вопрос устами своих героев – и не смог. А давайте мы с вами тоже всё-таки попробуем.

История – и это факт, отрицать который совершенно бессмысленно – всегда пишется в интересах победителей. Поэтому так называемая «мировая история» есть чудовищная полуправда, одна огромная ложь, смысл которой сводится единственно к тому, чтобы оправдать закономерный итог прошедших событий – *сегодняшний день и сегодняшний порядок вещей*, каковые и рассматриваются как высшее благо, без малейшего учёта возможных вариантов, кои могли бы реализоваться на крутых поворотах истории. Например, принято думать, что победа над Наполеоном – весьма благотворная веха в мировой истории, потому как если б победил Наполеон, то сегодняшнего мира в его нынешнем виде и состоянии просто бы не существовало.

Да, его бы не существовало. Но неужели вы воображаете, будто победа Наполеона над силами тогдашней европейской реакции была бы гибелью цивилизации? Отнюдь. В рамках наполеоновской Европы, со столицей в Париже, появление «великой Германии», разумеется, не было бы возможно (это по поводу состоявшихся впоследствии двух мировых войн). У германской нации, с её огромным потенциалом, есть гораздо более важные и благородные функции, чем выступать в роли заносчивой и бездушной военщины. Увы, сегодняшняя «объединившаяся» Европа – лишь жалкая пародия на наполеоновскую.

Вполне несомненно только одно: мировая история выглядела бы совершенно иначе, случись победить Наполеону. Не было бы ни Первой Мировой войны, ни её закономерного продолжения – Второй, ни (что особенно важно для нас) обусловленного Первой Мировой «октябрьского» переворота в России, со всеми вытекающими из него последствиями.

Никто, разумеется, не берётся утверждать, будто всё в этом случае было бы превосходно и замечательно, но, возможно, итог всё-таки оказался бы несравненно лучше нынешнего и не так унизителен для человечества. Ошибка Наполеона была в том, что он двинулся воевать в Россию, не зная о «необъятности необъятного». Ему всего только следовало покончить с владычеством Англии и ограничиться пределами Западной и Центральной Европы, оставив всякое решение её «восточного вопроса» на дальнейшее. А в этом дальнейшем, хвати у руководителей новой Западной и Восточной Европы ума, обе части континента смогли бы мирно сосуществовать, как некогда прежде сосуществовали Восточная и Западная Римские империи. Впоследствии же, коли б в том имелась экономическая и политическая целесообразность, обе половины могли бы спокойно объединиться в какую-нибудь федерацию или конфедерацию под названием, например, *Объединённые Государства Европы*.

Такие вот мысли невольно приходят в голову, когда читаешь этот «наполеоновский» том Конан-Дойля. Ну да читатель, я вполне уверен, сделает свои собственные выводы и наблюдения, знакомясь с этой замечательной книгой.

П.А. Гелева

Москва, 31 января 2020 г.

ДЯДЮШКА БЕРНАК

(МЕМУАРЫ АДЪЮТАНТА ФРАНЦУЗСКОГО ИМПЕРАТОРА)

Глава Первая БЕРЕГ ФРАНЦИИ

Смело могу сказать, что я прочёл письмо дядюшки не менее ста раз, и уверен, что выучил его наизусть. И всё же, когда судёнышко контрабандистов на всех парусах мчалось меня к берегам Франции, я снова вынул письмо из кармана и, прислонясь к борту, внимательнейшим образом принялся читать, словно видел его впервые.

Письмо было написано резким, угловатым почерком – так и должен писать человек, начавший жизненный путь деревенским стряпчим, – и адресовано мне – Луи де Лавалю. В качестве почтальона выступил некий Вильям Харгрев, хозяин гостиницы «Зелёный Молодец» в Эшфорде, графство Кент. Он регулярно получал изрядное количество бочек контрабандного коньяка из Нормандии. С очередной партией незаконного товара передали и это письмо.

«Мой дорогой племянник Луи, – гласило оно, – после кончины твоего бедного отца ты остался один в целом свете, и я уверен, ты не захочешь продолжать вражду, которая исстари ведётся в нашей семье. В дни революции твой отец открыто перешёл на сторону короля, тогда как я всегда оставался на стороне народа. Ты знаешь, к каким печальным последствиям привёл поступок твоего отца: ему пришлось покинуть родину, и принадлежавшее вам имение Гробуа перешло ко мне.

Я понимаю, как тяжело тебе было примириться с потерей родового имения, но признай – всё же лучше видеть это имение в руках родственника, чем посторонних людей. Смеем заверить, что у меня, брата твоей матери, ты встретишь только любовь и уважение. А теперь позволь мне дать тебе несколько полезных советов.

Ты знаешь, я всегда был республиканцем, но с течением времени осознал, что любая борьба против власти Наполеона обречена на провал, поэтому я предпочёл перейти к нему на службу; недаром говорят: с волками жить – по-волчьи выть.

Наполеон умеет ценить талантливых людей, и я быстро заслужил его доверие; мало того, я стал его самым близким другом, и он сделает всё, что я попрошу. Ты, вероятно, знаешь, что в настоящее время Наполеон, во главе своей армии, находится всего в нескольких милях от Гробуа. Если бы ты захотел поступить к нему на службу, несомненно, он забыл бы о ненависти твоего отца и не отказался бы вознаградить услуги твоего дяди. Несмотря на то, что твоё имя в глазах Императора несколько запятнано, я имею на него достаточно большое влияние, чтобы изменить его мнение. Доверься мне и приезжай, ибо вполне можешь положиться на преданного тебе дядю.

Ш.Бернак»

Собственно говоря, меня поразило и взволновало не само письмо, а то, что я нашёл на обороте. Письмо было запечатано четырьмя печатями красного сургуча: очевидно, дядя употребил для этого большой палец, потому что на сургуче ясно виднелись следы грубой, облупившейся кожи. А на одной из печатей было написано по-английски: «*Не приезжай*». Если эти слова были поспешно нацарапаны дядей ввиду каких-нибудь неожиданных изменений, то к чему было посылать письмо? Скорее, меня предостерегал неизвестный друг, тем более что письмо написано по-французски, а загадочное предупреждение – по-английски. Но печати не были сломаны, стало быть, в Англии никто не знал содержание письма.

И вот, сидя под парусом и глядя на зеленоватые волны, с мерным плеском ударявшиеся о борт судна, я стал припоминать всё, что мне было известно о далёком дяде – г-не Бернаке.

Мой отец, гордившийся своим происхождением из стариннейшего рода Франции, женился на девушке редкой красоты и прекрасных душевных качеств, но из менее знатной семьи. Правда, она никогда не давала ему повода раскаиваться в своём выборе; зато её брат, человек низкий, был невыносим своей рабской угодливостью в пору благоденствия нашей семьи и злобной ненавистью в тяжёлые дни. Во время революции он восстановил крестьян против моего отца, и тот оказался вынужден бежать из родного имения и покинуть пределы Франции. Затем мой дядя сделался ближайшим подручным Робеспьера в его самых страшных

злодеяниях, за что и получил в награду наше родовое имение Гробуа.

После падения Робеспьера он перешёл на сторону Барра, с каждой сменой правительства прибирая к рукам всё новые и новые богатства. Из вышеприведённого письма сего достойного гражданина явствует, что ему благоволит сам император, хотя как-то не верилось, что человек со столь сомнительной репутацией, к тому же бывший республиканец, мог оказать существенную услугу императору.

Вам, вероятно, интересно знать, почему я всё-таки принял предложение дядюшки, предавшего моего отца и остававшегося врагом нашей семьи на протяжении многих лет? Теперь это легче объяснить, чем тогда. Мы – я имею в виду молодое поколение – чувствовали полнейшую бесполезность продолжать раздоры стариков. Мой отец, казалось, навсегда остался в 1792 году. Он сохранил в неприкосновенности мысли и чувства той эпохи. Он словно окаменел, пройдя через это горнило.

Но мы, выросшие на чужой земле, сознавали, что жизнь ушла далеко вперёд, что пора перестать жить далёким прошлым и не терзаться воспоминаниями о счастливых годах, проведённых в родном гнезде. Мы пришли к убеждению, что надо забыть раздоры и распри старшего поколения. Для нас Франция уже не была страной кровожадных санкюлотов, страной бесчисленных казней на гильотине. То время кануло в Лету.

В нашем воображении родная земля представляла в ореоле славы; теснимая со всех сторон врагами Франция звала рассеянных повсюду сынов своих к оружию. Её воинственный клич волновал сердца изгнанников и заставил меня принять предложение дяди, устремившись по водам Ла-Манша к берегам дорогой отчизны. Сердцем я всегда был во Франции и в мыслях боролся с её врагами. Но пока был жив мой отец, я не смел открыто выказывать этих чувств: ему, сражавшемуся при Киброне под началом принца Конде, такая любовь показалась бы гнусной изменой.

Однако после его смерти ничто не могло удержать меня вдали от родины, тем более что и моя возлюбленная, ставшая впоследствии моей женою, настаивала на необходимости исполнить свой долг перед отчизной. Она происходила из старинного рода Шуазелей, после своего изгнания возненавидевших Францию даже сильнее моего отца. Наши родители мало заботились о том, что происходило в душах их детей, и пока старики, сидя в гостиной, с грустью читали о новой Франции, мы с Эжени уединялись в саду, чтобы никто не мешал нам радоваться жизни. По вечерам мы сидели около дальнего окошка, скрытого зарослями кустов. Наши убеждения совершенно не совпадали со взглядами окружающих; мы чувствовали свою отчуждённость, которая, собственно, и сблизила нас. Мы ценили друг друга, находя в нашей дружбе нравственную поддержку и утешение в трудные минуты. Я делился с Эжени своими мыслями и планами, а она не давала мне впасть в уныние. Между тем время шло, и вот я получил письмо от дяди.

Была и другая причина, заставившая меня принять дядюшкино приглашение: положение изгнанника нередко доставляло мне невыразимые мучения. Я не мог пожаловаться на англичан вообще. По отношению к нам, эмигрантам, они выказали столько сердечной теплоты, столько истинного радушия, что, думаю, не найдётся никого, кто не сохранил бы о стране, приютившей нас, и её обитателях самого тёплого воспоминания. Но в любом месте, даже в столь культурном, как Англия, всегда найдутся люди, которые испытывают непонятное наслаждение, оскорбляя других; они с радостью отворачиваются от попавших в беду ближних. Даже в патриархальном Эшфорде нашлось немало людишек, которые всячески старались досаждать эмигрантам, отравляя нашу и без того нелёгкую жизнь. К их числу относился и молодой кентский помещик Фарлей, наводивший на город ужас своим буйством. Он не мог спокойно пропустить ни одного из нас, не сказав вдогонку что-нибудь обидное, притом не по адресу французского правительства, как это водится у английских патриотов; нет, его оскорбления задевали нас как французов. Часто нам приходилось с видимым безразличием выносить его гнусные выходки, подавляя праведный гнев. Молча выслушивали мы все его насмешки и издевательства, но пришёл день, когда чаша моего терпения переполнилась и я решил проучить негодяя. Однажды вечером мы собрались за ужином в гостинице «Зелёный Молодец». Фарлей был там же; опьянев почти до невменяемости, он по обыкновению стал выкрикивать оскорбления в наш адрес. Я заметил, что Фарлей не сводил с меня глаз, следя за тем, какое впечатление производит на меня его брань.

– А теперь, господин Лаваль, – вдруг крикнул он, грубо положив руку мне на плечо, – позвольте предложить вам тост, к которому вы не откажетесь присоединиться. За Нельсона, пусть он наголову разобьёт французов!

Фарлей стоял передо мною с бокалом и нагло смеялся; вероятно, он ждал, что я откажусь.

– Хорошо, – сказал я, – но с условием, что и вы выпьете со мной за то, что потом предложу я.

– Прекрасно, – сказал он, чокаясь со мной. Мы выпили. – Ну, а теперь, мусью, давайте ваш тост, – сказал Фарлей.

– Налейте себе.

– Уже налил.

– За победу французского оружия над Нельсоном!

Ответом был бокал вина, брошенный мне в лицо. Через час мы уже дрались на дуэли. Я прострелил ему плечо, и ночью, когда я пришёл к заветному окошку, Эжени вплела в мои волосы несколько веток лавра, в изобилии росшего вокруг.

Местные власти не сочли нужным вмешиваться в нашу ссору. Тем не менее моё дальнейшее пребывание в городе стало невозможным; это обстоятельство и явилось последним толчком, побудившим меня, не колеблясь, принять предложение дядюшки вопреки странному предостережению, которое я нашёл на конверте его письма. Если влияние дяди на императора было действительно столь велико, что я мог вернуться на родину, и Наполеон великодушно забыл о причине изгнания нашей семьи, то тогда исчезала единственная преграда, отделявшая меня от родной земли.

Итак, парусное судно несёт меня к берегам, где я некогда наслаждался счастьем в кругу семьи. Я пребывал в глубокой задумчивости, вспоминая прошлое и строя планы на будущее, как вдруг мои размышления были прерваны: шкипер грубо тянул меня за рукав.

– Вам пора сходить, мистер, – сказал он.

В Англии я привык сносить оскорбления, никогда не теряя чувства собственного достоинства. Я осторожно оттолкнул его руку и сказал, что до берега ещё весьма далеко.

– Поступайте, как знаете, господин хороший, – бесцеремонно ответил он, – но я дальше свой корабль не поведу. Так что, если вам нужно на берег, залезайте в лодку или отправляйтесь вплавь.

Все мои доводы, в том числе и напоминание, что я заплатил за переезд до самой Франции, оказались тщетными. Умолчал я лишь о том, что деньги, вручённые ему, были получены мною за часы, принадлежавшие трём поколениям де Лавалей и проданные теперь одному ростовщику в Дувре.

– Ну, хватит! – вдруг крикнул он. – Эй, убрать парус! А вы, мистер, или покиньте корабль, или возвращайтесь со мной в Дувр. Впереди рифы, и я не собираюсь рисковать «Лисицей» в такой зюйд-ост: он того и гляди перейдёт в шторм.

– В таком случае я предпочту сойти, – сказал я.

– Учтите только: это может стоить вам жизни, – заметил он и разразился таким вызывающим смехом, что я чуть не бросился на нахала. Но что делать? – среди матросов, быстро пускающих в ход кулаки, я был совершенно беспомощен. Маркиз Шамфор рассказывал мне, что когда он, став эмигрантом, поселился в Саттоне, ему выбили зубы за попытку возразить подобным господам. Увы, мне пришлось примириться с печальной необходимостью, и, пожав плечами, я спустился в приготовленную мне лодку. С борта сбросили мои пожитки. Только представьте себе: наследник именитого рода де Лавалей путешествует с узелком вместо багажа! Два матроса оттолкнули лодку и сильными, мерными ударами весёл направили её к берегу.

Ночь, повидимому, грозила неминуемым штормом. Чёрные тучи, закрывшие последние лучи заходящего солнца, внезапно превратились в клочья, и те быстро мчались по небу во все стороны, заволакивая его густой мглой. На западе, подобно гигантскому пламени посреди чёрных клубов дыма, мглу прорезывал багрово-огненный закат. Матросы с тревогой поглядывали то на небо, то на берег. Я боялся, что они, опасаясь шторма, повернут назад. Каким смутением наполнялась моя душа, когда кто-нибудь из них тревожно всматривался в небо! Чтобы отвлечь их внимание, я начал расспрашивать их об огнях, всё чаще загорававшихся

во тьме.

– К северу отсюда лежит Булонь, а к югу – Этапль, – вежливо ответил один из гребцов.

Булонь! Этапль! В избытке радости я не находил слов. Сколько светлых, радостных картин вставало передо мной! Ребёнком меня возили в Булонь на летние купания. Никогда не забыть мне милого прошлого, когда я, совсем ещё дитя, чинно вышагивал рядом с отцом по берегу моря. Как удивлялся я тому, что рыбаки отворачивались, едва завидев нас! Об Этапле у меня остались иные воспоминания: именно оттуда нам пришлось бежать в Англию. И пока мы шли, покидая собственный дом, обречённые на изгнание, мучимые сознанием предстоящих бедствий и унижений, народ, неистово шумя, толпился на мысе, далеко выдававшемся в море, и провожал нас взорами, исполненными ненависти и злобы. Наверное, до самой смерти не забыть мне тех минут! Иногда отец оборачивался и повелительным тоном приказывал им остановиться. И тогда я присоединял свой детский голосок к его мощному голосу, ибо из толпы, охваченной слепой яростью, в нас полетели камни, и один попал матери в ногу. Да и мы сами обезумели от гнева и ужаса...

Наконец-то я снова увижу родину, где протекло моё детство! Вот она – Франция; всего в десяти милях находится мой собственный замок, мои собственные земли в Гробуа, которые принадлежали нашему роду задолго до того, как французы во главе с Вильгельмом Завоевателем отправились отсюда покорять Англию.

Как я вперял свой взор в окружающую нас тьму, силясь рассмотреть далёкие башни нашего замка! Один из моряков совершенно иначе истолковал мои действия и, стараясь угадать мою мысль, заметил:

– Очень удобный, уединённый берег. Здесь многие нашли убежище. Я им тоже помогал, как и вам.

– За кого же вы меня принимаете? – недоумённо спросил я.

– Это не моё дело, сударь. Существуют занятия, о которых не принято говорить вслух.

– Неужели вы считаете меня контрабандистом?

– Вы это сами сказали. Да, впрочем, не всё ли равно? Наше дело доставить вас на берег.

– Даю честное слово, что вы ошибаетесь! Я не контрабандист.

– Значит, вы беглый арестант.

– Нет!

Моряк задумчиво опёрся о весло и с подозрением взглянул на меня.

– Да вы, случаем, не наполеоновский ли шпион? – резко спросил он.

– Шпион? Я?!

Мой тон рассеял его гнусное подозрение.

– Ну, да ладно, – сказал он. – Тогда только совсем в толк не возьму, кто вы такой. Но, окажись вы шпионом, я б и пальцем не пошевелил, чтоб перевезти вас. И плевать мне на приказ шкипера!

– Не забывай, что нам грех жаловаться на Бонапарта, – низким хриплым голосом заметил второй гребец, молчавший до сих пор, – он всегда был добр к нам.

Меня очень удивили его слова, потому что в Англии ненависть к французскому императору достигла апогея; все слои населения объединились в своей ненависти и презрении к нему. Но матрос не замедлил пояснить свою мысль.

– Сейчас положение бедных моряков стало лучше, мы в состоянии свободно вздохнуть, и за всё спасибо Бонапарту, – сказал он. – Купцы уже получили своё, теперь и наш черёд.

Я вспомнил, что Бонапарт завоевал определённую популярность среди контрабандистов, которые прибрали к рукам всю торговлю Ла-Манша. Моряк указал мне на чёрные, мрачные волны бушующего моря.

– Бонапарт сейчас вон там, – сказал он.

Читатель, ты живёшь в более спокойное время, и тебе трудно понять, почему при этих словах невольная дрожь пробежала по моему телу. Всего десять лет назад мы впервые услышали его имя. Вдумайтесь, всего десять лет! Простому смертному хватило бы их только на то, чтобы стать офицером, а Бонапарт за это время из неизвестного стал великим. Первый месяц все спрашивали друг друга, кто он, а в следующий он как опустошающий вихрь пронёсся по Италии. Под ударами смуглого и не слишком воспитанного выскочки пали Генуя и Венеция. На поле битвы он внушает непреодолимый страх солдатам, а в спорах с

политиками и министрами всегда выходит победителем. С безумной отвагой устремляется он на Восток, и, пока все изумляются небывалому походу, превратившему Египет во французскую провинцию, Бонапарт уже снова в Италии и наголову разбивает австрийцев.

Он переходит с места на место почти с такой же быстротой, с какой распространяется слух о его появлении. И где бы он ни появился, враги его терпят поражения. Карта Европы, благодаря его завоеваниям, значительно изменила свой облик: Голландия, Савойя, Швейцария существуют теперь только номинально, на самом деле эти страны – часть Франции. Владения Франции врезались в Европу по всем направлениям. Этот артиллерийский офицер достиг высшей власти в стране и без малейшего усилия раздавил революционную гидру, пред которой трепетали король и дворянство Франции.

Бонапарт продолжал войну, а мы следили за его молниеносными, как орудия рока, походами; его имя всегда связывалось с новыми подвигами и успехами. В конце концов мы стали смотреть на него как на человека сверхъестественного, покровительствующего Франции и угрожающего всей Европе. Присутствие этого исполина, казалось, ощущалось на всём материке, и обаяние его славы, его власти и силы было так для меня неотразимо, что, когда моряк, показав в сторону темнеющей бездны моря, воскликнул: «Бонапарт сейчас там!», во мне мелькнула безумная мысль: не увижу ли я там исполинскую фигуру, гения стихий, исполненного угрозы, замышляющего что-то ужасное и носящегося над водами Ла-Манша? Даже теперь, по прошествии стольких лет, после всего, что случилось, и после известия о падении Наполеона, я чувствую на себе неизбывную власть его обаяния. Что бы вы ни читали и что бы вы ни слышали об императоре, вы не в силах понять, чем было для нас его имя в те дни, в дни его славы!

Мы приближались к долгожданному берегу. На севере тянулся низкий мыс (названия его не припомню); в вечернем освещении его сероватые очертания меняли свой цвет на тускло-красное сияние остывающего раскалённого железа. В эту штормовую ночь тёмные воды, то видимые, то, казалось, исчезающие, когда лодка, взлетала на гребень волны, словно таили в себе какое-то смутное предостережение. Полоса красных огней на суше походила на огромную шпагу, указывающую в сторону Англии.

– Что это? – не выдержал я.

– Мы уже говорили вам, сэр, – ответил моряк. – Одна из армий Бонапарта с ним самим во главе. Это огни его лагеря. Дальше до Остенде будет ещё с дюжину таких же лагерей. Этот малыш Наполеон, пожалуй, двинется на Англию, если сумеет усыпить бдительность Нельсона. Бонапарт ждёт лишь удобной минуты, но пока что удача от него отвернулась.

– Откуда же лорд Нельсон получает известия о Наполеоне? – спросил я, сильно заинтригованный последними словами матроса.

Тот молча указал мне куда-то поверх моего плеча, казалось, в беспредельную мглу; но, приглядевшись повнимательнее, я рассмотрел три слабо мерцавших огонька.

– Сторожевые суда, – пояснил он хриплым голосом.

– «Андромеда», сорок четыре орудия, – добавил его товарищ.

Моему воображению ярко освещённый берег и огни на море представились вдруг как стоящие лицом к лицу гении-великаны, властители двух враждебных друг другу стихий – суши и моря, готовые сразиться в последней исторической битве, которая изменит судьбу народов Европы. И я, француз душой, не мог не понимать, что исход этой битвы уже предрешён! Борьба между вымирающей нацией, численность которой сокращается, и нацией быстро растущей, с сильным, энергичным молодым поколением, в котором жизнь бьёт ключом. Падёт Франция – и она вымрет; если будет побеждена Англия, то вместе с её кровью множество народов воспримет её язык, её обычаи! Какое громадное влияние окажет она на историю!

Очертания берега становились резче, и всё отчётливее слышался шум прибоя. Вдруг из мглы выскользнула длинная лодка и направилась прямо к нам.

– Сторожевая лодка! – воскликнул один из моряков.

* Данное место и чуть ниже, где речь идёт об огромной шпаге, весьма знаменательно: оно служит ключом к пониманию названия другого конан-дойлевского романа наполеоновского цикла – «Гигантская тень». Эта огненная шпага и отбрасываемая ею гигантская тень символизируют у Конан-Дойля смертельную опасность, нависшую над Англией. (П.Г.)

– Билл, мы попались! – ответил второй, пряча что-то в сапог.

Но лодка быстро скрылась из виду: со всей стремительностью, какую ей могли сообщить четыре пары вёсел в руках самых лучших гребцов, она понеслась в другом направлении. Моряки следили за нею, и их лица прояснились.

– Да они, видать, чувствуют себя не лучше нашего, – сказал один из них. – Уверен, это разведчики.

– Сдаётся мне, сегодня вы не один пожелали высадиться на этом берегу, – заметил его товарищ. – Но кто бы это мог быть?

– Будь я проклят, если знаю! Из-за них пришлось сыпать в сапог добрый мешок тринидадского табака. Я уже имел счастье познакомиться с французской тюрьмой изнутри и не стремлюсь побывать там снова. Поднажмём, Билл!

Спустя несколько минут лодка с неприятным стуком врезалась в песчаный берег. Пожитки мои выбросили на берег, и скоро я очутился рядом с ними. Один из моряков столкнул лодку в воду, прыгнул в неё, и мои спутники стали стремительно удаляться от берега.

Кровавый отблеск огней на западе пропал, грозовые тучи застлали всё небо, густая чёрная мгла нависла над океаном. Пока я следил за удалявшейся лодкой, резкий, сырой, пронизывающий ветер дул мне в лицо. Его завываниям вторил глухой рокот моря.

Вот так, ночью и в шторм, ранней весной 1805 года я, Луи де Лаваль, на двадцать первом году жизни после тринадцатилетнего изгнания вернулся в страну, где наш род в течение многих веков был украшением и опорой престола. Неласково обошлась с нами Франция: за верную службу она отплатила оскорблениями, изгнанием и конфискацией имущества. Но всё было забыто, когда я, единственный оставшийся в живых из рода де Лавалей, опустился на колени на священной для меня родной земле, прильнул губами к влажному гравия и мне в лицо ударил резкий запах водорослей.

Глава Вторая СОЛЯНОЕ БОЛОТО

Когда человек достиг зрелого возраста, ему всегда приятно оглянуться назад, вспомнить пройденный длинный путь, принёсший и беды, и радости. Словно лента развёртывается он перед ним – то освещённый яркими лучами солнца, то скрывающийся в тени. Человек знает теперь, куда и зачем он шёл, ему видны все повороты и извилины этого пути, порой таившие в себе угрозу, порой сулившие путнику покой и отдых; таким простым и ясным всё кажется ему.

Много лет прошло, но та ночь встаёт предо мной с поразительной ясностью. Даже сейчас, случись мне оказаться на берегу моря, когда солоноватый запах морских водорослей щекочет ноздри, я невольно переносусь мыслями к мрачной бурной ночи, к тому влажному песчаному берегу отчизны, так неласково встретившей меня.

Когда я наконец поднялся с колен, первым моим движением было запрятать подальше кошелёк. Я вытащил его, чтобы дать золотой моряку, высадившему меня, хотя нисколько не сомневался, что этот молодец был не только богаче меня, но и имел куда более постоянные доходы. Сначала я вынул серебряные полкроны, но не мог заставить себя дать ему эту монету, и в результате лишился десятой части своего состояния, отдав её совершенно постороннему человеку. Остальные девять соверенов я тщательно спрятал обратно и, присев на совершенно плоскую скалу, хранившую следы морского прилива, который, однако, никогда не достигал самого верха, стал обдумывать своё положение. Необходимо было что-то делать. Страшно хотелось есть. Холод и сырость пробирали меня до костей; резкий, пронизывающий ветер дул прямо в лицо, обдавая с ног до головы брызгами. Но от сознания того, что я уже не завишу от милости врагов моей отчизны, сердце моё радостно забилося.

Положение моё было не из лёгких. Я хорошо помнил, что наш замок находился милях в десяти отсюда. Но явиться туда в столь поздний час растрёпанным, в мокром и грязном

платье! Нет, против этого восставала вся моя гордость. Я представил себе пренебрежительные лица дядюшкиных слуг при виде оборванного странника из Англии, возвращающегося в родовой замок. Нет, мне нужно найти приют на ночь и только потом, приняв по возможности приличный вид, предстать перед моим родственником.

Но где же укрыться от бури? Вы, вероятно, спросите, почему я не направился в Булонь или Этабль. Увы, та же причина, которая заставила меня высадиться на этом берегу, мешала мне отправиться туда: имя де Лавалей значилось одним из первых в списке изгнанников. Мой отец возглавлял немногочисленную партию приверженцев старого порядка, имевших в стране довольно большое влияние. И хотя я совершенно иначе смотрел на вещи, я не мог презирать тех, кто жестоко поплатился за свои убеждения. Это совершенно особенная, весьма любопытная черта характера французов: мы умеем ценить людей, способных на самопожертвование. Мне нередко приходило на ум, что если бы приверженность старым порядкам не требовала от нас таких жертв, то у Бурбонов, возможно, было бы меньше сторонников из благородного сословия. Французское дворянство всегда относилось к Бурбонам с большим доверием, чем англичане к Стюартам. В самом деле, достаточно вспомнить, что у Кромвеля не было ни роскошного двора, ни денег, которые могли привлечь на его сторону людей, оставивших королевскую службу.

Я не нахожу слов, чтобы выразить, сколь велика была самоотверженность дворян-эмигрантов. Однажды я присутствовал на ужине в доме моего отца; нашими гостями были два учителя фехтования, три преподавателя французского языка, садовник и, наконец, бедняк-литератор, постоянно державший руку на отвороте сюртука, чтобы скрыть зияющую в нём дыру.

И эти восемь человек являлись представителями высшего дворянства Франции, они могли бы иметь всё, что душе угодно, если бы согласились забыть прошлое, отказаться от своих взглядов и примириться с новым государственным устроением. Но скромный и, к сожалению, совершенно неспособный к правлению государь увлёк за собой в изгнание верных ему Монморанси, Роганов и Шуазелей; некогда они разделяли его величие, а теперь последовали за ним в его падении. Тёмные комнаты изгнанного монарха могли гордиться лучшим украшением, чем бесконечные гобелены или севрский фарфор. Прошло много, много лет, а я, как сейчас, вижу аристократичных, но бедно одетых людей и благоговейно склоняю голову пред благороднейшими из благородных, которых знала наша история.

Появиться в любом приморском городе прежде, чем я повидаюсь с дядей и узнаю, как он воспримет мой приезд, значило бы просто отдаться в руки жандармов, которые крайне подозрительно относятся ко всем прибывающим из Англии.

Добровольно прийти к французскому императору – это одно, а быть приведённым к нему полицией – это уже совсем другое. Наконец я решил, что самое лучшее в моём положении – постараться найти пустой сарай или что-то в этом роде, где я смог бы переночевать. Старики говорят: утро вечера мудренее; может быть, и я к утру придумаю, как попасть к дядюшке Бернаку, а через него и на службу к новому властителю Франции.

Ветер между тем крепчал, переходя в бурю. Царила такая тьма, что были едва видны белые гребни валов, с рёвом разбивавшихся о берег. Судёнышка, на котором я приплыл из Дувра, уже не было и помину. Вдали, насколько хватал глаз, тянулись низкие холмы. Когда я приблизился к ним, то понял свою ошибку: в полумраке размеры предметов искажались, и в действительности то были просто песчаные дюны, на которых кое-где тёмными пятнами выделялись кусты терновника.

Я медленно побрёл через дюны, неся узелок с пожитками на плече и с трудом передвигая ноги по рыхлому песку. Ползучие растения цеплялись за ноги, и я часто оступался. Забыв, что моё платье промокло, а руки заledenели, я думал о страданиях, выпавших на долю моим родителям. Меня занимала мысль, что настанет день, когда мои дети тоже будут с воодушевлением вспоминать о том, что случилось здесь со мной – ведь во французских дворянских семьях история рода свято берегается в памяти потомков, – и мой пример поможет им в трудную минуту.

Мне казалось, что дюны никогда не кончатся, но когда я наконец оставил их позади, мне вдруг непреодолимо захотелось вернуться обратно. Дело в том, что в этом месте море далеко вдаётся в берег, и приливы образовали необозримое унылое соляное болото, которое,

вероятно, и при дневном свете не придавало бодрости путнику, а в такую мрачную ночь и подавно лишало сил. Сначала меня неприятно поразила болотистость почвы, под ногами раздавалось хлюпанье, и с каждым шагом я проваливался в вязкую тину. Скоро она уже достигала мне до колен, и я с трудом вытаскивал ноги.

Как охотно вернулся бы я назад к дюнам, бросив искать более удобный путь. Я окончательно утратил представление о том, где нахожусь, и в шуме бури мне казалось, что рокот моря раздаётся уже с другой стороны. Ориентироваться по звёздам я не умел. Да, впрочем, в том не было и нужды, потому как звёзд на небе сверкало немного, да и те ежеминутно скрывались за быстро мчавшимися грозowymi тучами.

Я продолжал брести через болото, мокрый и усталый, всё глубже и глубже увязая в тине. Невольно мне пришла в голову мысль, что моя первая ночь во Франции будет и последней и что я, наследник рода де Лавалей, обречён погибнуть в отвратительном болоте. Немало миль прошёл я таким образом; иногда слой тины становился меньше, но ни разу я не выбрался на совершенно сухое место.

Вдруг я заметил предмет, который заставил моё сердце забиться ещё тревожнее. Я начал бояться, что хожу по замкнутому кругу, из которого мне не выбраться. Мне показалось, что беловатый кустарник, неожиданно вставший передо мною из тьмы, я уже видел час назад. Чтобы удостовериться в этом, я остановился; искра, выбитая ударом кремня, на мгновение осветила болото, и в бурой грязи я ясно увидел свои собственные следы.

Итак, мои худшие опасения подтвердились. В отчаянии я устремил взор в небеса, и впервые за эту ночь увидел клочок светлого неба. Месяц выглянул из-за тучи лишь на минуту, но я успел разглядеть в небе силуэт, похожий на длинную римскую цифру V или на наконечник стрелы. Приглядевшись повнимательнее, я понял, что это была стая диких уток. Оне направлялись в ту же сторону, что и я. В Кенте мне не раз доводилось видеть, как эти птицы в ненастную погоду удаляются от моря и летят внутрь страны. Теперь я не сомневался, что иду в нужном направлении. Ободрённый этим открытием, я вновь устремился вперёд, стараясь не сбиваться с прямого пути и с большими предосторожностями делая каждый шаг.

Наконец, после почти получасового блуждания моё упорство было вознаграждено: впереди гостеприимно засветилось маленькое окошко.

Каким ослепительным показался мне этот огонёк, суливший пищу и отдых! Он вернул меня, несчастного скитальца, к жизни. Из последних сил я бросился вперёд. Я до того продрог и измучился, что даже не подумал о том, прилично ли проситься на ночлег в столь поздний час. Впрочем, не стоило сомневаться, что золотой соверен заставит рыбака или отшельника, живущего среди непроходимых болот, не слишком задумываться о моём подозрительном появлении.

Приближаясь к домику, я всё больше и больше удивлялся тому, что болото не кончается, а, наоборот, становится глубже, и, когда месяц показывался из-за туч, можно было разглядеть, что жилище расположилось посреди трясины и со всех сторон его – чёрная вода. Я уже мог рассмотреть, что свет лился из маленького четырёхугольного окошка. Время от времени кто-то подходил к окну, заслоня свет. Судя по очертаниям головы, это был мужчина. Он напряжённо всматривался во тьму.

Раза два этот человек даже выглядывал в окно, и было что-то странное в том, как он то появлялся в окне, то мгновенно исчезал. Я невольно удивился столь странному поведению и смутно почувствовал опасность. Непонятный хозяин и дом, расположенный почему-то в самой трясине, заинтриговали меня, и я решил, невзирая на усталость, понаблюдать за незнакомцем, прежде чем искать приюта под его кровлей.

Подойдя ближе, я увидел, что дом был ветхий и давно нуждался в основательном ремонте, он буквально сиял из-за многочисленных щелей, сквозь которые лился свет. Я остановился, подумав, что, пожалуй, соляное болото куда безопаснее для отдыха, чем эта сторожка или, скорее всего, гнездо отчаянных контрабандистов, которым, как я уже не сомневался, принадлежало это уединённое пристанище.

Набежавшее облако скрыло месяц, и в полной тьме я без малейшего риска смог подкрасться к дому и заглянуть в оконце. Около полуразвалившегося камина, в котором ярко пылали дрова, сидел поразительно красивый молодой человек; он углубился в чтение какой-то засаленной книжонки. Его продолговатое, смуглое лицо обрамляли густые кудри чёрных

волос, волнами рассыпавшихся по плечам. В его наружности сказывалась натура утончённая, поэтическая. При всех своих опасениях, я ощутил радость, глядя на это прекрасное лицо, освещённое ярким пламенем, и чувствуя тепло и свет очага. Что может быть более притягательным для замёрзшего и голодного путника?

Несколько минут я не сводил глаз с загадочного обитателя хижины: его полные чувственные губы то и дело вздрагивали, словно он повторял прочитанное. Но вот он положил книгу на стол и снова приблизился к окошку. Заметив в потёмках очертания моей фигуры, он издал радостное восклицание и приветливо замахал рукой. Дверь распахнулась, и его высокая, стройная фигура показалась на пороге. Чёрные, как смоль, кудри развевались по ветру.

– Добро пожаловать, дорогие друзья! – крикнул он и, вглядываясь в темноту, козырьком приставил к глазам руку, чтобы заслонить их от резкого ветра и носившегося в воздухе песка. – Я уж и не чаял увидеть вас сегодня, ведь прошло битых два часа, как я здесь.

Вместо ответа я стал перед ним так, чтобы лицо моё оказалось освещено.

– Боюсь, сударь... – начал я, но договорить не успел, так как он отпрянул к двери и с треском захлопнул её перед самым моим носом.

Эта грубость и быстрота движений до того не вязались с его наружностью, что я был просто ошеломлён. Но вскоре моё изумление возросло ещё больше. Как я уже сказал, хижина давно нуждалась в ремонте, между трещинами и щелями пробивался свет, и во всю высоту двери около петель тоже была щель. Через неё был виден дальний конец комнаты, где пылал камин. Молодой человек снова появился у огня, лихорадочно шаря руками у себя за пазухой, потом одним прыжком исчез за камином, и мне стали видны только его башмаки. Затем он опять подошёл к двери.

– Кто вы такой? – с тревогой спросил он.

– Я заблудился.

Последовала пауза, словно он размышлял, что ему делать.

– Вряд ли это место столь привлекательно, чтобы остаться здесь на ночлег, – вымолвил он наконец.

– Я совершенно измучен, мсье. Уверен, вы не откажете мне в приюте. Уже много часов я брожу по соляному болоту.

– Вы никого не встретили? – озабоченно спросил он.

– Нет.

– Отойдите от двери, чтобы я вас рассмотрел. Места здесь, сами понимаете, дикие, и времена нынче смутные. Так что приходится быть весьма осторожным.

Я отошёл на несколько шагов, а он приотворил дверь ровно настолько, чтобы просунуть голову, и принялся молча меня разглядывать.

– Ваше имя?

– Луи Лаваль, – отвечал я, сочтя благоразумным опустить дворянскую частицу «де».

– Куда вы идёте?

– Моё единственное желание найти какой-нибудь приют на ночь.

– Вы прибыли из Англии?

– Я пришёл со стороны моря.

Он недоумённо покачал головой, желая показать, как мало удовлетворили его мои ответы.

– Вам нельзя здесь оставаться, – сказал он.

– Но, может быть...

– Нет, нет, это невозможно!

– Тогда скажите хотя бы, как выбраться из этого проклятого болота?

– О, это совсем просто! В нескольких сотнях шагов отсюда вы найдёте деревню. Из болота вы уже почти выбрались.

Он вышел за порог, чтобы указать мне дорогу, и затем вернулся на прежнее место.

Я уже сделал несколько шагов в указанном направлении, оставив надежду на помощь негостеприимного хозяина, как вдруг тот позвал меня.

– Входите, Лаваль, – сказал он на сей раз совершенно иным тоном. – Я не могу бросить вас в такую ночь на произвол судьбы. Проходите к огню! Стакан доброго коньяку укрепит вас и даст силы для дальнейшего пути.

Я положительно недоумевал, чем объяснить столь разительную перемену.
– От всей души благодарю вас, мсье! – только и сказал я, последовав за ним в хижину.

Глава Третья СТАРАЯ ХИЖИНА

Как хорошо было сидеть подле ярко пылавших дров, укрывшись от пронизывающих до костей холода и ветра! Но скоро я и думать забыл о восхитительном тепле. Я пытался понять, что за человек приютил меня. Его дом-развалюха стоит почему-то посреди болота, и в такой поздний час он ждёт гостей. Зачем он поспешил за камин? что там делал? – ни на один вопрос я не находил ответа! И самое главное, почему он, захлопнув вначале дверь у меня перед носом, потом вдруг с самой подкупающей сердечностью пригласил переночевать? Я был в полном недоумении, и мне страшно хотелось найти объяснение этим загадкам.

Однако я постарался скрыть свои чувства и сделал вид, что глубоко задумался о собственном бедственном положении и ничего вокруг не замечаю. Одного взгляда было достаточно, чтобы окончательно убедиться в правильности моего предположения: лачуга была совершенно непригодна для жилья и служила для тайных встреч. От постоянной сырости штукатурка на стенах облупилась, во многих местах проступила зеленоватая плесень; в воздухе чувствовался резкий запах прели.

В единственной, довольно большой комнате мебели почти не было, если не считать расшатанного стола, трёх деревянных ящиков, нескольких полусгнивших стульев и ветхого, едва ли на что-нибудь годного невода, лежавшего в углу. Прислонённый к стене топор и остатки четвёртого ящика указывали, откуда взялись дрова для камина. Но мой взгляд всё время возвращался к столу: там около лампы стояла корзинка, откуда соблазнительно выглядывали окорок, хлеб и горлышко бутылки.

Хозяин лачуги был подчёркнуто любезен, стараясь загладить прежнюю холодность и подозрительность. Но чем всё-таки объяснить столь резкую перемену в обращении со мной?

Выразив сочувствие моему горестному положению, он придвинул к столу один из ящиков и отрезал мне хлеба и ветчины. На его чувственных губах играла самая искренняя, душевная улыбка, но тёмные, поразительной красоты глаза неотступно следили за мной, словно желая прочесть в моём лице, кто я и как сюда попал.

– Вы прекрасно понимаете, – заявил он с напускным чистосердечием, – что в наше время каждому мало-мальски знающему своё дело коммерсанту приходится быть изобретательным – без этого никак нельзя заполучить нужные товары. Ведь император – дай ему Бог здоровья! – возымел желание положить конец свободной торговле, а значит, чтобы добыть кофе и табак, не платя пошлины, приходится забираться в такие вот трущобы! Смею вас уверить, что и в Тюильрийском дворце весьма почитают и то, и другое. Сам император выпивает ежедневно по десяти чашек мокко, прекрасно зная, что он во Франции не растёт. Бонапарту известно и то, что страна, где произрастает кофе, ещё не завоёвана. Так что, если бы купцы не рисковали, преодолевая подобные трудности, вряд ли стоило б ждать барышей от торговли. Вы, полагаю, тоже принадлежите к купеческому сословию?

Я ответил отрицательно и этим, кажется, ещё сильнее разжёл его любопытство. Я слушал и внимательно следил за ним, и по его бегающему взгляду понял, что он лжёт. При ярком свете лампы он выглядел ещё красивее, чем показался мне раньше, но красота его была не вполне совершенной: тонкие, женственные, идеально правильные черты портил рот, никак не соответствовавший благородству верхней части лица. У него было умное и в то же время слабовольное лицо, выражение восторженного энтузиазма то и дело сменялось выражением полного бессилия и нерешительности. Чем больше я узнавал хозяина этой лачуги, тем менее был склонен доверять ему, хотя опасений он у меня не вызывал: почему-то я был вполне уверен в своей безопасности. Но вскоре мне пришлось горько раскаться в своём легкомыслии.

– Вы, конечно, извините мою холодность, господин Лаваль, – сказал он. – С тех пор, как

император побывал на берегу, там всегда кишат полицейские агенты, поэтому купцам постоянно приходится быть начеку. Как вы понимаете, моя осторожность была вполне естественна: ваш вид и платье в подобном месте и в столь поздний час не внушали особого доверия.

Он, очевидно, ждал возражений, но я лишь скромно заметил:

– Повторяю, я просто заблудившийся путник. Я уже отдохнул и подкрепился и не стану более злоупотреблять вашим гостеприимством. Укажите только мне дорогу к ближайшей деревне.

– Думаю, вам лучше остаться здесь. Буря не утихает и скоро разыграется не на шутку!

Словно в подтверждение его слов, сильный порыв ветра потряс хижину. Мой странный хозяин подошёл к окну и принялся всматриваться в даль с таким же вниманием, что и до моего прихода.

– Было бы неплохо, мсье Лаваль, – сказал он, глядя на меня с притворным дружелюбием, – если б вы не отказали мне в одной существенной услуге: побыть здесь с полчаса в одиночестве.

– А зачем это? – спросил я, колеблясь между недоверием и любопытством.

– Говоря откровенно, – и он взглянул на меня с неподдельной искренностью, – дело тут вот в чём: я жду компаньонов, но пока, как видите, совершенно напрасно. Я хочу пойти им навстречу: вдруг они заблудились. Но, если они придут без меня, то вообразят, что я ушёл, не дождавшись. Не согласитесь ли побыть здесь с полчаса, чтобы объяснить им причину моего отсутствия, если я случайно разминусь с ними по дороге?

Просьба его показалась мне вполне естественной, но что-то в его взгляде говорило мне, что и это ложь. Я раздумывал, принять его предложение или нет, поскольку оно давало мне возможность разгадать тайну хижины на болоте. Что скрывалось за широкой каминной стенкой, и почему, увидев меня, он бросился туда? Мне не хотелось уходить, не выяснив этого.

– Вот и славно! – сказал он, воспользовавшись моей нерешительностью, и, нахлобучив чёрную шляпу с загнутыми полями, устремился к двери. – Я был уверен, что вы не откажете мне в этой просьбе. Надо спешить, не то я останусь без товара.

Он поспешно захлопнул за собою дверь, и шаги его замерли вдали, заглушённые рёвом ветра. Так я оказался один в этом таинственном жилище, предоставленный самому себе и сжигаемый желанием разузнать всё. Я раскрыл брошенную на столе книгу. Это был трактат Руссо «Об общественном договоре» – превосходное сочинение, вот только едва ли торговец, ожидающийся условленной встречи с контрабандистами, стал бы читать подобные книги. Над заголовком значилось от руки «*Люсьен Лесаж*», а внизу женской рукой было приписано: «*Люсьену от Сиби́ллы*».

Итак, моего мнимо добродушного и скрытного хозяина звали Лесажем. Теперь мне осталось выяснить только одно, и притом самое интересное: что он спрятал в камине? Прислушавшись несколько минут к звукам, доносившимся снаружи, и убедившись, что не было слышно ничего, кроме рёва бури, я стал на край решётки, как это делал он, и перегнулся через неё.

Отсвет пламени скоро указал мне предмет, который я искал. В углублении, образовавшемся от того, что один из кирпичей был вынут, лежал маленький свёрток. Несомненно, именно его мой новый приятель поспешил спрятать, встревоженный появлением постороннего. Я взял свёрток и поднёс поближе к свету. Он был завязан в маленький четырёхугольный кусок жёлтой блестящей материи и перетянут белой тесьмой. Когда я развязал его, в нём оказалась целая пачка писем и одна, довольно необычно сложенная бумага.

Когда я прочёл адреса, у меня перехватило дыхание. Первое письмо было на имя гражданина Талейрана, остальные, написанные в республиканском стиле, были адресованы гражданам Фуше, Сульту, Макдональду, Бертье: передо мной предстал перечень знаменитых имён военных и дипломатических деятелей – столпов нового правления. Что общего мог иметь этот мнимый торговец со столь высокопоставленными лицами? Разгадка, несомненно, кроется в другой бумаге. Я сложил письма, развернул бумагу и тут же понял, что соляное болото было для меня куда безопаснее, нежели эта проклятая хижина!

Взгляд мой сразу же наткнулся на такие слова:

«Созраждане! Последние события доказывают, что тиран, даже окружённый своими войсками, не может избежать мести возмущённого и оскорблённого народа! Комитет Трёх, временно действующий от имени Республики, приговорил Бонапарта к той же участи, которая постигла Людовика Капета. В качестве возмездия за переворот 16-го брюмера...»

Я успел дочитать лишь до этого места, как вдруг почувствовал, что меня кто-то схватил за ноги, бумага выскользнула из моих рук. Чьи-то железные пальцы крепко схватили меня за щиколотки, и при свете угольев я увидел две огромные руки, покрытые густыми чёрными волосами. Я оцепенел от ужаса!

– Так, приятель, – прогремел надо мной чей-то голос, – вот наконец-то ты и попался!

Глава Четвёртая НОЧНЫЕ ГОСТИ

Мне недолго пришлось размышлять о своём опасном положении: точно выхваченная с насеста курица, я был приподнят за ноги и со всего размаху выброшен на середину комнаты. Ударившись со всей силы спиной о каменный пол, я почти перестал дышать.

– Не убивай его, Туссак, – сказал чей-то мягкий голос, – сначала надо выяснить, кто он.

Я почувствовал страшное давление двух больших пальцев на своём подбородке в то время, как остальные железным кольцом сдавили мне гортань – таким способом этот Туссак задрал мне голову до предела; ещё бы чуть-чуть – и мне пришёл бы конец.

– Ещё четверть дюйма, и я сломаю ему шею, – прогрохотал голос, – уж поверьте моему опыту.

– Верю, верю, Туссак, только ты этого не делай, – повторил тот же вкрадчивый голос. – Я уже насмотрелся, как ты расправляешься с врагами, и до сих пор не в состоянии забыть этого жуткого зрелища!

Моя шея была вывернута так, что я не видел тех, от кого зависела моя участь, я мог только слышать их.

– Однако же приходится считаться с фактами, дражайший Шарль! Этот молодчик проник во все наши тайны, и вопрос теперь стоит так: или он, или мы.

На этот раз по голосу я узнал Лесажа.

– Отпусти его, Туссак, всё равно он никуда не денется.

Неимоверная сила, давление которой я всё время чувствовал на своей шее, приподняла и посадила меня, так что я смог осмотреться и разглядеть людей, во власти которых я оказался. Очевидно, на их совести лежало немало убийств, и, судя по их словам, они не остановятся ещё перед одним. Я отлично понимал, что посреди этой безлюдной соляной топи всецело нахожусь в их власти. Мне пришлось напомнить себе, какое я ношу имя, прежде чем я подавил в себе чувство смертельного ужаса.

Их было трое. Лесаж стоял у стола с той же засаленной книгой в руках и совершенно невозмутимо смотрел на меня. В его глазах читалась насмешка, а с нею и торжество человека, которому вполне удалось одурачить противника.

Около него на ящике сидел человек аскетического вида, лет пятидесяти: землистый цвет лица, ввалившиеся глаза, резко очерченные губы, кожа, изборождённая морщинами и складками свисавшая под подбородком, чрезвычайно старили его. Одет он был в костюм табачного цвета, который не мог скрыть худобы его длинных ног. С грустью глядя на меня, он покачивал головой, и мне чудилось, что в его холодных глазах я нахожу какой-то намёк на сочувствие.

Третий, Туссак, прямо-таки привёл меня в трепет! Коренастый, с непомерно развитыми мышцами, огромные ноги искривлены, как у обезьяны; руки, которыми он всё время держал меня за шиворот, казались мерзкими лапами. В остальном его облике также было что-то звериное: борода начиналась прямо от глаз, и выражение его лица невозможно было определить, поскольку всклокоченные волосы торчали во все стороны, как солома. Во взгляде

его больших тёмных глаз я читал свой приговор. Если тех двоих считать судьями, то этот, без сомнения, был палач.

– Когда он пришёл? Кто он? Как нашёл наше убежище? – спросил тот, который, казалось, мне сочувствовал.

– Сначала я принял его за вас, – ответил Лесаж. – Мне и в голову не приходило, что в такую адскую ночь кто-то может ходить по болотам. Поняв свою ошибку, я запер дверь и спрятал бумаги в камин. Но через щель в двери видно всё, что происходит внутри. Несомненно, он подсматривал за мной. Тогда я решил обмануть его и пригласил переночевать, чтобы выиграть время, дожидаться вас и вместе решить, что с ним делать.

– Чёрт возьми! Пара ударов топором да могилка подальше в этом болоте – и дело с концом! – сказал сидевший рядом со мною Туссак.

– Совершенно верно, дорогой Туссак, но зачем же сразу такие крайности? Осторожность нам не помешает. Что ж было дальше?

– Прежде всего я решил узнать, кто этот Лаваль.

– Как, ты говоришь, его зовут? – с изумлением спросил мой доброжелатель.

– Он назвался Луи Лавалем. Повторяю, я хотел убедиться, что он действительно видел, как я прятал бумаги. Когда вы подходили к дому, я оставил его одного. Выйдя, я стал следить за ним через окно и увидел, как он бросился к нашему тайнику. А потом я попросил вас, Туссак, вытащить его из-за камина, и вот он перед вами.

Старик взглянул на меня сурово и неумолимо.

– Добрейший Лесаж, – сказал он, – ты, положительно, оказался на высоте. Когда республиканцы ищут исполнителя для своих замыслов, они всегда умеют найти самого достойного. Признаюсь, что, увидев чьи-то торчащие из-за камина ноги, я на миг растерялся и никак не мог понять, в чём дело, хотя в сообразительности мне, пожалуй, и не откажешь. Впрочем, Туссак сразу всё понял и схватил его как раз за ноги!

– Хватит болтать! – проревело косматое чудовище. – Из-за того, что мы много мололи языком и мало занимались делом, Бонапарт всё ещё носит корону или, вернее, голову на плечах. Расправимся с этим молодцом, да поскорее к делу!

Нежные, тонкие черты Лесажа невольно влекли меня к себе. Я искал у него защиты, но его большие чёрные глаза, когда он оборачивался в мою сторону, смотрели на меня холодно и беспощадно.

– Туссак совершенно прав, – сказал он. – Наша жизнь и безопасность в руках этого человека. Нельзя отпускать его живым.

– Чёрт с ней, с нашей жизнью! И плевать на нашу безопасность! – взревел Туссак. – Не в них дело: мы рискуем провалить все наши планы. Это куда серьезнее!

– Нет, нет всё важно! 13-й пункт нашего устава совершенно определённо указывает, как следует поступить в данном случае. С исполнителя 13-го пункта снимается всякая ответственность, – не унимался Лесаж.

Душа моя при этих словах ушла в пятки: у человека с наружностью поэта были убеждения дикаря. Однако у меня вновь мелькнула надежда на спасение, когда старик, до сих пор предпочитавший помалкивать, но не сводивший с меня глаз, стал выказывать признаки беспокойства.

– Дорогой Люсьен, – сказал он мягким, увещающим тоном, кладя руку на плечо молодого человека, – мы, философы и мыслители, должны всё-таки с большим уважением относиться к человеческой жизни! Нельзя и с такой лёгкостью отметать чужие убеждения. Мы все согласны, что если бы не неистовства Мюрата...

– Послушайте, Шарль, – прервал его Лесаж. – Я глубоко уважаю ваши взгляды, и вы не станете отрицать, что я всегда был послушным учеником. Но, повторяю, сейчас речь идёт о наших жизнях, и поэтому нельзя останавливаться на полдороге. Никому так не претит жестокость, как мне, и вы это знаете. Несколько месяцев назад я вместе с вами присутствовал при казни человека с улицы Бас-де-Ларампар. Туссак тогда особо отличился: его стараниями зрители чувствовали себя едва ли не хуже, чем жертва. Когда раздался отвратительный хруст, возвестивший о том, что у несчастного свёрнута шея, всем нам стало жутко. Если у вас хватит мужества продолжить этот разговор, то я напомним, что столь ужасное дело было совершено по вашему настоянию и причина его не казалась столь уважительной!

– Нет, нет, Туссак, стой! – крикнул Шарль; его голос утратил былую мягкость и перешёл в визг, когда волосатая лапа силача снова схватила мою шею. – Я говорю тебе, Люсьен, как с чисто практической, так и с нравственной точки зрения: не допусти совершиться смертоубийству. Пойми, если вдруг всё повернётся против нас, это злодеяние лишит нас надежды на милосердие. Пойми также...

Последний аргумент, казалось, смутил молодого человека, и его бледное лицо вдруг посерело.

– Всё равно, Шарль, – сказал он, – нам не следует рассуждать, мы должны повиноваться 13-му пункту.

– Не забывай, что мы располагаем некоторой свободой действий, потому что стоим выше Комитета!

– Но изменяет параграфы Комитет, а у нас такого права нет!

Его губы дрожали, но выражение глаз не смягчилось. Под давлением тех же ужасных пальцев моя голова начала поворачиваться вокруг плеч, и я уже находил своевременным вверить свою душу Пречистой Деве и Святому Игнатию – главному покровителю нашей семьи.

В это мгновение Шарль, неизвестно почему защищавший меня, бросился к Туссаку и впился в его руку с такой яростью, какой никак нельзя было ожидать от человека, дотоле проявлявшего завидное спокойствие.

– Я не позволю вам убить его! – гневно воскликнул он. – Кто вы такие, что осмеливаетесь со мной спорить? Оставь его, Туссак, убери свои лапы с его шеи! Говорю вам, я не допущу этого!..

Но, видя, что криком их не пронять, Шарль перешёл к мольбам.

– Выслушай меня, Люсьен! Позволь расспросить его. Если он действительно полицейский шпион, тогда пусть Туссак делает с ним, что хочет! Но если это просто безобидный путник, попавший сюда случайно, если он рылся в наших бумагах всего лишь из вполне понятного любопытства, отдайте его мне!

С самого начала этого разговора я не произнёс ни слова в свою защиту, но моё молчание происходило отнюдь не из-за избытка мужества. Меня удерживала скорее гордость: лишиться чувства собственного достоинства – это было бы уж чересчур. Однако при последних словах Шарля я невольно перевёл взгляд с чудовища, сжимавшего меня как в тисках, на его товарищей, от которых зависела моя участь. Грубость одного тревожила меня куда меньше, чем вкрадчивая настойчивость другого, усердно хлопотавшего о моём путешествии на тот свет: нет человека опаснее, чем тот, который сам боится, и из всех судий самым суровым и непреклонным оказывается тот, кто имеет повод для каких-либо опасений, – таков общий закон. Моя жизнь зависела теперь от того, что ответит Лесаж на доводы Шарля.

Лесаж приложил палец к губам и снисходительно улыбнулся настойчивости своего приятеля.

– Пункт тринадцатый, пункт тринадцатый! – принялся повторять он тем же ожесточённым тоном.

– Я беру на себя всю ответственность!

– Я вам вот что скажу, сударь, – заявил Туссак своим резким голосом. – Существует другой пункт, помимо тринадцатого, по которому человек, приютивший преступника, сам преследуется как укрыватель.

Но и этот довод не переубедил моего защитника.

– Вы человек дела, Туссак, и здесь вам нет равных, – сказал он спокойно, – но что касается до теории, то вы уж предоставьте это более умным головам, чем ваша.

Тон спокойного превосходства, казалось, подействовал на это свирепое существо, всё ещё не отпускавшее мою шею. Он возмущённо пожал плечами, но пререкаться не стал.

– Я положительно удивляюсь тебе, Люсьен, – продолжал мой защитник, – как ты, занимая такое положение в моей семье, осмеливаешься противиться моим желаниям? Если ты действительно понял истинные принципы свободы, если ты пользуешься привилегией принадлежать к партии, которая никогда не теряла надежды восстановить Республику, то через кого ты достиг всего этого?

– Да, да, Шарль, понимаю, что вы хотите сказать, – взволнованно ответил Лесаж, – и

уверяю вас, что никогда не осмеливался противиться вашему желанию, но в данном случае я боюсь, что ваше слишком чувствительное сердце обманывает вас. Если хотите, расспросите этого шпиона, хотя слова его не имеют особого значения.

Признаться, я был того же мнения, ведь, проникнув в страшную тайну заговорщиков, я уже не мог надеяться остаться в живых. А какой чудесной представлялась мне теперь жизнь! Однако я получил отсрочку, пусть и короткую, от смерти: рука убийцы оставила мою шею.

В ушах у меня звенело; я почти лишился чувств, и лампа казалась мне тусклым пятном. Но это ощущение длилось всего одно мгновение, я пришёл в себя и стал рассматривать странное худое лицо своего спасителя.

– Откуда вы прибыли? – спросил он.

– Из Англии.

– Но ведь вы француз?

– Да.

– Когда вы прибыли?

– Сегодня в ночь.

– Каким образом?

– На парусном судне из Дувра.

– Он говорит правду, – проворчал Туссак, – я могу подтвердить. Мы видели судно и лодку, из которой кто-то высадился на берег, как раз после того, как отчалила лодка, в которой приплыл я.

Я вспомнил ту лодку – первое, что увидел во Франции, но я и не подозревал тогда, какое роковое значение она будет для меня иметь. Затем мой спаситель принялся задавать самые разные вопросы, непонятные и бесполезные; говорил он тихо, спокойно, что вызывало недовольное ворчание Туссака. Повторяю, я считал этот допрос совершенно бесполезной комедией, но странный республиканец продолжал неторопливо расспрашивать меня о всяких пустяках. Он настойчиво тянул допрос, словно стараясь выиграть время. Но зачем?

И вдруг, с проницательностью, которая появляется в минуту опасности, я понял, что он действительно чего-то ждёт, на что-то надеется! Я читал это на его лице; он склонил голову, приложил руку к уху, в глазах светилось беспокойство. Шарль, определённо, надеялся на что-то, известное ему одному и говорил, говорил, говорил...

Я был так уверен в этом, словно он поделился со мной своим секретом, и в моём измученном сердце зародилась слабая надежда. Но наша беседа вызывала всё нарастающее раздражение Туссака. Наконец он потерял терпение и отчаянно выругался.

– С меня хватит! – крикнул он. – Не ради детских игр рисковал я жизнью! Неужели нам, кроме этого юнца, не о чем поговорить? Вы думаете, я ехал из Лондона, чтобы слушать ваши чувствительные речи? Пора покончить с этим господином и перейти к делу.

– Прекрасно, – ответил Шарль, – этот шкаф можно использовать, как тюрьму. Посадим его туда и приступим к делу. Мы можем расправиться с ним и потом!

– И дать ему возможность нас подслушать? – иронически осведомился Лесаж.

– Не понимаю, какого чёрта вам нужно! – прорычал Туссак, подозрительно глядя на моего покровителя. – Никак не думал, что вы щепетильны, и уж с тем – с рю Бас-де-Ларампар – вы не церемонились. Этот юнец знает наши тайны и должен умереть. Какой был смысл так долго строить планы, чтобы в последнюю минуту освободить человека, который погубит нас всех?

Косматая лапа снова протянулась ко мне. Внезапно Лесаж вскочил. Его лицо побелело, он стоял, напряжённо вслушиваясь. Он поднял руку, призывая этим жестом к тишине. У него была тонкая, нежная рука; она дрожала, как лист, колеблемый ветром.

– Я слышу что-то странное, – прошептал он.

– И я тоже, – прибавил старик.

– Что ещё такое?

– Тсс!.. Ни слова! Слушайте...

С минуту или больше мы прислушивались к завываванию ветра в камине, порой он с чудовищной силой ударял в ветхое оконце.

– Нет, всё спокойно, – сказал Лесаж с нервным смешком, – в рёве бури иной раз слышатся весьма странные звуки.

- Ничего не слышать, – заявил Туссак.
– Тише! – вскричал Лесаж. – Вот опять!..

До нас донёсся залиvistый собачий лай. Буря снова заглушила его; и потом опять над болотом раздался лай. Начавшись с низких нот, он перешёл в пронзительный, оглушительный вой.

– Ищейки! Нас выследили! – Лесаж ринулся к камину. Я увидел, как он принялся бросать в огонь свои бумаги, а затем придавил их каблуком. Туссак схватил прислонённый к стене топор.

Шарль оттащил ворох драного невода из угла – открылась маленькая деревянная лестница, которая вела в низкий подвал.

- Туда! – шепнул он мне. – Скорей!

И пока я спускался, я слышал, как он сказал своим товарищам, что из подвала мне никуда не деться и они смогут разделаться со мной, когда захотят.

Глава Пятая **СТРАЖИ ПОРЯДКА**

Подвал, куда я поспешно скрылся, был страшно низкий и узкий, в темноте наощупь я понял, что он завален плетёными ивовыми корзинами. Сначала я не мог определить их назначение, но потом догадался, что оне служили для ловли омаров. Хотя я безумно устал и был измучен ожиданием смерти, я ещё не впал в безразличие к окружающему, и, прикинувшись щели в двери, принялся наблюдать за происходящим в комнате.

Мой худощавый спаситель с завидным хладнокровием продолжал сидеть на ящике. Охватив руками колени, он покачивался из стороны в сторону, на его скулах ритмично, напоминая рыбы жабры, ходили желваки. Возле него стоял бледный, как полотно, Лесаж. Он безуспешно пытался придать своему лицу более смелое выражение, но по щекам его текли слёзы, а губы тряслись от ужаса. Перед камином с топором наготове, задрав вверх в знак презрения к опасности подбородок, замер Туссак. Он не произнёс ни слова, но было видно, что он приготовился к борьбе не на жизнь, а на смерть.

Лай собак становился всё громче и яснее. Туссак быстро подошёл к двери и распахнул её.

– Нет, нет, оставь собаку в покое! – вскричал Лесаж, не в силах дольше бороться со страхом.

- Да ты с ума сошёл! Наша жизнь зависит от того, успеем ли мы её убить.

- Но она же на сворке!

– Коль она на сворке, пиши пропало. Но скорее она не привязана. Тогда мы можем спастись!

Лесаж, дрожа всем телом, снова прислонился к столу и не отрывал испуганных глаз от двери. Шарль продолжал покачиваться из стороны в сторону, на губах его застыла какая-то странная полуулыбка. Одну руку он сунул себе за пазуху и – я готов поклясться – сжимает ею оружие! Туссак стоит между ними и раскрытой настежь дверью, и хотя я боялся и ненавидел его, я не мог оторвать от него глаз: казалось, он стал выше ростом и в его осанке появилось подобие благородства. Меня настолько поглотило происходящее (ведь в конце концов все три заговорщика могли погибнуть), что я совершенно позабыл о бедственном положении, в котором находился сам. Передо мной разыгрывалась страшная, захватывающая драма, и я был единственный зритель, упрятанный в грязный, скверный подвал!

Я ждал и наблюдал, затаив дыхание. По напряжённым лицам моих тюремщиков я понял, что они следили за чем-то, чего я видеть ещё не мог.

Туссак занёс топор и изготовился к удару. Лесаж отошёл в самый дальний угол хижины и закрыл рукой глаза. Старик перестал покачиваться и застыл как изваяние. Вот послышался негромкий топот, на пороге мелькнула тень, и в дверях показалась собака...

Туссак молниеносно ударил её топором; удар был точен, и лезвие вошло в горло

животного, но топорщице сломалось. Собака, однако же, успела повалить Туссак на пол, и они сцепились в отчаянной смертельной схватке. Косматый великан и собака дико рычали, и голос человека было не отличить от рыка животного. Борьба шла за самое дорогое для каждого существа – за жизнь! И человек одержал верх. Железные пальцы Туссак впились в горло собаки... Я не видел, что было дальше, как вдруг раздался мучительный, страшный хрип. Туссак, пошатываясь, встал, с его рук струилась кровь, а его противник в луже крови остался неподвижно лежать на полу.

– Пора! – крикнул Туссак громовым голосом и выбежал из хижины.

Лесаж – на лице его был ужас, а глаза мокры от слёз – вышел из угла, куда он в страхе забился, пока Туссак боролся с собакой.

– Да, да, – воскликнул он, – бежим! После собаки придёт полиция. Собака сильно их опередила. Мы ещё успеем спастись.

Но Шарль всё с тем же бесстрастным лицом, на котором не отразилось никаких чувств – лишь желваки на скулах задвигались ещё быстрее, – спокойно встал и, подойдя к двери, запер её.

– Я думаю, голубчик Люсьен, – невозмутимо сказал он, – тебе лучше оставаться там, где ты есть!

Выражение ужаса на бледном лице Лесажа постепенно сменилось изумлением.

– Но вы не признаёте опасности, Шарль, – сказал он, пытливо вглядываясь в товарища.

– О, нет, я прекрасно всё сознаю, – ответил тот с неожиданной улыбкой.

– Но ведь полиция с минуты на минуту будет здесь! Собака сорвалась со сворки и убежала вперёд. Нет сомнения, они направляются прямо сюда, ведь это единственное жильё в здешних местах!..

– Нет, сказал я, мы не двинемся с места!

– Безумец, вы можете жертвовать своей жизнью, но не моею! Оставайтесь, коли хотите, а я уйду!

Он бросился было к двери, беспомощно и нелепо размахивая руками, но Шарль вскочил на ноги и встал перед ним с таким повелительным жестом, что молодой человек отпрянул назад, словно его ударили.

– Глупец, – презрительно бросил Шарль, – жалкий, ничтожный глупец!..

Лесаж раскрыл, было, рот, да так и оцепенел; колени его от страха подогнулись, он сжал в мольбе руки. В этот миг он являл собой олицетворение ужаса – безысходного, самого отчаянного ужаса, какое мне только доводилось видеть. Лесаж наконец понял, в *чем* руки он попал.

– *Вы*, Шарль, *вы*! – лепетал он, запинаясь на каждом слове.

– Да, я! – безжалостно усмехнувшись, ответил тот.

– Вы – полицейский шпион! Вы – душа нашего общества?! Вы, принимавший участие в самых секретных заговорах!.. Вы были нашим вождём! О, Шарль, у вас нет сердца!.. Я слышу их приближение... Шарль, отпустите меня; я прошу, я умоляю вас, отпустите меня!..

С окаменевшим лицом Шарль медленно покачал головой.

– Но почему же именно я должен стать вашей жертвой? Почему не Туссак?

– Справься собака с ним, я захватил бы вас обоих. Туссак слишком силен, куда уж мне с ним бороться! Поэтому, Люсьен, ты один обречён стать моим трофеем, и тебе с этим придётся смириться!

Лесаж провёл рукой по лбу, словно желая убедиться, что не спит.

– Агент полиции! – шёпотом повторял он. – Шарль, мой учитель, – агент полиции!..

– Я знал, что это вас изумит!

– Но ведь как раз вы придерживались самых крайних взглядов! Ни один из нас не мог равняться с вами. Сколько раз мы собирались, чтобы внимать вашим философским рассуждениям. И Сибилла с вами! Ради Бога, не говорите мне, что и Сибилла тоже была шпионом!.. Но ведь вы шутите, Шарль. Скажите мне, что вы шутите!..

Черты лица Шарля несколько смягчились, и глаза загорелись лукавством.

– Ваше удивление для меня весьма лестно, – молвил он. – Видать, я хорошо сыграл свою роль. Не моя вина, коль эти разини спустили собаку. За мной, во всяком случае, будет честь собственноручной поимки отчаянного и опаснейшего заговорщика.

Он насмешливо улынулся своему трусливому пленнику.

– Император умеет не только награждать друзей, – строго добавил он, – но и наказывать врагов.

До сих пор он держал руку за пазухой, но теперь вынул пистолет.

– Не стоит и пытаться бежать, – бросил он в ответ на испуганный взгляд Лесажа, – живой или мёртвый, но вы останетесь здесь!

Лесаж закрыл лицо руками и громко, беспомощно зарыдал.

– Каким же вы оказались негодяем, Шарль, – почти простонал он, – ведь вы заставили Туссака убить того человека с улицы Бас-де-Ларампар, вы заставили нас поджечь его дом! А теперь вы сами же и предаёте нас...

– Я сделал это, потому что хотел, чтобы честь раскрытия вашего заговора принадлежала единственно мне. Наконец пробил час!

– Хитро придумано, Шарль, но что подумают о вас, когда я обо всём расскажу? Как вы объясните императору свои поступки? В ваших интересах не допустить, чтобы я скомпрометировал вас.

– В самом деле, друг мой, вы совершенно правы, – сказал тот, взводя курок пистолета, – я несколько перешёл границы, исполняя данные мне инструкции, и теперь самое время исправить это. Вопрос в том, оставлять вам жизнь или нет, хотя я лично думаю, что вам лучше умереть.

Страшно было смотреть на Туссака, когда тот боролся с собакой, но эта новая сцена заставила меня содрогнуться. Чувство жалости к несчастному Лесажу, созданному, казалось, для того, чтобы стать учёным или поэтом-мечтателем, перемешалось с отвращением. Было ясно, что слабого Лесажа подчинили себе другие, более волевые люди и навязали ему непосильную роль в нынешнее смутное время. Я забыл уже его вероломство по отношению ко мне, хотя оно едва не стоило мне жизни, забыл, как Лесаж настаивал на том, чтобы убить меня.

Видя перед собой неизбежную гибель, он упал на пол и извивался всем телом в припадке ужаса, а его мнимый друг и учитель стоял над ним с пистолетом в руке и насмешливо улыбался. Шарль играл этим беспомощным трусом, как кошка с мышью, но развязка близилась: ещё мгновение, и раздастся выстрел...

Невыразимый ужас охватил меня при мысли о столь безобразном убийстве, я выскочил из своего убежища, намереваясь стать второй жертвой отвратительного старика, как вдруг снаружи донёсся гул голосов и послышалось звяканье сабель. С громоподобным возгласом «Именем Императора!» дверь хижины одним ударом оказалась сорвана с петель.

Через дверной проём я увидел большую группу всадников: ветер трепал перья на их киверах, развевались мокрые от моросившего дождя плащи. Свет лампы из хижины освещал морды двух лошадей и тяжёлые, с красными султанами кивера стоявших подле них гусар. В дверях показался молодой и высокий гусарский полковник. Я невольно залюбовался им: богатство одеяния, величественная осанка; высокие, достигающие до колен сапоги, ярко-голубая с серебром форма удивительно шли его статной фигуре. У него было бледное с резкими чертами, но всё же красивое лицо, из-под медной цепи кивера топорщились усы. Скрестив руки на груди, с ярко блестящей ножнами саблей, он стоял на пороге и холодным, бесстрастным взглядом оглядывал залитую кровью хижину и её обитателей.

– Недурно! – сказал он. – Недурно!

– Это Люсьен Лесаж, – сказал Шарль, пряча пистолет в карман своего коричневого сюртука.

Гусар с презрением взглянул на распростёртую на полу фигуру.

– А! Красавчик-заговорщик! – проговорил он. – Поднимайся, презренный трус! Жерар, сообразовите препроводить его в лагерь.

Позвякивая шпорами, в хижину вошёл молодой офицер в сопровождении двух солдат, и те унесли куда-то в темноту жалкое подобие человека, от ужаса лишившееся чувств.

– Но где же тот, другой, где Туссак? – осведомился полковник.

– Убил собаку и сбежал. И Лесаж бы последовал за ним, не придержи я его. Быть бы им уже обоим в наших руках, не спусти вы собаку, но тут уж я ничего поделать не мог. Так что поздравьте меня, полковник Лассаль, с успехом, – сказал он, протягивая руку, но гусар,

словно не видя руки, круто повернулся на каблуках.

– Вы слышите, генерал Савари? – сказал он. – Туссак бежал!

Молодой генерал приблизился к двери и попал в полосу света от лампы. Когда он услышал эту новость, на его красивом умном лице отразилось неудовольствие.

– И где же он?

– Только что бежал!

– Он самый опасный из всех заговорщиков-республиканцев. Император сильно разгневан.

– А это кто? – спросил генерал Савари, указывая на меня. – Я понял из вашего донесения, что тут будут только двое, мсье Бер...

– Я бы предпочёл, чтобы имена здесь не назывались, – резко оборвал его Шарль.

– О, это можно понять, – с насмешкой ответил Савари.

– Я передал вам, что эта сторожка станет местом встречи, но это не было окончательно определено вплоть до последней минуты. Я дал вам возможность поймать Туссака, но вы прозевали его, спустив собаку. Думаю, вам придётся отвечать за сей досадный промах перед императором!

– Это уж вас не касается! – в гневе воскликнул генерал Савари. – Вы ещё не ответили: что это за личность?

Мне показалось бесполезным сохранять далее своё инкогнито, тем более что в кармане у меня была бумага, удостоверявшая мою личность.

– Моё имя Луи де Лаваль, – не без гордости заявил я.

Признаюсь, только в эту минуту мне стало ясно, что я и мои родственники-эмигранты, сидя в Англии, слишком преувеличивали наши заслуги перед Францией. Нам казалось, что Франция с жадным нетерпением ожидала нашего возвращения, а на поверку вышло, что в быстром ходе событий последних лет о нашем существовании напрочь забыли. Моё аристократическое имя, повидимому, произвело весьма мало впечатления на молодого генерала Савари, и он совершенно безразлично занёс его в свою записную книжку.

– Мсье де Лаваль не имеет никакого отношения к этому делу, – вмешался шпион, – он оказался здесь совершенно случайно, и я беру его под свою ответственность, если его потребуют к допросу!

– Несомненно, потребуют, – заверил Савари, – Но сейчас у меня каждый солдат на счету, и если вы берёте этого господина под свою личную ответственность, то проводите его в лагерь, когда в том явится необходимость. Я не вижу причин не доверять вам этого молодого человека. Когда он понадобится, я сообщу!

– Он всегда к услугам императора!

– Сохранились ли здесь какие-нибудь бумаги?

– Оне все сожжены!

– Очень жаль!

– Но у меня есть копии.

– Прекрасно!

– Идёмте же, Лассаль! Дорога каждая минута, а здесь нам делать больше нечего. Пусть люди осмотрят окрестности, а мы поедem дальше.

Оба офицера без дальнейших объяснений с моим спасителем покинули хижину; чей-то резкий голос прокричал команду, послышалось звяканье сабель, когда спешившиеся гусары снова вскочили на коней. Через мгновение раздалось шлёпанье подков, быстро замершее вдали, и наконец всё смолкло. Шарль подошёл к дверному проёму и выглянул во мрак. Затем он вернулся и саркастически улыбнулся мне.

– Ну-с, молодой человек, – сказал он, – для вашего развлечения мы изобразили весьма недурные живые картины, и можете благодарить только меня за отличное место в партере.

– Я очень обязан вам, мсье, – сказал я, одолеваемый одновременно признательностью и отвращением, – и, право, не знаю, как благодарить вас.

Он как-то странно посмотрел на меня, в его взгляде определённо сквозила насмешка.

– Вам представится удобный случай отблагодарить меня, – сказал он, – а теперь – поскольку вы всё же иностранец, а я взял вас под своё милостивое попечение – попрошу следовать за мною туда, где можно быть в полной безопасности.

Глава Шестая

ТАЙНЫЙ ХОД

Дрова в камине чуть тлели. Мой спутник задул лампу, и хижина погрузилась в темноту, так что не прошли мы и десяти шагов, как потеряли её из виду. Ветер начал стихать, но безостановочно лил частый холодный дождь. Будь я предоставлен самому себе, я бы растерялся, но мой спутник шёл уверенно и быстро: несомненно, он руководствовался какими-то приметам, которых не было видно мне. Нервы мои были взвинчены, я насквозь вымок, продрог. Молча шёл я рядом со своим спасителем, припоминая случившееся за ночь.

Благодаря постоянным политическим спорам между моими родными я, несмотря на молодость, был хорошо знаком с положением дел во Франции. Я знал, что восшествие Бонапарта на престол восстановило против него небольшую, но опасную партию якобинцев, или крайних республиканцев; все их усилия уничтожить королевскую власть не только были тщетны, но и способствовали перемене королевской конституционной власти на самодержавную власть императора. Вот какими грустными оказались результаты этой борьбы! Корона с восемью лилиями сменилась другой, украшенной крестом и державой.

В свою очередь, сторонники Бурбонов, в среде которых протекала моя юность, были разочарованы тем, как французский народ приветствовал переход от хаоса к порядку. Несмотря на полную противоположность взглядов, обе партии объединились в своей ненависти к Наполеону и твёрдо решились одолеть его во что бы то ни стало.

Результатом этого явились многочисленные заговоры, главным образом организованные в Англии; целые отряды шпионов наблюдали за каждым шагом Фуше и Савари, на которых лежала ответственность за безопасность императора.

По воле судьбы я попал на берег Франции в одно время со страшным заговорщиком, вознамерившимся убить Наполеона, и имел возможность видеть человека, при помощи которого полиция сумела воспрепятствовать замыслам Туссака и его сообщников.

Словно испуганное дитя, я невольно вздрагивал и ёжился, припоминая приключения этой ночи: как я блуждал по соляному болоту, наткнулся на таинственную хижину, где нашёл важные бумаги, как меня схватили заговорщики, и затем мучительное ожидание смерти, появление собаки и арест Лесажа.

И теперь меня больше всего занимал вопрос: какие отношения установятся между мною и моим ужасным спасителем? Судьба свела меня с искусным шпионом, который умудрился провести и одурачить своих мнимых приятелей. В его насмешливом взгляде, когда он с пистолетом в руках стоял над унижавшимся трусом, которого сам же и втянул в неблагоприятное предприятие, читалась жестокость. Но, с другой стороны, я не могу не признать, что, попав в безвыходное положение из-за дурацкого любопытства, я был спасён только благодаря вмешательству этого провокатора, не побоявшегося даже разъярённого Туссака. Помимо того, он мог бы выдать меня за ещё одного заговорщика, так как в его интересах было захватить больше пленных. А случись такое, я никоим бы образом не сумел доказать свою непричастность к заговору.

Его выступление в роли моего спасителя никак не вязалось со всеми остальными поступками, свидетелем которых мне довелось быть в течение нашего непродолжительного знакомства, и, пройдя в молчании ещё пару миль, я прямо попросил его сказать, чем объясняется его заступничество.

В ответ в темноте раздался взрыв смеха; моего спутника, наверное, изрядно позабавили моя откровенность и непосредственность.

– Вы крайне занятый человек, господин... господин де... будьте добры, напомните ваше имя!

– Де Лаваль.

– Ах, ну да, господин де Лаваль! Вы обладаете пылкостью и стремительностью юности. Вам захотелось узнать содержимое каминного тайника, и вы без околичностей прыгаете туда. Желая понять происходящее, вы прямо задаёте вопрос. Мне, должен вам сказать, всегда приходилось иметь дело с людьми, которые крепко держат язык за зубами, и ваша искренность – всё равно что глоток освежающего напитка в жару.

– Не знаю, какими побуждениями вы руководствовались, но вы спасли мне жизнь, – сказал я, – и я сильно обязан вам за это вмешательство.

Трудно высказывать благодарность и признательность человеку, который вам ненавистен или вызывает у вас отвращение, и я боялся, что сгоряча снова скажу что-нибудь не то.

– Как-нибудь обойдусь без вашей благодарности! – грубо отрезал он. – Вы совершенно справедливо заметили, что я мог бы погубить вас, входи это в мои планы. А я, точно так же, вправе думать, что не будь вы мне обязаны, то, верно, не подали б мне руки, как это только что сделал долговязый мальчишка Лассаль. Он думает, что очень почётно рисковать жизнью ради императора на поле битвы. Ну, а когда человек ежедневно находится на волосок от смерти среди отчаянных смельчаков, когда малейшая оговорка, самая ничтожная ошибка непременно повлечёт за собой смерть, почему, скажите на милость, такая служба не достойна внимания императора? Почему моё ремесло считается позорным? Почему, – продолжал он с горькой улыбкой, – я мог бесконечно долго выносить всевозможные лишения и терпеть этого Туссака с его сообщниками? И, несмотря на это, Лассаль считает себя вправе относиться ко мне с презрением! А ведь все маршалы, вместе взятые, не оказали императору такой услуги, как я. И я уверен, что вы в душе тоже презираете меня, господин... де... де...

– Де Лаваль.

– А, ну да, удивительно, я никак не могу запомнить ваше имя! Так вот, готов поручиться, что вы разделяете мнение Лассалья.

– Трудно высказывать мнение по вопросу, с которым совершенно незнаком, – сказал я. – Знаю только одно: что обязан вам жизнью.

Сложно сказать, что он ответил бы на мои слова, но тут в тишине ночи раздались два pistolетных выстрела. Несколько минут мы не двигались с места, но больше ничто не нарушило тишины.

– Наверное, они напали на след Туссака, – предположил мой спутник. – Боюсь только, он слишком хитёр и смел для этих растяп. Где уж им поймать его! Не знаю, какое впечатление он произвёл на вас, но поверьте мне: трудно встретить более опасного человека!

Я сознался, что не имею желания продолжить приятное знакомство с Туссаком. Судя по громкому смеху моего заступника, он хорошо понимал и разделял мои чувства.

– Должен сказать, что это абсолютно честный человек, такие нечасто встречаются в наше время. Один из лучших, кого увлекла революция. Он слепо верил словам ораторов, зажигался идеями революционных мыслителей и был убеждён, что после потрясений и необходимых казней Франция делается раем земным, центром мира, спокойствия и братской любви. Многие пылкие головы увлекались теми же мыслями, но – увы! – время жестоко разочаровало их. Туссака следует причислить именно к этому разряду людей. Бедняга! Вместо тишины и благополучия он увидел войну, вместо братской любви и полного равенства людей – деспотическую императорскую власть. Ничего удивительного, что он словно обезумел. Он превратился в дикого зверя, готового отдать всю свою гигантскую силу, чтоб покарать тех, кто надругался над его идеалом. Он не знает страха, настойчив и почти неодолим. Я не сомневаюсь, что он убьёт меня за измену, если только догадается, что эта ночь – плод моих трудов!

Мой спутник говорил спокойным, ровным голосом, и я понял: он не лжёт и не преувеличивает, утверждая, что надо много-много мужества, дабы предпочесть роль шпиона блестящей карьере кавалериста. Он заговорил снова, как бы рассуждая с самим собою:

– Да, я ошибся. Надо было убить его, пока он боролся с собакой. Но если бы я промахнулся и только ранил его, он разорвал бы меня на куски, как цыплёнка. Нет, лучше уж, конечно, как есть!

Мы уже давно миновали соляное болото, и я только изредка ощущал под ногами мягкую торфянистую почву. Мы то поднимались, то спускались по низким прибрежным холмам. Быстрая ходьба согревала моё заочневшее в подвале тело. Я был так неопытен, когда покинул родную страну, что вряд ли даже и при дневном свете смог бы сориентироваться в этой местности, а в крошечной темноте и подавно не представлял, где мы и куда направляемся.

Я забеспокоился, когда увидел, что наше путешествие затягивается, меня уже пугала

бесконечная дорога к какому-то неведомому убежищу, в котором, однако, я так нуждался. Не ведаю, сколько времени мы шли, знаю только, что порой чуть не терял сознание и снова приходил в себя, идя рядом с Шарлем, который неуклонно двигался вперёд. Вдруг он резко остановился, что окончательно привело меня в чувство.

Дождь перестал, и, хотя тучи ещё закрывали месяц, небо значительно посветлело. Прямо против нас оказался обширный водоём. Это был заброшенный меловой карьер, густо обросший по краям папоротником и терновником.

Мой спутник внимательно осмотрелся по сторонам, словно желая убедиться, что за нами никто не следит, и стал продираться через кустарник, пока наконец не добрался до меловой стены. Плотнo прижимаясь к ней, мы прошли ещё некоторое расстояние, зажатые между скалой и густой чащей терновника. Но вот идти дальше стало невозможно.

– Посмотрите, за нами нет света? – спросил он.

Я оглянулся, но света никакого не увидел.

– Идите вперёд, а я пойду сзади.

Я обернулся к нему, а он то ли раздвинул ветви терновника, то ли сломал одну из них – я не заметил, – но вдруг в белоснежной стене появилось чёрное четырёхугольное отверстие.

– Вход очень тесен, но дальше коридор расширяется, – пояснил он.

Я стоял в нерешительности. Куда ведёт меня этот престранный человек? Неужели он живёт в этой пещере, подобно дикому зверю, или же он попросту заманивает меня в ловушку? Зияющее отверстие, освещённое серебристыми лучами показавшегося из-за тучи месяца, выглядело прямо-таки угрожающе.

– Поздно отступать, друг мой, – сказал он, – решайте: доверять мне или нет.

– Я в вашем распоряжении!

– Коли так, то смелее вперёд!

На четвереньках я вполз в дыру. Шарль замешкался у входа, прикрывая его ветвями, слабый свет, проникавший снаружи, исчез, и мы остались в полной темноте. Я слышал, как он ползёт за мной.

– Скоро коридор станет шире, – сказал он, – и мы тогда сможем высечь огонь.

Потолок был так низок, что я задел его головой, попытавшись разогнуть спину, а мои локти постоянно цеплялись за стены, но в ту пору я был ловок и гибок и потому без особого труда продвигался вперёд, пока, наконец, не почувствовал, что пол резко уходит вниз. По притоку свежего воздуха я понял, что нахожусь в пещере. Послышались удары о кремь: мой спутник высекал огонь; наконец он зажгёт свечу.

Сначала я различал только его истощённое лицо, резкое и грубое, точно топорная резьба по дереву, с не перестававшими дёргаться челюстями. Свет падал прямо на него и окружал его мутной дымкой. Но вот он поднял свечу и осмотрелся. Я решил, что мы находимся в подземном туннеле, который, казалось, шёл вглубь земли. Здесь я мог совершенно свободно выпрямиться, настолько значительна была его высота; стены поросли мхом, что свидетельствовало об их древности.

Там, где мы стояли, потолок обвалился, и прежний проход оказался завален, но в меловой стене был пробит новый коридор, по которому мы только что ползли. Этот коридор сделали, повидимому, недавно: у входа валялись инструменты и высилась груда камней и обломков. Мой спутник со свечой в руке двинулся по туннелю, и я последовал за ним, спотыкаясь о большие камни, упавшие когда-то сверху или со стен и теперь то и дело преграждавшие путь.

– Ну, как вам понравилась дорога? – усмехнулся мой провожатый. – Скажите, приходилось вам видеть что-нибудь подобное в Англии?

– Никогда ничего похожего не видел! – признался я.

– Подобные предосторожности были необходимы прежде, когда бесчинствовала революция. Но сейчас опять настало смутное время, и знать такие потаённые местечки весьма кстати.

– Куда мы идём? – спросил я.

– А вот сюда, – отвечал он, останавливаясь перед деревянной, окованной железом дверью.

Он долго возился, открывая дверь, и всё время стоял так, чтобы мне не было видно его

манипуляций. Но вот он толкнул дверь, она медленно подалась и без скрипа повернулась на петлях. За нею оказалась очень крутая, почти отвесная лестница, ведущая наверх, с обветшалыми ступенями. Шарль запер за нами дверь. Наверху лестницы была вторая такая же дверь, которую он открыл каким-то особо изощрённым способом.

Я начал протирать себе глаза, желая понять, уж не сон ли это. Массивные, обросшие мхом своды, окованные железом двери – как будто из сказки, но колеблющееся пламя свечи, мой потрёпанный костюм и узелок свидетельствовали о том, что картины эти мне не пригрезились.

Быстрая, бодрая походка моего спутника, его отрывистые замечания живо вернули меня с небес на землю. Он раскрыл очередную дверь и собственноручно запер её после меня. На этот раз мы очутились в длинном, сводчатом коридоре, пол здесь был выложен каменными плитами; коридор освещался маленькой лампочкой, тускло горевшей в дальнем конце. Два окна с железными решётками указывали, что мы снова были на земной поверхности.

Миновав этот коридор и сделав ещё несколько переходов, мы поднялись по винтовой лестнице к раскрытой настежь двери, за которой оказалась маленькая, прекрасно убранная спальня.

– Полагаю, вы не станете возражать против того, чтобы расположиться здесь на ночь, – сказал Шарль.

Я не желал ничего лучше, как, сбросив с себя одежды, кинуться в эту белоснежную постель, но любопытство всё же превозмогло усталость.

– Я очень благодарен вам, но, думаю, вы не откажете мне в любезности сообщить, где я?

– Вы в моём доме, и это всё, что вам следует сейчас знать. Утром потолкуем.

Он позвонил; вбежал долговязый перепуганный слуга.

– Барышня уже отдыхает? – спросил Шарль.

– Да, сударь, она уже часа два как легла.

– Очень хорошо. Я сам зайду к вам утром, – с этими словами он закрыл дверь в спальню. Его шаги ещё не успели замереть в глубине коридора, а я уже спал крепким сном усталого, измученного человека.

Глава Седьмая **ВЛАДЕЛЕЦ ЗАМКА ГРОБУА**

Слова моего хозяина не оказались пустой формальностью: утром, как и обещал, он стоял подле моей кровати и ждал, когда я проснусь. Серьёзное, спокойное лицо и тёмная скромная одежда не вязались с его ночной бессердечностью и отталкивающим родом деятельности. При ярком дневном свете Шарль выглядел типичным школьным учителем; это впечатление усиливалось повелительной, но благосклонной улыбкой, с которой он на меня поглядывал. Его улыбка выводила меня из себя; я окончательно убедился, что этот человек мне отвратителен и что я не успокоюсь, пока не порву наше вынужденное знакомство. Он принёс целый ворох всевозможных нарядов и положил их на кресло рядом с кроватью.

– Я понял, что ваше платье не в особенно блестящем состоянии. Правда, вы крупнее всех в моём доме, но на всякий случай я принёс кое-что, чтобы пополнить ваш гардероб. Здесь вы найдёте также бритву, мыло и зубной порошок. Я вернусь через полчаса, надеюсь, ваш туалет будет завершён!

Тщательно осмотрев свою собственную одежду, я решил, что после основательной чистки она будет выглядеть вполне прилично, поэтому из принесённых Шарлем вещей я воспользовался лишь нижней рубашкой и чёрным сатиновым галстуком.

Окончив свой туалет, я подошёл к окну: напротив находилась белая стена. Вошёл мой хозяин, окинул меня острым, испытующим взглядом и, казалось, вполне удовлетворился результатом своего осмотра.

– Прекрасно, прекрасно, этот костюм вам очень к лицу, – сказал он, по обыкновению покачивая головой, – сейчас лёгкая небрежность в одежде, следы путешествия или трудной

работы гораздо моднее, чем фатовство. Я слышал, что многие дамы считают это признаком хорошего вкуса. А теперь прошу следовать за мной!

Его забота о моём наряде изрядно меня удивила, но я скоро забыл об этом – настолько поразили меня последующие события. Когда мы вошли в просторную залу, мне показалось, что я видел её прежде. Затем новая неожиданность: на стене висел парадный портрет моего отца в полный рост! В безмолвном изумлении я остановился перед портретом моего дорогого родителя, а потом повернулся к Шарлю и посмотрел прямо в его серые холодные глаза. Он пристально наблюдал за мною.

– Вы удивлены, де Лаваль? – с оттенком удовольствия спросил он.

– Ради Бога, не шутите так жестоко со мною! Кто вы, и куда меня привели?

Он усмехнулся и, положив морщинистую смуглую руку на моё плечо, пригласил в другую большую комнату. Посередине стоял великолепно сервированный стол; около него в низком кресле с книгой в руках сидела девушка. При нашем появлении она встала: высокая и стройная, смуглая, с правильными чертами лица; огненный блеск в чёрных глазах. Во взгляде, обращённом ко мне, читалась откровенная неприязнь.

– Сибилла, – сказал Шарль, – это твой кузен из Англии, Луи де Лаваль. А это, дорогой мой племянник, моя единственная дочь – Сибилла Бернак.

Я обомлел.

– Так, значит, вы...

– Брат вашей матери, Шарль Бернак!

– Вы – дядюшка Бернак?!

Я глупо уставился на него.

– Но почему же вы раньше-то не сказали? – воскликнул я.

– Незачем было спешить. К тому же это дало возможность посмотреть, что сделало с моим племянником английское воспитание. Разумеется, тот приём, который вы встретили при вашем вступлении на берег Франции, дружественным никак не назовёшь. Но Сибилла, надеюсь, поможет мне сгладить это неблагоприятное впечатление.

При этих словах он как-то неискренно улыбнулся своей дочери, продолжавшей смотреть на меня с тем же холодным, неприязненным выражением на лице.

Я ещё раз огляделся и внезапно вспомнил эту залу, стены которой были увешаны оружием и головами оленей. И пейзаж за окном мне также был знаком: спускающийся к морю парк, старые дубы, – да, я, конечно же, видел их раньше! Раньше, когда наша семья жила в замке Гробуа. И именно этого ужасного человека, шпиона с бесстрастным лицом так часто проклинал мой бедный отец! Ведь именно он выгнал нас из родного гнезда и сам поселился на нашем месте! Но при всей своей ненависти я не мог забыть, что прошлой ночью он, рискуя жизнью, спас меня от верной гибели. Признательность за спасение жизни и ненависть за пережитое горе боролись во мне. Мы сели за стол, и, пока я утолял голод, мой новообретённый дядя объяснял мне то, чего я не понял вчера.

– Я узнал вас с первого взгляда, – сказал он, – ведь я отлично помню вашего отца, в молодости он был очень привлекателен! Вы его точная копия, хотя – и я не льщу – вы красивее его. Ваш отец считался самым красивым мужчиной в землях от Руана до моря. Не забывайте также, что я ждал вас и что не так уж часто встретишь молодого аристократа, блуждающего по прибрежным болотам. Я только удивился, как вы сразу не узнали местности вчера ночью. Разве вы никогда не слыхали о тайном ходе в Гробуа?

Я смутно помнил, что ещё ребёнком слышал рассказ о подземном туннеле, у которого обвалился потолок, – почему им и перестали пользоваться.

– Совершенно верно, – сказал дядя, – но когда замок перешёл ко мне, первой моей заботой было вырыть новый туннель: я наперёд знал, что в нынешнее смутное время он весьма пригодится. Если б его починили раньше, ваша семья могла бы воспользоваться им, чтобы бежать отсюда без лишних хлопот.

Я вспомнил всё, что сохранилось в моей памяти о тех ужасных днях, когда мы, владельцы окрестных земель, уходили в неведомое, погоняемые толпами черни, которая не переставала извергать на нас потоки брани, грозить кулаками и даже бросаться камнями! Вспомнил я также и то, что передо мной стоит виновник всех этих бедствий – человек, который исподволь подготовил тогдашнюю катастрофу нашей семьи и ловко воспользовался

обстоятельствами, дабы упрочить собственное благосостояние на руинах нашего.

По его глазам я догадался, что он прочёл мои мысли.

– Забудем прошлое, – сказал он, – то были ссоры старого поколения, а вы и Сибилла – представители нового!

Кузина опять не проронила ни слова; казалось, она не желала замечать моего присутствия.

– Ну, Сибилла, скажи же, что все семейные неурядицы теперь позади!

– Хорошо вам говорить, отец. Однако там, в зале, не ваш портрет висит, и оружие это тоже не ваше. Мы владеем землёй и замком, но теперь явился наследник де Лавалей и имеет право заявить, что не особенно доволен своим положением!

Её тёмные, полные презрения глаза вызывающе смотрели на меня, ожидая ответа, но я не успел открыть рта, как её отец поторопился вмешаться.

– Нельзя сказать, что ты приветлива и гостеприимна со своим кузеном, – резко сказал он. – Судьба дала нам в руки его имение, и не нам напоминать ему об этом.

– Он не нуждается в напоминаниях, – возразила она.

– Вы несправедливы ко мне! – воскликнул я, потому что нескрываемое презрение этой девчонки выводило меня из себя. – Я, разумеется, не могу забыть, что этот замок и земля – наследие моих предков, иначе я был бы бесчувственным человеком, но вы ошибаетесь, думая, что в душе моей горечь. Я мечтаю сам устроить свою судьбу и сделать карьеру!

– И нельзя было выбрать более благоприятного момента для этого, чем сейчас, – радостно подхватил дядя. – В стране назревают важные перемены, и если теперь вы будете при дворе императора, ручаюсь, вы окажетесь в самом центре событий. Ведь вы, как я понял, намерены служить ему?

– Я стремлюсь служить своей родине!

– Это означает служить императору, потому что без него в стране снова наступит чудовищная анархия!

– Надеюсь, вы поняли, что служба эта нелегка, – сказала моя кузина. – Думаю, вам было бы гораздо спокойнее и безопаснее оставаться в Англии, чем находиться здесь.

Каждое слово её, казалось, стремилось оскорбить меня, хотя я решительно не мог взять в толк, чем заслужил её немилость. Никогда ещё я не встречал женщины, в которой возбуждал бы такую ненависть и презрение к себе. Но её поведение, как я заметил, задевало и моего дядю: глаза его в продолжении всего разговора гневно сверкали.

– Ваш кузен храбрый человек – вот что я могу о нём сказать! – воскликнул он.

– На какие дела? – колко спросила она.

– Не всё ли равно! – злобно оборвал дядя, и, явно боясь, что не совладает со своим гневом и скажет лишнее, он резко поднялся и вышел из комнаты.

Она словно встревожилась и тоже встала, намереваясь последовать за ним.

– Полагаю, вы раньше не встречались со своим дядей, – сказала она после неловкого молчания.

– Не доводилось! – ответил я.

– И что же вы подумали, встретив моего отца?

Подобный вопрос дочери об отце поставил меня в тупик. Я понял, что этот человек куда хуже, чем я предполагал, коль скоро он стоит так низко в глазах собственной дочери.

– Что ж, ваше молчание – вполне определённый ответ, – сказала она, пока я колебался, не зная, что ей сказать. – Мне неизвестно, при каких обстоятельствах вы встретились прошлой ночью и что между вами произошло, потому как у нас не принято делиться секретами. Но думаю, что вы раскусили его! А теперь позвольте задать вам несколько вопросов. Получили вы письмо-приглашение?

– Да, получил!

– А обратили вы внимание на обратную его сторону?

Я вспомнил зловещие слова на печати, так меня взволновавшие.

– Так это вы предостерегали меня?

– Да! Я не могла сделать этого подругому.

– Но почему вы хотели помешать моему приезду?

– Я не хотела, чтоб вы ехали сюда.

– Разве я могу повредить вам?

Она помолчала, словно раздумывая, не сказала ли лишнего.

– Я боялась за вас!

– Вы полагаете, что мне грозит опасность?

– Я уверена в этом.

– Но кто желает мне зла?

Она долго колебалась и потом с жестом отчаяния, словно забыв всякую осторожность, снова обратилась ко мне:

– Берегитесь, берегитесь моего отца!

– Но какой ему смысл вредить мне?

– Обратитесь к своей проницательности!

– Но уверяю вас, мадемуазель, вы ошибаетесь, – сказал я, – этой ночью он спас мне жизнь.

– Спас вашу жизнь! От кого?

– От двух заговорщиков. Я случайно узнал их тайну.

– Заговорщиков?!

Она удивлённо посмотрела на меня.

– Если бы не он, меня бы убили.

– Просто не в его интересах вредить вам сейчас. У него свои причины желать вашего приезда в замок. Но откровенность за откровенность. Случалось ли вам... случалось ли вам в Англии... любить кого-либо?

Всё, что говорила кузина, было в высшей степени странно, но такое заключение серьёзного разговора превосходило все мои ожидания.

– Я оставил в Англии самое дорогое для меня на свете существо! Её зовут Эжени... Эжени де Шуазель, она дочь старого герцога.

Мой ответ кузине понравился, в её чёрных глазах отразилась радость.

– И вы к ней очень привязаны? – спросила она.

– Я живу только ею и для неё!

– И вы ни на кого и ни на что её не променяете?

– Господи! Да могу ли я даже помыслить такое?!

– Даже на замок Гробуа?

– Даже на него!

Кузина в искреннем порыве протянула мне руку.

– Забудьте мою холодность, – сказала она, – я вижу, мы будем союзниками, а не врагами.

И мы крепко пожали друг другу руки, как бы заключив союз. Как раз в эту минуту в комнату и вернулся её отец.

Глава Восьмая

КУЗИНА СИБИЛЛА

При виде нашего внезапного примирения дядюшка обрадовался. Прежний гнев его улёгся, но хотя говорил он ласково, кузина смотрела на него с недоверием и вызовом.

– Мне необходимо заняться важными бумагами, – сказал он, – на это уйдёт часа полтора. Вполне понятно, что Луи захочет осмотреть места, с которыми для него связано так много воспоминаний. Сибилла, лучше тебя никто не покажет ему поместье, если, конечно, тебя это не затруднит.

Она не стала возражать, а я был очень рад предложению дяди, тем более, что оно давало мне возможность поближе познакомиться с моей удивительной кузиной, которая успела так много сказать и, несомненно, ещё больше утаить. Но что означало её туманное предостережение против родного отца, и почему её интересовали мои сердечные дела?

Мы пошли по тисовой аллее, обошли весь парк и затем кругом замка, осматривая серые

башенки и старинные окна в дубовых рамах, старый выступ зубчатой стены с бойницами и новые пристройки с прелестной верандой, над которой цветущая жимолость образовала купол. И когда Сибилла показывала мне свои владения, я понял, как дороги они ей. Кузина шла с виноватым видом, словно оправдываясь, что хозяйкой здесь оказалась она, а не я.

– Здесь хорошо, но на душе у меня беспокойно. Мы с отцом, как кукушки, которые устроились в чужом гнезде, выгнав оттуда его обитателей. Как мог отец пригласить вас в ваш собственный дом!

– Да, мы долго жили здесь, – задумчиво ответил я. – Как знать, может быть, всё и к лучшему? Отныне де Лавали должны сами пробивать себе дорогу!

– Вы говорили, что желаете поступить на службу к императору?

– Да.

– Вы знаете, что его лагерь находится неподалёку?

– Да, я слышал об этом.

– Но ведь ваша фамилия значится в списках изгнанников?

– Я никогда не боролся против императора, а теперь я хочу просить его принять меня к себе на службу.

– Многие зовут его узурпатором и желают ему всяческого зла; но уверяю вас, что всё сказанное или сделанное им полно величия и благородства! Вы, Луи, наверное, совсем заделались англичанином! Сюда вы явились с карманами, полными английских денег, и мечтая о мести. Я права?

– В Англии я нашёл самое тёплое гостеприимство, но в душе я всегда оставался французом.

– Но ваш отец сражался против нас при Киброне!

– Предоставьте прошлому поколению отвечать за свои раздоры; в этом вопросе я разделяю точку зрения вашего отца.

– Судите об отце не по его словам, а по его делам, – резко сказала она, подымая в знак предостережения палец, – и, кроме того, если не хотите иметь на совести мою гибель, умоляю вас, не рассказывайте ему, что я просила вас не приезжать!

– Иметь на совести вашу гибель?! – воскликнул я.

– Да! Он не остановится и перед этим, ведь убил же он мою мать. То есть я не хочу сказать, что он буквально пролил её кровь, но его жестокость и грубость разбили ей сердце. Теперь, надеюсь, вам понятно, почему я так говорю о нём.

Я почувствовал, что она рассказала о сокровенном. Горькая, затаённая ненависть вырвалась наружу. Глаза Сибиллы сверкали гневом, яркая краска румянца заливала смуглые щёки. Эта изящная девушка обладала неукротимым духом.

– Я говорю с вами, Луи, откровенно, хотя знаю вас лишь несколько часов, – сказала она.

– С кем же и быть искренней, как не с близким родственником?

– Всё это верно, но я никогда не думала, что мы будем с вами в таких отношениях. С тоской ожидала я вашего приезда. И сердце моё чуть не разорвалось, когда отец привёл вас.

– Да, это не укрылось от меня, я понял, что мой приезд был вам в тягость, и, сознаюсь, я испугался.

– Судите сами, ваш приезд не сулил ничего хорошего не только мне, но и вам или, вернее, нам обоим, – ответила она. – Вам, потому что намерения моего отца не очень-то дружелюбны. А мне...

– А вам почему? – в изумлении спросил я, когда она запнулась, не решаясь продолжать.

– Вы сказали, что у вас есть любимая; я тоже уже отдала руку и сердце любимому человеку.

– Искренне рад! Но как мой приезд затрагивает ваше личное счастье?

– Ну, знаете, кузен, туманный воздух Англии повлиял на ясность вашего мышления, – усмехнулась она. – Мой отец рассчитывает поженить нас, укрепив таким образом свои права на землю за наследниками Гробуа. И тогда ни Бурбоны, ни Бонапарты не смогут поколебать его положение.

Я вспомнил его заботу о моём утреннем туалете, беспокойство о том, произведу ли я благоприятное впечатление, его неудовольствие, когда он видел, что Сибилла холодна ко мне, и, наконец, довольную улыбку, когда мы пожали друг другу руки.

– Вы правы! – воскликнул я.

– Права? Конечно, права! Но будем осторожны: вон он следит за нами.

Взглянув в указанном направлении, я увидел в одном из окон его худое жёлтое лицо, обращённое в нашу сторону. Заметив, что я смотрю на него, Бернак приветливо замахал рукою.

– Теперь вы знаете, что руководило им, когда он, как вы говорите, спас вам жизнь, – сказала она. – В его интересах женить вас на своей дочери, и потому он оставил вас в живых. Но если он поймёт, что это невозможно, о, тогда, мой бедный Луи, берегитесь! Он страшно боится возвращения де Лавалей и, конечно же, не остановится перед тем, чтобы уничтожить последнего их представителя!

Её слова и следившее за нами из окошка жёлтое лицо не оставляли сомнений в том, что мне грозит опасность. Во Франции некому было заступиться за меня. И исчезни я с лица земли, никто даже и не осведомится обо мне; да, я оказался всецело в его власти. Нынешней ночью мне довелось воочию убедиться в его беспощадной жестокости. И с этим-то чудовищем мне предстояло бороться!

– Но ведь он знает, что ваше сердце принадлежит другому? – спросил я.

– Да, знает, но от того мне ещё тяжелее. Я боюсь за вас, за себя, но больше всего за Люсьена. Отец не потерпит ничьих возражений.

Люсьен! Словно молния озарила мою память. Я много раз слышал о страстности и силе женской любви, но мыслимо ли, чтобы эта гордая, сильная духом девушка любила того несчастного труса, который у меня на глазах трясся от страха и унижался перед своим палачом? Я вдруг вспомнил, где впервые встретил имя Сибиллы: оно было написано на титульном листе трактата Руссо. *«Люсьену от Сибиллы»*, – гласила надпись. Вспомнилось мне также и то, что дядя что-то говорил ему о семейных взаимоотношениях.

– Люсьен горяч и легко увлекается, – сказала кузина. – В последнее время они с отцом были чем-то сильно заняты: часами не выходили из комнаты, и Люсьен никогда не рассказывал, чем они занимались. Боюсь, это не доведёт его до добра: Люсьен скорее скромный учёный, чем светский человек. Но сейчас он слишком увлёкся политикой!

Я не знал, что лучше: промолчать или рассказать, в какое ужасное положение попал её возлюбленный. Пока я колебался, инстинкт любящей женщины подсказал Сибилле, какого рода сомнения меня одолевают.

– Вы что-то о нём знаете? – почти крикнула она. – Я поняла, что он отправился в Париж. Но, ради Бога, скажите, что вам о нём известно?

– Его фамилия Лесаж?

– Да, да, Лесаж... Люсьен Лесаж!

– Я... я... видел его, – запинаясь, проговорил я.

– Видели его! А ведь не прошло ещё двенадцати часов, как вы приехали. Где же вы видели его? Что с ним случилось?

В тревоге Сибилла схватила меня за руку. Было бы жестоко сказать ей всё, но молчать было ещё хуже. В смущении я отвёл глаза в сторону и тут, к счастью, увидел на изумрудной лужайке дядюшку, направлявшегося к нам. Рядом с ним, громяхая саблей и позвякивая шпорами, шёл красивый молодой гусар, тот самый, на которого в прошлую ночь было возложено попечение об арестованном. Сибилла, не раздумывая ни минуты, бросилась к ним навстречу. Лицо её словно окаменело, глаза метали молнии.

– Отец, что ты сделал с Люсьеном? – вскричала она.

Я видел, как передёрнулось его бесстрастное лицо под взглядом дочери, исполненным ненависти и презрения.

– Потом поговорим, – в замешательстве сказал он.

– Я хочу знать сейчас же и здесь! – крикнула она. – Что ты сделал с Люсьеном?

– Милостивые государи, – сказал Бернак, обращаясь к гусару и ко мне, – весьма сожалею, что вам пришлось присутствовать при семейной сцене. Но, согласитесь, лейтенант, что поведение моей дочери вполне естественно, ведь человек, которого вы арестовали сегодня ночью, был её самым близким другом. Но, невзирая на родственные чувства, я выполнил свой долг перед императором. Разумеется, это было нелегко!

– Сочувствую вашему горю, – сказал гусар. Теперь Сибилла обратилась прямо к нему.

– Правильно ли я поняла? Вы арестовали Лесажа?

– Да, к несчастью, долг принудил меня сделать это.

– Я прошу сказать правду. Куда вы его отправили?

– Он в лагере императора.

– За что арестован Лесаж?

– Ах, мадемуазель, право же, не моё дело мешаться в политику! Мой долг – владеть саблём, ездить верхом да выполнять приказы. Эти двое господ могут подтвердить, что я получил от полковника Лассалья приказание арестовать Лесажа.

– Но что он такое сделал? За что его арестовали?

– Довольно, дитя моё, об одном и том же, – строго сказал дядя, – если ты продолжаешь настаивать, то я скажу тебе раз и навсегда, что Люсьен Лесаж – опасный заговорщик, один из тех, что покушались на жизнь императора, и я считал своей обязанностью предупредить преднамеренное убийство.

– Предатель! – вскричала девушка. – Ты сам впутал его в это страшное дело, сам наставлял, сам не давал отступить, когда он пытался всё бросить! О, низкий, подлый человек! Господи, что я сделала, за какие грехи моих предков я обречена называть своим отцом этого ужасного человека?

Дядя пожал плечами, как будто желая сказать, что бесполезно разговаривать с обезумевшей женщиной. Гусар и я хотели уйти, чтобы не участвовать в семейной ссоре, но Сибилла поспешно остановила нас, прося быть свидетелями её обвинений. Никогда я не видал такой всепоглощающей страсти, какая светилась в её сухих, широко раскрытых глазах.

– Вы многих завлекали и обманывали, но вы никогда не могли обмануть меня! О, я хорошо знаю вас – как может знать только ваша совесть! Вы вольны убить меня, как и мою мать, но вы никогда не заставите меня стать вашей сообщницей. Вы назвались республиканцем, чтобы завладеть этими землями и замком, которые не принадлежали вам. А теперь вы стали другом Бонапарта, изменив прежним единомышленникам, которые верили вам. Вы послали Люсьена на смерть! Но я знаю ваши планы, и Луи тоже знает их, и смею вас уверить, он отнесётся к ним так же, как и я. Да лучше я сойду в могилу, нежели стану женою другого, а не Люсьена!

– Ты не говорила бы так, если бы знала, каким жалким трусом оказался Люсьен. Ты сейчас вне себя от гнева, ну а потом сама устыдишься, что публично призналась в своей слабости. Перейдёмте к делу, лейтенант. Чем могу служить?

– Я, собственно говоря, к вам, мсье де Лаваль, – сказал мне гусар, презрительно поворачиваясь к дяде спиной. – Император послал меня за вами с приказанием немедленно явиться в Булонский лагерь.

От радости у меня перехватило дыхание: я мог бежать от дяди!

– Мои мечты сбываются! – воскликнул я.

– Лошадь и эскорт ожидают нас у ворот.

– Готов следовать за вами!

– К чему такая поспешность, ведь вы, конечно, позавтракаете с нами? – сказал дядя.

– Приказания императора не терпят отлагательства, – отрезал молодой человек. – Я и без того замешкался. Нам следует отправляться немедленно.

Дядя взял меня под руку и тихонько пошёл к воротам вслед за Сибиллой.

– Я бы хотел переговорить с тобою об одном деле, племянник, прежде чем ты покинешь нас. Так как в моём распоряжении слишком мало времени, то начну с главного. Ты видел Сибиллу, и, хоть она несколько сурово обошлась с тобою сегодня утром, могу тебя уверить: она славная девушка. Как я понял, она говорила тебе о моём плане. Не знаю, что может быть лучше, чем повенчать вас, чтобы навсегда покончить со спором о том, кому принадлежит это имение.

– К сожалению, для осуществления этого плана имеются препятствия, – сказал я.

– Какие же это?

– Прежде всего, моя кузина любит другого и дала ему слово.

– О, это нас не касается, – со злобной улыбкой сказал он. – Ручаюсь, Люсьен Лесаж никогда не предъявит на Сибиллу своих прав!

– А я смотрю на брак с точки зрения англичан! По-моему, нельзя жениться без любви,

по расчёту. Короче говоря, о вашем предложении не может быть и речи, потому что я люблю другую девушку, оставшуюся в Англии.

Он с ненавистью посмотрел на меня.

– Сначала подумай, что ты делаешь, Луи, – не сказал, а прошипел, словно змея, Бернак.
– Ты становишься мне поперёк дороги. До сих пор это никому не прошло безнаказанно.

– К сожалению, не могу изменить своих убеждений.

Он схватил меня за руку и, как Сатана, соблазняющий Христа царствами земли, сказал:

– Посмотри на этот парк, леса, поля. Посмотри на этот старый замок, где в течение восьми веков жили твои предки! Одно слово – и всё это снова будет твоим!

Я вспомнил очаровательную Эжени, которая выглядывает из окошка своего милого, утопающего в зелени домика в Эшфорде.

– Нет, это невозможно! – воскликнул я.

Бернак понял, что я непоколебим, его лицо потемнело от гнева, и слова убеждения быстро сменились угрозами.

– Знай я это, я не стал бы мешать Туссаку. Я бы и пальцем не пошевелил ради вашего спасения.

– Весьма рад это слышать. Своим признанием вы избавили меня от чувства благодарности к вам. Отныне я вам ничем не обязан! И я спокойно пойду своей дорогой, не имея с вами ничего общего.

– Не сомневаюсь, что вы не желаете иметь со мною ничего общего! – крикнул он. – Придёт время, и вам ещё больше захочется этого. Прекрасно, мсье, идите своей дорогой, но и я пойду своей, и мы посмотрим ещё, кто быстрее достигнет цели!

Гусары дожидались меня у ворот. Я быстро собрал свои скудные пожитки и пошёл вон из дома. И тут моё сердце сжалось: я подумал о Сибилле. Мыслимо ли оставлять её одну этим ужасным человеком? Ведь она предупредила, что её жизни в этих стенах постоянно угрожает опасность! В раздумье я остановился на пороге. Послышались чьи-то лёгкие шаги – это она сама спешила ко мне.

– Счастливого пути, Луи, – сказала она, запыхавшись, и протянула мне руку.

– Я думал о вас, – сказал я, – мы объяснились с вашим отцом, и между нами всё кончено!

– Слава Богу! – воскликнула она. – В этом ваше спасение! Но берегитесь его: он всюду станет преследовать вас.

– Пусть делает со мной, что хочет, но как вы останетесь здесь?

– За меня не бойтесь. У него больше оснований меня опасаться, чем у меня его. Луи, вас зовут. Счастливого пути! Да поможет вам Бог!

Глава Девятая ЛАГЕРЬ В БУЛОНИ

Как живое воплощение узурпаторства дядюшка стоял в воротах замка под фамильным гербом де Лавалей – серебристым щитом с тремя выгравированными на нём голубыми ласточками. Дядюшка словно не замечал меня, пока я садился на поданную мне высокую серую лошадь, но я видел, что из-под низко нависших бровей его глаза устремлены на меня, а желваки на скулах по обыкновению совершают своё ритмическое движение. На его увядшем лице и в жестоких глазах я читал холодную ненависть. Я, в свою очередь, торопился уехать, потому что его общество угнетало меня, и я весьма был рад возможности повернуться к нему спиной, чтобы вовсе его не видеть.

Лейтенант отдал команду, раздалось звяканье гусарских сабель и шпор, и мы тронулись в путь. Когда я оглянулся на черневшие башенки Гробуа и на мрачную фигуру моего родича, следившего за нами из ворот, в одной из бойниц, над его головой, я вдруг увидел белый платок: кто-то махал в знак последнего приветствия! Снова я похолодел при мысли, что бесстрашная девушка оставалась с этим чудовищем одна.

Но юность недолго предаётся унынию, да и как грустить, если добрый конь мчит во весь опор, ветер свистит в ушах и дух захватывает от такой скачки? Мы ехали по песчаной дороге среди холмов, вдалеке виднелось море, а между ним и дорогой находилось теперь хорошо известное мне соляное болото. Чудилось даже, что я вижу вдали чёрную точку – злополучную лачугу. Показались рыбацкие селения; к ним принадлежали и Этаплъ, и Амблетэр. А мыс, освещённый ночью сторожевыми огнями и из-за этого похожий на раскалённую шпагу, сейчас, как снегом, был покрыт белыми палатками лагеря.

Над водой далеко-далеко плыло маленькое дымчатое облачко, указывая мне на страну, где я провёл свою юность, страну, которую я полюбил, как родину.

Наглядевшись на море и холмы, я обратил внимание на гусар, которые образовывали вокруг меня скорее стражу, чем эскорт. Я с удивлением и любопытством смотрел на людей, стяжавших всемирную известность своей дисциплиной и примерной доблестью. Их облик никоим образом нельзя было считать примечательным: мундиры и экипировка были куда скромнее, чем у английской милиции в Кенте, которая проезжала по субботам через Эшфорд; их запачканные ментики, потёртые сапоги, крепкие, но некрасивые лошади – делали их похожими скорее на простых крестьян, чем на гвардейцев. Невысокого роста, весёлые, смуглолицые, с большими бородами и усами; у многих в ушах были серьги.

Меня поразило, что даже самый юный из них, совсем мальчик, совершенно оброс волосами, но, присмотревшись внимательнее, я заметил, что его бакенбарды сделаны из каучуковой смолы. Высокий молодой лейтенант заметил, с каким удивлением я рассматривал этого гусара.

– Да, да, – сказал он, – эти баки ненастоящие. Чего же ещё ожидать от семнадцатилетнего мальчишки? И в то же время мы не можем допустить, чтобы у нас на парадах были безусые и безбородые солдаты!

– Смола плавится в такую жару, лейтенант, – заявил гусар, бесцеремонно вмешиваясь в наш разговор. Свобода отношений была весьма характерна для наполеоновских войск.

– Хорошо, хорошо, Гаспар, года через два ты уже обойдёшься без неё!

– Как знать, не обойдётся ли он тогда и без своей головы! – заметил один из капралов, и все расхохотались. Такая вольность была бы сочтена в Англии за нарушение дисциплины и повлекла за собой разбирательство в военно-полевом суде.

Отсутствие субординации, по всей вероятности, являлось наследием революции; между офицерами и солдатами старой гвардии царили простота и непринуждённость, усилившиеся ещё тем, что сам император запросто разговаривал со своими старыми служаками и даровал им различные привилегии. Но, к сожалению, далеко не все рядовые правильно понимали подобные отношения, и нередко последствием фамильярности становились кровавые расправы солдат над начальством. Нелюбимых офицеров часто избивали. Достоверно известно, что в битве при Монтебелло все офицеры, за исключением лейтенанта 24-й бригады, были расстреляны в спину своими же подчинёнными. К счастью, подобный факт является уже пережитком прошлого, и с тех пор, как император установил строгие наказания за нарушение дисциплины, дух войска сильно поднялся.

История нашей армии свидетельствует, что можно обходиться без розог, употреблявшихся в войсках Англии и Пруссии, и едва ли не в первый раз доказала, что дисциплинированные массы людей могут единодушно и в идеальном порядке действовать исключительно из чувства долга и любви к родине, а не потому, что надеются на награды или страшатся наказаний. Французы, например, не боятся распустить своих солдат по домам: можно не сомневаться, что все они явятся в час войны. Но всего более поразило меня в гусарах то, что они с трудом говорили по-французски. Я сказал об этом лейтенанту, когда тот поравнялся со мною, и поинтересовался их происхождением: по-моему, они были не французы.

– Клянусь, не стоит говорить им такое, – ответил он. – Они почтут это оскорблением и возьмутся за сабли. Мы составляем первый полк французской кавалерии, первый гусарский полк из Бершени, и хотя многие из них эльзасцы, они однако такие же французы душою, как Клебэр и Келлерманн. А ведь они тоже выходцы из Эльзаса. Наши гусары и офицеры как на подбор, – прибавил он, закручивая усы, – лихие служаки!

Слова лейтенанта меня весьма позабавили; он поправил кивер и голубой ментик,

спускавшийся с плеча, поудобнее уселся в седле, тронул ножны сабли: его просто распирало от гордости за себя и за свой полк. Приглядевшись к нему повнимательнее, я понял, что он нисколько не преувеличивает: смелая осанка лейтенанта говорила о безграничной храбрости и мужестве, а судя по его прямому искреннему взгляду, он был преданным, надёжным товарищем. Лейтенант, в свою очередь, наблюдал за мною; в конце концов он дотронулся рукой до моего колена и сказал как нельзя более серьёзным тоном:

– Думаю, император останется вами доволен!

– Иначе не должно и быть! Ведь я приехал из Англии с единственной целью служить ему!

– Когда он ознакомился с рапортом о событиях нынешней ночи и узнал, что и вы были в логове заговорщиков, он приказал немедленно привести вас. Как знать, может, он хочет использовать вас в Англии в качестве проводника. Вам, наверняка, хорошо известны все дороги на острове?

Гусар, по всей видимости, представлял себе Великобританию одним из тех островков, что встречаются близ Бретани и Нормандии. Я пытался, было, объяснить ему, что Англия очень большая страна, не намного меньше Франции, но услышал в ответ:

– Ну-ну, скоро мы с ней основательно познакомимся: не сегодня-завтра мы двинемся её завоёвывать. В лагере только и разговору, что в будущую среду вечером или в крайнем случае в четверг утром мы уже будем в Лондоне. Неделю будем там веселиться, а потом армия разделится на две части, одна пойдёт в Шотландию, другая – в Ирландию.

Его простота и наивность рассмешили меня.

– Почему вы так уверены, что сможете без особых хлопот завоевать Британию?

– О, император – он может всё!

– Но ведь у англичан тоже есть армия, и вообще они отличные солдаты и прекрасно подготовлены!

– Англичане очень храбры и умеют драться, это верно, но что они против французов, раз с нами сам император?! – воскликнул он, и я понял, как велика была вера французских войск в своего вожда. В преклонении перед гением Наполеона они доходили до фанатизма; он был для них пророком, и никогда никакой Магомет не воодушевлял своих последователей сильнее, чем этот невысокий человек – кумир, которого они боготворили. Вздумай он утверждать – а он не раз был на грани этого, – что он стоит выше смертного человечества, то нашлись бы миллионы последователей, которые с пеной у рта стали бы убеждать в этом остальных. Да, вам не просто это уразуметь. Ведь вы привыкли представлять его себе в изгнании: в соломенной шляпе, замкнутого, понурого, сломленного (таким он и был в последние дни). Что может быть обманчивее таких представлений? Надо было слышать его солдат, когда они приветствовали его восторженными криками, надо было видеть полные рабского обожания взоры, провожавшие императора, чтобы осознать, какой безграничной властью он обладал над людьми.

– Вы, стало быть, жили там? – спросил лейтенант, указывая по направлению облачка, всё ещё плившего над водою.

– Да, я провёл там юность.

– Но почему же вы оставались там, когда появилась возможность служить родине?

– Мой отец был изгнан из Франции вместе с другими аристократами. Только после его смерти я смог предложить свои услуги императору.

– Вы много потеряли, но я не сомневаюсь, что Франции ещё придётся повоевать. Так вы полагаете, что англичане не боятся нашей высадки?

– Более того, они боятся, что вы не высадитесь!

– А вот мы боимся, что когда они увидят с нами самого императора, то сразу же сложат оружие и подражаться не удастся. Я слышал, женщины на острове необыкновенно хороши.

– Да, женщины там очень красивые.

Он ничего не ответил и некоторое время задумчиво покручивал свои аккуратные светлые усы.

– Да вот беда: оне ускользнут от нас на лодках, – пробормотал он, и я ясно представил себе картину маленького, незащитного «островка», рисовавшую в воображении воинственного лейтенанта. – Впрочем, доведись англичанкам нас увидеть, оне бы и не

подумали бежать, – самодовольно прибавил он. – Существует ведь поговорка: «Гусары из Бершени весь народ обращают в бегство: женщин – к себе, а мужчин от себя». У вас будет возможность убедиться, что наш полк отлично укомплектован, офицеры – воплощение самого Марса, да и высшее командование – молодцы как на подбор.

Лейтенант был, вероятно, одних лет со мною, и его самодовольство заставило меня поинтересоваться, когда и где он сражался. Он окинул меня негодующим взглядом.

– Я имел счастье участвовать в девяти сражениях и более чем в сорока мелких стычках, – сказал он не без угрозы в голосе. – Кроме того, я не раз дрался на дуэли, и смею уверить, что всегда готов доказать свои слова и принять вызов даже от человека, не имеющего чести носить военный мундир!

Я поспешил уверить лейтенанта, что ему невероятно повезло, так как, будучи столь юным, он уже немало испытал, и лейтенант сразу же остыл.

Он рассказал, что служил при Моро, участвовал в переходе Наполеона через Альпы и сражался при Маренго.

– Если вы пообщаетесь с солдатами, то, верно, не раз услышите имя Этьена Жерара, – сказал он. – Я имею право считать себя героем солдатских сказок, которые они любят слушать по вечерам. Вам расскажут о моей дуэли с шестью учителями фехтования или как я один атаковал австрийских гусар под Грацом, унёс их серебряные литавры и приторочил их к своему седлу. Уверяю вас, что вовсе не случайно меня назначили схватить мятежников прошлой ночью. Полковник Лассаль очень опасался тех республиканцев, и кто бы мог подумать, что на моё попечение отдадут какую-то жалкую личность! Храбрости у него, как у цыплёнка.

– А тот, другой, Туссак?

– Ну, этот не таков! Неплохо было бы проткнуть его шпагой. Но он бежал. Солдаты напали на его след и даже стреляли, но он слишком хорошо знает местность, вот и ушёл через болото.

– А что сделают с арестованным заговорщиком?

Лейтенант Жерар пожал плечами.

– Я очень сочувствую вашей кузине, – сказал он, – но не пристало такой чудесной девушке любить труса! Ведь есть же много красивых и доблестных офицеров. Я слышал, что император устал от бесконечных заговоров, и, дабы другим неповадно было, этого злоумышленника решено сурово покарать.

Разговаривая таким образом, мы скакали по широкой ровной дороге, пока не достигли лагеря. Когда мы остановились на холме, перед нами как на ладони предстала пёстрая картина лагерной жизни – бесконечные ряды лошадей, артиллерия, толпы солдат. В центре стояла большая палатка, окружённая низкими деревянными домиками; над ней развевался трёхцветный флаг.

– Это штаб императора, а деревянные домики – главные квартиры маршала Нея, командира корпуса. Это только одна из армий, остальные расположены к северу отсюда. Император посещает все армии, сам всё контролирует. Но здесь его лучшие войска, поэтому мы чаще видим его, в особенности, когда императрица с двором приезжает в Пон-де-Брик. Он и сейчас здесь, – прибавил гусар, понизив голос и указывая на центральную палатку.

Дорога к лагерю шла через обширную долину, где маневрировали и производили различные учения бесчисленные полки кавалерии и пехоты. Мы так много слышали в Англии о войсках Наполеона, подвиги их казались нам такими невероятными, что пылкое воображение рисовало этих людей совершенно необыкновенными. На самом же деле пехотинцы в синих сюртуках, белых рейтузах и штиблетах оказались самыми что ни на есть обыкновенными людьми, и даже их высокие шапки с красными перьями не придавали им особой внушительности. Однако за многие месяцы, проведённые в боях, эти молодцы достигли в военном деле совершенства. В их рядах насчитывалось множество ветеранов; все унтер-офицеры довольно потрудились на своём веку, да и офицеры, стоявшие во главе войск, вполне заслуживали доверия, так что англичане имели серьёзные основания опасаться за судьбу Британии. Не помести Питт английский флот, лучший во всём мире, в проливе, вероятно, история Европы была бы теперь иною!

Лейтенант Жерар, видя, с каким интересом я следил за ученьем солдат, очень охотно

удовлетворил моё любопытство, называя те полки, мимо которых мы проезжали.

– Эти молодцы на вороных лошадях с большими голубыми чепраками – кирасиры, – сказал он. – Они настолько тяжелы, что могут ехать только галопом, поэтому при атаке, кроме них, необходимо иметь отряд гусар.

– Кто теперь занимает высший пост в генеральном штабе?

– Генерал Сен-Сир, которого зовут Спартанцем с Рейна. Он убеждён, что простота жизни и одежды – главное достоинство солдата, и на этом основании не признаёт никакой формы, кроме синих сюртуков, как вот эти. Сен-Сир прекрасный офицер, но он не пользуется популярностью, главным образом потому, что его вообще редко видят; он целыми днями не выходит из своей палатки, предаваясь игре на скрипке. Кроме того, Сен-Сир невероятно требователен к солдатам. Ну, а я нахожу, что если солдат и пропустил иной раз добрый стакан вина, чтобы промочить горло, или же захочет пофрантить в неформенном мундире, украшенном побрякушками, то это не столь уж большая вина. Признаюсь, я и сам не прочь выпить и пофрантить люблю, и пусть те, кто знает меня, скажут, мешает ли это моей службе. Видите вон тех пехотинцев?

– С жёлтыми обшлагами?

– Совершенно верно! Это знаменитые гренадёры Удино, а вон те, рядом с ними, с красными наплечниками, ранцами, в меховых шапках – Императорская гвардия, остатки старой Консульской гвардии, действовавшей при Маренго. Тысяча восемьсот человек из них получили отличия в этой битве! Вон там 57-й линейный полк, который зовётся Грозным, а это Седьмой полк лёгкой инфантерии; его солдаты были в Пиренеях и известны как лучшие ходоки и разведчики в армии. Лёгкая кавалерия вон там, во всём зелёном, – это егеря из гвардии, иногда их зовут гвардейцами, любимый полк императора, хотя я считаю, что он ошибается, предпочитая их гусарам из Бершени. Те кавалеристы в зелёных кафтанах – тоже охотники, но я не знаю, какого полка. Их командир превосходен! Сейчас они полуэскадронами приближаются к флангу расположения войск развёрнутым фронтом, а затем вытягиваются в линию для атаки. Даже мы не смогли бы проделать этот манёвр лучше! А теперь, мсье де Лаваль, мы уже в лагере в Булони, и мой долг обязывает меня доставить вас прямо в штаб императора.

Глава Десятая В ПРИЁМНОЙ НАПОЛЕОНА

В Булонском лагере в это время находилось до ста тысяч пехоты и около пятидесяти тысяч кавалерии, так что по численности населения это местечко стало вторым после Парижа. Лагерь разделялся на четыре части: правый лагерь, левый лагерь, лагерь Вимре и лагерь Амблетэз; все они занимали около мили в ширину и простирались по берегу моря на семь миль. Лагерь не был укреплён с тыла, однако со стороны моря его защищали батареи, в которых, помимо других новшеств, были пушки и мортиры невиданных размеров.

Эти батареи были расположены на высоких прибрежных утёсах, что, конечно, ещё более увеличивало их значение, давая возможность обстреливать разрывными снарядами палубы английских кораблей. Через лагерь было приятно ехать: ведь эти люди жили в палатках больше года и постарались украсить их как можно лучше. Большинство палаток было окружено садиками, и мы видели, как эти brave загорелые молодцы копались у себя в цветочных грядках с кривыми садовыми ножами или лейками в руках.

Другие сидели, греясь на солнышке при входе в палатки, чистя свои кожаные кушаки или протирая дула ружей; они едва отрывались от своих занятий, чтобы бросить на нас мимолётный взгляд, потому что кавалерийские патрули были рассеяны по всем направлениям. Бесконечные ряды палаток образовали целые улицы, и название каждой красовалось на досках, прибитых кое-где на углах близ палаток. Так мы проехали через улицу Арколя, улицу Клебера, Египетскую улицу и наконец через улицу Лёгкой кавалерии и выехали на центральную площадь, где находился штаб армии.

Император жил в деревушке Пон-де-Брик, в нескольких милях от лагеря, но все дни он проводил здесь, и военные советы всегда собирались здесь же. Тут он также встречался со своими министрами и генералами, которые со всего побережья являлись к нему с рапортами или за новыми приказами. Исключительно для этих совещаний был выстроен деревянный дом, имевший одну большую и три маленькие комнаты.

В штабной палатке, которую мы видели с холмов, обыкновенно собирались ожидавшие аудиенции у императора. Перед её входом, который охранялся караулом из гренадёров, объявивших нам, что Наполеон здесь, мы слезли с лошадей. Спросив наши имена, дежурный офицер ушёл и через несколько минут возвратился в сопровождении генерала Дюрока, худощавого, сурового человека лет пятидесяти.

– Мсье Луи де Лаваль? – спросил он с натянутой улыбкой, окидывая меня подозрительным взглядом.

Я поклонился.

– Император весьма желает вас видеть! Лейтенант, не стану вас больше задерживать.

– На меня возложена личная ответственность за этого господина, генерал!

– Тем лучше! Можете войти, коль вам угодно.

И он ввёл нас в просторную палатку. Вдоль стен стояли простые деревянные скамьи. Здесь же собралась целая толпа офицеров в армейской и морской форме; они оживлённо беседовали, но так тихо, что переходили почти на шёпот.

В противоположном конце был полог, закрывавший вход в кабинет императора. Время от времени кто-нибудь из находившихся в палатке шёл к пологу, быстро скрывался за ним и через несколько минут точно выскальзывал оттуда, тщательно занавешивая за собою вход. На всём лежал отпечаток скорее парижского императорского двора, чем военного лагеря. Если даже в Англии император поражал меня своим могуществом, властью, то каково мне стало теперь, когда я знал, что он совсем рядом!

– Вам нечего опасаться, мсье де Лаваль, – сказал лейтенант Жерар. – Вы можете быть уверены в хорошем приёме.

– Почему вы так считаете?

– Я сужу по обращению с вами генерала Дюрока. При дворе – крайне тягостное место для солдата, – если император улыбается, все тоже улыбаются, вплоть до того вон болвана лакея в красной бархатной ливрее. Но если император разгневан, вы легко прочтёте отражение его гнева на всех лицах, начиная с императорских судомоек. И самое скверное то, что если вы не очень сообразительны в придворной жизни, то определённо станете в тупик: улыбаться вам или хмуриться в данный момент? Вот почему я всегда предпочту свои лейтенантские эполеты, доброго коня, саблю в руке и свой эскадрон дворцу мсье Талейрана на улице Святого Флорентина и его ста тысячам дохода.

Пока я осматривался и говорил с лейтенантом Жераром, удивляясь, как он мог по манерам Дюрока угадать, что император отнесётся ко мне благосклонно, к нам подошёл очень высокий и представительный молодой офицер в великолепной форме. Я сразу узнал в нём генерала Савари, командовавшего ночной экспедицией на болотах, хотя тогда на нём был совсем другой мундир.

– Рад вас видеть, мсье де Лаваль, – сказал он, приветливо пожимая мне руку. – Вы слышали, Туссак-то от нас убежал! Но его надобно во что бы то ни стало поймать, потому как тот второй – просто идиот-мечтатель. И мы его непременно поймает, а пока придётся ставить сильную стражу у покоев императора, потому что Туссак не такой человек, чтоб отказаться от задуманного.

Я вспомнил, как его пальцы сдавливали мне горло, и не замедлил согласиться, что, действительно, это очень опасный и неприятный человек.

– Император желает вас видеть, – сказал Савари, – всё утро он очень занят, но просил передать, что вы обязательно получите аудиенцию.

Он улыбнулся мне и прошёл дальше.

– Несомненно, всё благоприятствует вам, – прошептал Жерар, – многие желали бы, чтобы к ним обратился сам Савари! Без сомнения, у императора на вас какие-то особые виды! Однако внимание, друг мой, к нам направляется сам мсье де Талейран.

Нетвёрдыми шагами к нам приближался странного вида человек. Ему было лет под

пятьдесят; широкий в груди и плечах, он был несколько сутуловат и сильно прихрамывал. Передвигался он очень медленно, опираясь на палку с серебряным набалдашником, и его скромный чёрный костюм с чёрными шёлковыми чулками резко выделялся среди роскошных мундиров офицеров. Но, несмотря на скромность наряда, его измождённое лицо выражало такое превосходство над окружающими, что каждый считал своим долгом поклониться. Итак, сопровождаемый поклонами и приветствиями, он медленно прошёл через всю палатку и остановился передо мною.

– Мсье Луи де Лаваль? – спросил он, осматривая меня с головы до пят.

Я холодно ответил на его приветствие, потому что разделял неприязнь отца к этому расстриженному священнику и вероломному политику. Но его манеры были исполнены такой вежливой приветливости, что трудно было не ответить любезностью.

– Я хорошо знал вашего кузена де Рогана, – сказал он. – Мы были с ним два образцовых бездельника, когда мир не был ещё столь серьёзен, как ныне. Вы, полагаю, также родственник кардиналу Монморанси де Лавалю, моему старому другу? Я слышал, вы приехали, чтобы служить императору?

– Да, именно для этого я приехал из Англии!

– И сразу же попали в переделку вместе с энергичным полицейским шпионом и двумя якобинцами. Вы могли убедиться, какая опасность грозит императору, и это должно побудить вас с ещё большим рвением отдаться службе. Где же ваш дядя – господин Бернак?

– Он в замке Гробуа.

– Вы хорошо его знаете?

– До вчерашнего дня мне видеть его не доводилось.

– Он весьма полезен императору, но... но... – Талейран наклонил голову к моему уху: – От вас мы ждём более существенных услуг, мсье де Лаваль! – сказал он и с поклоном проследовал дальше.

– Да, мой друг, для вас готовится какое-то важное и ответственное дело, – заметил гусар. – Мсье де Талейран своих поклонов и улыбок даром не раздаёт. Он знает наперёд, куда дует ветер, и я предвижу, что благодаря вам и мне, может статься, удастся получить чин капитана в будущей кампании. Однако военный совет окончился!..

Из кабинета императора вышло несколько человек в тёмно-синих сюртуках с золотыми нашивками в виде дубовых листьев – отличие маршалов Франции. Все, за исключением одного, едва достигли зрелого возраста; в другой армии они почли бы за необыкновенное счастье быть командирами полков; но непрерывные войны даже самому простому солдату давали возможность отличиться и сделать блестящую карьеру. Они держали под мышкой треугольные выгнутые шляпы и шли, держа руки на эфесах шпаг и тихо между собою переговариваясь.

– Вы происходите из хорошей семьи? – спросил гусар.

– Я последний представитель знаменитого рода де Лавалей. В моих жилах течёт кровь де Роганов и Монморанси.

– Теперь мне всё ясно! Но позвольте вам заметить, что все, кого вы здесь видите, все эти люди, возвысившиеся при императоре, были прежде: один – лакеем, другой – контрабандистом, третий – бондарем, а вон тот – маляром! И Мюрат, Массена, Ней и Ланн – тоже простолюдины!

Будучи аристократом в душе, я всё же преклонялся перед этими именами и попросил показать каждого.

– О, да тут много знаменитых вояк, – сказал лейтенант Жерар. – Но есть и много молодых офицеров, надеющихся превзойти их впоследствии, – многозначительно прибавил он, нещадно теребя свои усы, – смотрите, там, направо, Ней!

Я увидел рыжего, коротко стриженного человека с резко, как у профессионального боксёра, выдававшимся подбородком.

– Он известен под именем Рыжего Петра, а иногда в армии его зовут Рыжим Львом, – сказал гусар. – Его считают самым храбрым человеком в армии, хотя я знаю многих ничуть не менее храбрых, чем он. Однако надо отдать ему должное: он прекрасный полководец.

– А кто тот генерал рядом с ним? – спросил я. – И почему он держит голову несколько набок?

– Это генерал Ланн, а голову он слегка пригибает к левому плечу, потому что был контужен при осаде Сен-Жан д'Акр. Он гасконец, как и я, и боюсь, он даёт повод обвинить моих соотечественников в болтливости и придиристости. Э, да вы улыбаетесь?

– Нет, нет, вам показалось!

– А я готов был подумать, что мои слова вас рассмешили. Я уж, было, решил, вы и впрямь поверили, будто гасконцам присущи эти недостатки. Я считаю, что среди всех французов у нас, гасконцев, безусловно, самый мягкий и покладистый нрав. И я всегда готов защищать своё мнение с саблей в руке! Ланн очень ценный человек, хотя, конечно, не в меру вспыльчивый и горячий. Рядом с ним Ожеро.

Я с любопытством посмотрел на героя Кастильоне, который принял на себя командование, когда Наполеон совершенно пал духом. Этот человек, смело можно сказать, выделился исключительно благодаря войне, он никогда не сумел бы сделать этого в мирное время, потому что, даже несмотря на мундир с золотыми украшениями, выглядел вульгарным, самодовольным солдафоном, каких тьма-тьмущая в любом лагере: длинноногий, с вытянутым козлиным лицом, с красным от пьянства носом. Он был старше остальных, но повышение пришло к нему слишком поздно, чтобы переменить его манеры: Ожеро всегда оставался прусским капралом в маршальской треуголке.

– Да, да, он весьма неказист, – сказал Жерар в ответ на моё замечание. – Ожеро один из тех, про кого император выразился, что желал бы видеть их только во главе своих солдат, а не у себя в приёмной. Он, Рапп и Лефевр с их огромными сапожищами, с гроыхающими саблями, слишком топорны, чтобы украсить своим присутствием Тюильрийский дворец. К ним надо отнести и Ван Дамма, вон того смуглого, с неприятным лицом. Не повезёт английской деревушке, куда он попадёт на зимние квартиры! Ведь это он один раз так разволновался, что вышиб челюсть вестфальскому священнику, который не приготовил ему второй бутылки токайского.

– А вот это, я думаю, Мюрат?

– Да, Мюрат, с чёрными баками, с толстыми красными губами. С его лица ещё не сошёл египетский загар. Вот это человек! Если бы вы видели его во главе лёгкой кавалерии, с развевающимися на каске перьями, с обнажённой саблей, – уверяю вас, вы бы залюбовались! Я видел, как прусские гренадёры разбегались, едва его завидя! В Египте император удалил его от себя, потому что после Мюрата, этого лихого наездника и рубаки, арабы не хотели смотреть на маленького императора. По-моему, Лассаль – лучший кавалерист из всех, но ни за одним генералом люди не идут так охотно, как за Мюратом.

– А кто этот строгий, чопорный человек, опирающийся на восточную саблю?

– Так это Суль! Самый упрямый человек на свете! Он вечно спорит с императором. Тот красавчик рядом с ним – Жюно, а около входа стоит Бернадотт.

С нескрываемым интересом я взглянул на этого авантюриста, который из простых рядовых попал в маршалы, но не удовольствовался маршальским жезлом, а пожелал завладеть королевским скипетром. И можно сказать, что он скорее наперекор Наполеону, чем с его помощью, достиг трона. Глядя на это резкое подвижное лицо с загадочными чёрными глазами, выдававшими полуиспанское происхождение, каждый читал, что судьба сулила ему совершенно особенную участь. Среди этих гордых, могущественных людей никто не был более щедро одарён императором, но и ни к кому, ни к чьим тщеславным замыслам император не питал большего недоверия, чем к Жюлю Бернадотту и его планам.

И все эти гордые люди, не боящиеся, по словам Ожеро, ни Бога, ни чёрта, трепетали перед усмешкой или гневом невысокого человека, который правил ими. Пока я наблюдал за ними, в приёмной внезапно воцарилась тишина. Все смолкли, точно школьники, застигнутые врасплох учителем. У поднятого полога своего штаба стоял сам император. Но даже без этого вдруг воцарившегося молчания, без шарканья ног вскакивавших со скамей людей я почувствовал его присутствие: воздух словно наэлектризовался. Его бледное лицо притягивало к себе, и хотя одет император был самым скромным образом и ничем особенным не выделялся, он сразу привлекал к себе внимание.

Да! Это был он, с полными, округлыми плечами, в зелёном сюртуке с красными воротником и обшлагами, в знаменитых белых рейтузах, плотно обтягивавших полные ноги; сбоку висела знаменитая шпага с позолоченным эфесом, вложенная в черепаховые ножны.

Император был без треуголки, что позволяло видеть рыжевато-каштановые волосы, а треуголку, украшенную небольшой трёхцветной розеткой (всегда воспроизводимой на портретах), он держал под мышкой; в правой руке он сжимал маленький хлыст для верховой езды с металлической головкой. Он медленно шёл вперёд, на лице его застыло грозное выражение, взор был устремлён в одну точку. Неумолимый, как рок!

– Адмирал Брюэс!

Я не знаю, заставил ли этот голос кого-нибудь, кроме меня, содрогнуться всем телом. Никогда я не слышал более резкого, угрожающего и зловещего голоса. Бросив по сторонам взгляд из-под нахмуренных бровей, император резко остановился, точно желая пронзить подчинённых взором. Глаза его вспыхнули зловещим блеском, точно обнажённая сабля.

– Я здесь, ваше величество!

Моряк средних лет, какой-то неопределённой наружности, отделился от толпы. Наполеон с таким угрожающим видом двинулся к нему навстречу, что щёки моряка побелели, и он беспомощно оглянулся по сторонам, точно ища поддержки.

– Почему вы, адмирал Брюэс, – самым оскорбительным тоном крикнул Наполеон, – прошлой ночью не исполнили моих приказаний?

– Я видел, что приближается шторм, ваше величество... Я знал, что если... – Он так волновался, что с трудом выговаривал слова: – что если идти дальше вдоль этого низкого берега...

– Кто дал вам право рассуждать? – с холодным пренебрежением крикнул Наполеон. – Вам известно, что ваши суждения не должны идти вразрез с моими?

– В деле мореплавания...

– Безразлично, в каком деле!

– Начинался ужаснейший шторм, ваше величество!

– Как! Вы и сейчас осмеливаетесь спорить со мною?!

– Но если я прав?

В комнате воцарилась полная тишина, гнетущее молчание. Все, затаив дыхание, ожидали чего-то ужасного. На Наполеона было страшно смотреть: щёки его приобрели неестественный, землистый оттенок, мускулы напряглись, как у эпилептика.

Подняв хлыст, он направился к адмиралу.

– Ты наглец! – прошипел он.

Он произнёс итальянское слово «coglione»: чем больше он забывался, тем явственней проступал в его французском иностранный акцент. Казалось, он готов ударить моряка хлыстом по лицу. Тот отступил на шаг и схватился за саблю.

– Ваше величество! – задыхаясь, прохрипел оскорблённый адмирал.

Всеобщая напряжённость достигла предела. Все замерли. Наполеон опустил руку с хлыстом и принялся похлопывать себя по сапогу.

– Вице-адмирал Магон, – сказал он, – я передаю вам командование флотом. Адмирал Брюэс, вы покинете Францию в двадцать четыре часа и отправитесь в Голландию! Где же лейтенант Жерар?

Мой спутник вытянулся в струнку.

– Я велел вам незамедлительно доставить сюда мсье Луи де Лавалья из замка Гробуа!

– Он здесь, ваше величество!

– Хорошо, ступайте!

Лейтенант отдал честь, молодцевато повернулся на каблуках и удалился. Император обернулся ко мне. Я слышал о том, что есть люди, способные взглядом пронзить собеседника. Именно таковы были глаза Наполеона: я чувствовал, что он читал мои сокровеннейшие мысли. На лице его уже не осталось и следа недавнего гнева; наоборот, оно излучало приветливость и радушие.

– Так вы приехали служить мне, мсье де Лаваль?

– Да, ваше величество!

– Но вы слишком долго собирались!

– Это зависело не от меня.

– Ваш отец эмигрант-аристократ?

– Да, ваше величество!

– И сторонник Бурбонов?
– Да!
– Теперь во Франции нет ни аристократов, ни якобинцев. Французы объединились, чтобы действовать для славы отечества. Вы видели Людовика Бурбона?
– Да, однажды мне довелось видеть его.
– И что же, его наружность не произвела на вас особого впечатления?
– Напротив, ваше величество, я нахожу, что его наружность оставляла самое благоприятное впечатление.
На мгновение искра гнева промелькнула в его изменчивых глазах, затем он слегка потянул меня за ухо, сказав:
– Мсье де Лаваль, вы не созданы быть придворным! Знайте, Людовик Бурбон не получит обратно трона, сочиняя в Лондоне прокламации, которые он на королевский манер подписывает просто «Луи». Я нашёл корону Франции, когда она валялась на земле, и поднял её концом своей шпаги!
– Вашей шпагой вы возвысили Францию, ваше величество, – сказал Талейран, стоявший всё время за его плечом.
Наполеон взглянул на своего фаворита, и в его глазах, как мне показалось, мелькнула тень подозрения. Потом он обратился к своему секретарю.
– Отдаю мсье де Лаваль в ваши руки, де Миневаль, – сказал он. – Я желаю видеть его у себя после артиллерийского смотра.

Глава Одиннадцатая

СЕКРЕТАРЬ

Император, генералы и офицеры отправились на смотр, а я остался наедине с весьма симпатичным смуглым молодым человеком, одетым в чёрное платье с белыми гофрированными манжетами. Это был личный секретарь Наполеона, господин де Миневаль.
– Прежде всего вам стоит несколько подкрепиться, мсье де Лаваль, – сказал он. – Никогда не следует упускать случая подкрепить свои силы, съев что-нибудь питательное, ведь вам предстоит дожидаться императора. Он сам может подолгу ничего не есть, и в его присутствии вы тоже оказываетесь обязаны поститься. Знаете, я совершенно истощён от постоянного голодания.
– Но как же он выносит такую жизнь? – спросил я.
Господин де Миневаль произвёл на меня самое приятное впечатление, и я отлично чувствовал себя в его обществе.
– О, это железный человек, мсье де Лаваль, мы не можем с него брать пример. Он зачастую работает по восемнадцати часов кряду. За это время ничего не съест и не выпьет, кроме одной-двух чашек кофе. Мы все ему только поражаемся. Даже солдаты уступают ему в выносливости. Клянусь, я считаю за высшую честь быть его секретарём, хотя эта должность не из лёгких. Очень часто в двенадцатом часу ночи я ещё пишу под его диктовку, хотя чувствую, что глаза слипаются от усталости. Это трудная работа. Император диктует так же быстро, как говорит, и ни за что не повторит сказанного. «Теперь, Миневаль, – скажет он вдруг, – дела закончены, пойдём спать». И когда я в душе уже поздравляю себя с вполне заслуженным отдыхом, он добавляет: «Приступим к работе в три часа утра». Трёх часов, по его мнению, вполне достаточно, чтобы успеть отдохнуть!
– Но разве у вас нет определённого времени для обеда и ужина, господин де Миневаль?
– спросил я, идя за несчастным секретарём.
– Да, конечно, для еды установлены определённые часы, но император совершенно не хочет с этим считаться. Вот сегодня, например, обеденное время уже давно прошло, а он отправился на смотр. После смотра он увлечётся ещё чем-нибудь и только вечером вспомнит, что не успел пообедать. Тогда он потребует, чтобы обед был готов сию же минуту, и бедный Констан должен будет не мешкая подать горячий обед!

– Но ведь есть в такой поздний час вредно!

Секретарь улыбнулся.

– Вот императорская кухня, – сказал он, указывая на большую палатку прямо за штабом, – у входа стоит Борель, второй повар. Сколько сегодня зарезано цыплят, Борель?

– Ах, мсье де Миневаль, просто сердце разрывается! – вскричал повар. – Вот полюбуйте-ка! – Он отдернул полог в палатку, и показал семь блюд с холодной птицей.

– Восьмая жарится и скоро будет готова, но я слышал, его величество отправился на смотр, так что надо готовить девятую.

– Вот видите, что из этого выходит, – сказал мой спутник, когда мы покинули кухню, – был случай, когда для императора приготовили двадцать три обеда, один за другим, прежде чем он вспомнил о еде. В тот день он обедал в одиннадцать часов ночи. Он мало обращает внимание на еду и питьё, но не любит ждать. Полбутылки вина и рыба под красным соусом или птица а ля маренго вполне удовлетворяют его, но Боже упаси подать крем или пирожное прежде птицы, он не станет их есть... А вот не хотите ли взглянуть?

Я вскрикнул от удивления: грум на чудном арабском коне галопом ехал по переулку. В это время гренадёр, державший в руках маленького поросёнка, бросил его под ноги лошади. Поросёнок с отчаянным хрюканьем пустился наутёк, но лошадь продолжала идти тем же аллюром, даже не переменяя ноги.

– Что происходит? – спросил я.

– Это Жарден, главный грум; на него возложена выездка императорских лошадей. Сначала он приучает их к пушечным выстрелам, потом их пугают различными предметами, и, наконец, последнее испытание – бросание поросёнка под ноги. Император не особенно крепко сидит в седле и, кроме того, сидя верхом, часто задумывается, так что давать ему невыезженных лошадей небезопасно. А вон, видите того юношу, который спит у входа в палатку?

– Да, вижу!

– Вы, конечно, и не предполагаете, что в настоящий момент он исполняет для императора свою работу?

– Ну коли так, то нельзя назвать его службу изнурительной!

– Да, мсье де Лаваль, хотел бы я, чтоб и наши обязанности были так же необременительны! Это Жозеф Лендан, обладатель ног одного с императором размера. Он разнашивает башмаки и сапоги, прежде чем их наденет император. По золотым пряжкам на его башмаках понятно, что они принадлежат Наполеону. Ба! Мсье де Коленкур, не хотите ли к нам присоединиться и пообедать у меня в палатке?

Высокий, красивый, очень элегантно одетый человек, издали раскланиваясь, подошёл к нам.

– Редко удаётся с вами повидаться, мсье де Миневаль! У меня немало работ по дому, и всё же я свободнее вас. Успеем ли мы пообедать до возвращения императора?

– Конечно, мы уже пришли, и всё давно готово. Отсюда мы увидим, когда император будет возвращаться, и успеем добежать до приёмной. Мы здесь на биваках, и потому наш стол не отличается изысканностью, но, без сомнения, мсье де Лаваль извинит нас за это.

Я с наслаждением ел котлеты и салат, слушая рассказы новых знакомых о привычках и обычаях Наполеона; меня интересовало всё, что касалось до этого человека, гений которого молниеносно прославил его на весь мир. Господин де Коленкур рассказывал о Наполеоне с удивительной непринуждённостью.

– Что говорят о нём в Англии, мсье де Лаваль? – спросил он.

– Мало хорошего!

– Я так и думал, судя по их газетным статьям. В английских газетах императора называют неистовым самодуром, и всё-таки он хочет читать их, хотя я готов побиться об заклад, что в Лондоне он прежде всего разошлёт всю свою кавалерию в редакции газет с приказанием хватать их издателей.

– А затем?

– Затем мы вывесим длинную прокламацию, чтобы убедить англичан, что если мы и победили их, то только для их же блага, совершенно против нашего собственного желания. Ну, а если им нужен правитель-протестант, то император даст им понять, что его взгляды

весьма мало расходятся со взглядами Святой Церкви.

– Ну, уж это слишком! – воскликнул де Миневаль, удивлённый и, пожалуй, испуганный смелостью суждений своего приятеля. – Конечно, император имеет серьёзные основания вмешаться в дела магометан, но я смело могу сказать, что он будет так же заботиться об англиканской церкви, как в Каире о магометанстве.

– Император слишком много думает сам, – сказал Коленкур, и грусть зазвучала в его голосе, – он так много думает, что другим уже не о чем больше размышлять. Вы угадываете мою мысль, де Миневаль, потому что сами в этом убедились не хуже меня?

– Да, да, – ответил секретарь, – он, конечно, не позволяет никому из окружающих выделиться, потому что, как он не раз говорил, ему нужны посредственности. Должен сознаться, что это весьма грустный комплимент для нас, имеющих честь служить ему!

– При дворе императора умный человек, лишь притворившись тупицей, может выказать свой ум, – сказал Коленкур.

– Однако же здесь много замечательных людей, – заметил я.

– Если это действительно так, то свои должности они могут сохранить, лишь скрывая свои способности. Его министры – приказчики, его генералы – лучшие из адъютантов. Они все – орудия в его руках. Посмотрите на свиту Бонапарта: в ней, как в зеркале, отражаются различные стороны его деятельности. В одном вы видите Наполеона-финансиста, это Лебрэн. Другой – полицейский, это Савари или Фуше. Наконец, в третьем вы узнаете Наполеона-дипломата – это Талейран! Это разные люди, но на одно лицо. Я, например, стою во главе домашнего хозяйства, но не имею права сменить ни одного из слуг. Это право сохраняет за собою император. Он играет нами, как пешками, – приходится сознаться в этом, Миневаль! По-моему, это тоже проявление его удивительного ума. Он не хочет, чтобы мы были в добрых отношениях между собою – таким образом он предотвращает возможный заговор. Он настроил всех своих маршалов друг против друга, и едва ли найдутся двое, которые не были бы на ножах. Даву ненавидит Бернадотта, Ланн презирает Бессьера, Ней – Массена. При встречах они с большим трудом удерживаются от открытых ссор. Он знает наши слабости. Знает любовь Савари к деньгам, тщеславие Камбасереса, тупость Дюрока, самодурство Бертье, пошлость Мюрата, страсть Талейрана ко всевозможным спекуляциям! Все эти господа являются орудиями в его руках. Я не знаю за собой никакой особой слабости, но уверен, что ему-то она известна, и он пользуется этим.

– Но зато сколько же ему приходится работать! – воскликнул я.

– Да, это верно, – согласился де Миневаль. – Он отдаёт работе себя всего, иногда занят по восемнадцать часов в сутки. Помню, раз он председательствовал в Законодательном Совете, так он продержал его членов на заседании до тех пор, пока они не стали падать в обморок от изнеможения. Я сам глубоко убеждён, что Бонапарт станет причиной моей смерти, как это было с де Бурьенном, но я безропотно умру на своём посту, потому что, хотя император строг к нам, он не менее строг и к самому себе!

– Он именно тот, кто был нужен Франции, – сказал Коленкур, – он гений порядка и дисциплины. Вспомните хаос, царивший в нашей бедной стране после революции, когда ни один человек не был способен управлять, но каждый стремился достичь власти! Один Наполеон сумел спасти нас. Мы мечтали, чтобы кто-нибудь пришёл к нам на помощь, и этот железный человек явился в самое тяжёлое время. Если бы вы видели его тогда, мсье де Лаваль! Теперь он человек, достигший всего, к чему стремился, спокойный и доброжелательный; но в те дни он не имел ничего и только начинал осуществлять свои замыслы. Его взгляд пугал женщин, он ходил по улицам, как разъярённый волк. Когда он проходил мимо, все помимо воли долго смотрели ему вслед. И лицо его в ту пору было совсем иное: бледные, впалые щёки, резко очерченный подбородок, в глазах всегда угроза. Да, маленький лейтенант Бонапарт, воспитанник военной школы в Бриенне, производил странное впечатление. «Вот человек, – сказал я себе тогда, – который или станет властителем Франции, или погибнет на эшафоте». И теперь вы видите, что получилось.

– И всего-то прошло десять лет! – воскликнул я.

– Да, за десять лет Бонапарт из солдатских казарм перешёл в Тюильрийский дворец. Видно, так ему на роду написано. И на меньшее он неспособен. Бурьенн говорил мне, что, когда Бонапарт был ещё совсем маленьким мальчиком в Бриенне, в нём уже сказывался

будущий император: в его манере одобрить или не одобрить, в его улыбке, в блеске глаз в минуту гнева – всё предсказывало Наполеона наших дней. Видели вы его мать, мсье де Лаваль? Она похожа на королеву из трагедии. Высокая, строгая, величественная и молчаливая. Яблоко от яблони недалеко падает.

Де Миневаля определённо раздражала откровенность друга: во вкрадчивом взгляде придворного льстеца появилась тревога.

– Как видите, мсье де Лаваль, над нами не тяготеет власть ужасного тирана, – сказал он, – раз мы так смело и откровенно болтаем о нашем императоре. Всё то, что мы говорили здесь, Наполеон выслушал бы не только с удовольствием, но и с одобрением. Разумеется, как и у всех людей, у него есть свои слабости, но оне не имеют никакого значения. Наполеон гениален как правитель, выбор нации был справедлив. Он работает больше, чем каждый из его подданных. Он любимейший полководец у солдат; он хозяин, которого обожают слуги. Для него не существует праздников, он готов работать всегда. Под крышей Тюильри нет более умеренного в пище и питье. Бонапарт воспитывал своих братьев, когда сам был чуть не нищим; впоследствии он проявил щедрость даже к своим дальним родственникам. Словом, он экономен, очень трудолюбив, воздержан. Я читал в лондонских газетах о принце Уэльском, и он не выдерживает никакого сравнения с Наполеоном!

Я вспомнил все брайтонские, лондонские, ньюмаркетские скандальные истории, в которых был замешан принц Георг, и решил не вступаться за него.

– Мне думается, газеты имеют в виду не личную жизнь императора, но его честолюбивые притязания, – ответил я.

– Какие тут притязания, когда император, как и все мы, понимает, что на земном шаре может существовать либо Франция, либо Англия! Одна из двух должна взять верх. Если Англия сдастся, мы сможем основать всемирную империю. Италия – наша. Австрия снова станет наша, как и раньше. Германия разделится на части. Россия может распространяться только на юго-востоке. Америку мы покорим позже, как-нибудь на досуге, имея вполне справедливые притязания на Луизиану и Канаду. Мы будем править всем миром, и есть только одно препятствие, чтобы выполнить нашу миссию.

Через открытый полог палатки он указал на широкие воды Ла-Манша. Там вдали, словно белые чайки, мелькали паруса сторожевых английских судов. Я снова вспомнил, как несколько часов тому назад видел огни судов на море и огни лагеря на берегу. Столкнулись две нации: одна – владычица моря, другая – не знавшая равных на суше; столкнулись лицом к лицу, и весь мир, затаив дыхание, следил за борьбой двух титанов.

Глава Двенадцатая

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Расположение палатки де Миневаля позволяло видеть штаб императора со всех сторон. Не знаю, то ли мы слишком увлеклись беседой, или же император вернулся другим путём, но мы не заметили, как он проехал, и спохватились лишь тогда, когда перед нами выросла фигура капитана в зелёном мундире гвардейских разведчиков. Еле переводя дух, он сообщил нам, что Наполеон ожидает своего секретаря. Бедный Миневаля стал бледен, как полотно, и в первую минуту от душившего его волнения не мог вымолвить ни слова.

– Я обязан был находиться там! – почти простонал он. – Господи, какое несчастье! Я прошу извинения, мсье де Коленкур, что должен вас покинуть!.. Где же мои шпага и фуражка?.. Идёмте же, идёмте, мсье де Лаваль, нельзя терять ни минуты!

Я видел, как получил отставку адмирал Брюэс, и неудивительно, что де Миневаля пришёл в ужас от своей оплошности. Да, император заставлял трепетать своих подчинённых. Никогда они не могли быть спокойны, любую минуту можно было ожидать катастрофы. Обласканные сегодня, завтра они могли быть прилюдно опозорены; ими пренебрегали, их третировали, как простых солдат, и всё же они любили своего Бонапарта и служили ему так, что другому императору и не снилось.

– Думаю, мне лучше остаться здесь, – сказал я, когда мы дошли до приёмной.

– Нет, нет, ведь я за вас отвечаю! Вы должны идти вместе со мною! О! Хочется надеяться, что я не слишком провинился. Но как же я его проглядел?

Мой испуганный провожатый постучал в дверь; Рустам, мамелюк, стоявший на страже, тотчас открыл.

Комната, куда мы вошли, была довольно большая и скромная: серые обои на стенах, в центре потолка изображение золотого орла, держащего в когтях молнию, – эмблема императорской власти. Несмотря на тёплую погоду, топился камин, и тяжёлый, спёртый воздух был насыщен сильным ароматом алоэ. Посреди комнаты стоял большой овальный стол, покрытый зелёным сукном и заваленный письмами и бумагами. Сбоку помещался письменный стол, за которым в зелёном кресле с изогнутыми ручками сидел император. Несколько офицеров стояло у стен, но он словно не замечал их. Маленьким перочинным ножом Наполеон водил по деревянным украшениям своего кресла. Он мельком взглянул на нас, и холодно обратился к де Миневалью:

– Я ждал вас, мсье де Миневаль. Не помню случая, чтобы Бурьенн, мой последний секретарь, заставлял себя ждать. Не надо извинений, и довольно об этом! Потрудитесь взять мой приказ – я написал его без вас – и снять с него копию.

Бедный де Миневаль дрожащей рукой взял бумагу и отправился к своему столику. Наполеон встал. Задумчиво опустив голову, он тихо ходил по комнате взад-вперёд. Я видел, что он не может обойтись без секретаря, потому что, пока писал сей знаменательный документ, залил весь стол чернилами; на его белых рейтузах остался ясный след того, что он обтирал о них перья. Я попрежнему стоял возле входа, и он не обращал на меня ни малейшего внимания.

– Ну что же, вы готовы, де Миневаль? – спросил он вдруг. – У нас ещё масса дел!

Секретарь в смятении обернулся.

– С вашего позволения, ваше величество... – заикаясь пробормотал он.

– В чём дело?

– Простите, но я с трудом понимаю написанное вами, ваше величество.

– Однако вы поняли, о чём приказ?

– Да, ваше величество, конечно: здесь идёт речь о корме для лошадей кавалерии.

Наполеон улыбнулся, и лицо его стало совершенно детским.

– Вы напоминаете мне Камбасереса, де Миневаль! Когда он получил мой отчёт о битве при Маренго, то усомнился, могло ли дело происходить так, как я описал. Удивительно, с каким трудом вы разбираете мой почерк! Этот документ не имеет никакого отношения к лошадям. В нём содержатся инструкции адмиралу Вильнёву, чтобы он, приняв на себя командование в Ла-Манше, сосредоточил там свой флот. Дайте я прочту вслух!

Быстрым, характерным порывистым движением император вырвал из рук секретаря бумагу, но, пробежав её строгим взглядом, скомкал и зашвырнул под стол.

– Я продиктую всё заново, – сказал он, продолжая ходить по комнате. Из его уст изливался целый поток слов, и бедный де Миневаль с покрасневшим от напряжения лицом едва успевал заносить их на бумагу. Воодушевившись, Наполеон ускорил шаги; голос его повышался; пальцы левой руки впились в красный обшлаг рукава, кисть правой судорожно подёргивалась, что было ему свойственно. Его мысли и планы поражали ясностью и величием: даже такой непосвящённый, как я, без труда следил за ними. Я удивлялся его способности схватывать и запоминать факты: Наполеон с поразительной точностью мог говорить не только о числе линейных кораблей, но и о фрегатах, шлюпах и бригах в Ферроле, Рошфоре, Кадисе, Карфагене и Бресте; он наизусть называл численность экипажа каждого из них и количество орудий, имевшихся на борту. Более того, он помнил название и вооружение каждого английского корабля. Такие познания даже для моряка были необычайными, но, принимая во внимание, что вопрос о судах являлся одним из сотен других вопросов, с которыми ему постоянно приходилось иметь дело, я начал представлять широту его проницательного ума. Он совершенно не обращал на меня внимания, но тут вдруг выяснилось, что он, оказывается, непрерывно наблюдал за мною. Окончив диктовать, он обратился ко мне со словами:

– Похоже, вы удивлены, мсье де Лаваль, что я занимаюсь делами моего флота без

морского министра, но имейте в виду, что одно из моих правил – вникать во всё самому. Будь у Бурбонов столь похвальная привычка, им не пришлось бы влачить жалкое существование в мрачной и туманной Англии.

– Да, но для этого нужно ещё обладать вашей памятью, ваше величество, – заметил я.

– Она входит в мою систему, – ответил он. – У меня в памяти все сведения распределены, если так можно выразиться, по отдельным ящикам, которые, исходя из необходимости, я и открываю. Редко когда я не могу вспомнить того, что мне нужно. У меня очень плохая память на числа и имена, зато я прекрасно запоминаю факты и лица. Да, многое приходится держать в голове, мсье де Лаваль! Например, вы видели, что у меня в памяти есть маленький ящик, заполненный морскими судами. Я должен также знать все крепости и гавани Франции. Вот однажды военный министр давал мне отчёт о береговых укреплениях, а я смог указать ему, что он не упомянул о двух пушках в береговых батареях Остенде. В другом ящике моей памяти находятся сведения о войсках Франции. Вы согласны с этим, маршал Бертье?

Гладко выбритый человек, который стоял у окна, покусывая ногти, поклонился в ответ.

– Нет сомнения, ваше величество, что вы знаете имя каждого солдата в строю!

– Думаю, что знаю большую часть моих прежних египетских солдат, – сказал он. – Кроме того, мсье де Лаваль, я должен помнить о каналах, мостах, дорогах, о промышленности, одним словом, обо всех отраслях хозяйства страны. Законы и финансы Италии, колонии Голландии – это тоже занимает много места в моей памяти. В наши дни, мсье де Лаваль, Франция предъявляет большие требования к своему правителю. Теперь уже мало одного умения с достоинством носить царскую порфиру или гоняться за оленями по лесам Фонтенбло!

Я вспомнил беспомощного, красивого, обожавшего роскошь и блеск короля Людовика, которого видел в детстве, и понял, что Франции после пережитых волнений и страданий действительно была нужна твёрдая и сильная рука.

– А вы что об этом думаете, мсье де Лаваль? – спросил император. Он остановился около камина, чтобы согреть ногу. Я обратил внимание на то, что его ботинки с золотыми пряжками были очень изящными.

– Убеждён, что именно так и должно быть, ваше величество!

– Вы пришли к правильному выводу, – сказал он. – Но вы, кажется, и прежде держались того же взгляда. Верно ли мне передали, что в одном кабачке Эшфорда вы не на шутку схватились с молодым англичанином, который предложил вам тост за моё падение?

Я вспомнил тот случай, но не мог взять в толк, откуда Наполеону стало о нём известно.

– Почему ж вы защищали меня?

– Я сделал это по наитию, ваше величество!

– Не могу понять, как это люди могут делать что-нибудь по наитию! По-моему, это допустимо только для сумасшедших, но не для здравомыслящих людей. Из-за чего рисковали вы жизнью, ведь тогда вы не могли рассчитывать на мою благодарность?

– Вы стояли во главе Франции, ваше величество, а Франция – моя родина! – горячо возразил я.

Во время нашего разговора он продолжал ходить по комнате, сгибая и разгибая правую руку и поглядывая на нас через монокль, так как зрение его было настолько слабо, что в комнате он был принуждён пользоваться моноклем, а под открытым небом – подзорной трубой. Иногда он доставал щепотку нюхательного табаку из черепаховой табакерки, но я видел, что ничего не попадало по назначению – весь табак он просыпал себе на сюртук и на пол.

Мой ответ, видимо, понравился ему, потому что он вдруг схватил меня за ухо и стал пребольно тянуть.

– Вы правы, мой друг, – сказал он, – я стою за Францию, как Фридрих II стоял за Пруссию. И я сделаю Францию могущественнейшей державой в мире! Все государи Европы сочтут необходимым иметь дворцы в Париже, и они составят свиту при коронации моих преемников!..

Внезапно лицо его исказило мучительное страдание.

– Господи! Для кого я всё это создаю? Кто будет царствовать после меня? – прошептал

он, проводя рукою по лбу. – Боятся ли в Англии моего вторжения? – неожиданно спросил он. – Доводилось вам слышать от англичан опасения, что я могу переплыть Ла-Манш?

Я был принуждён сознаться, что англичане опасаются как раз обратного: что он откажется от замысла переплыть Ла-Манш.

– Их солдаты завидуют морякам, которые первые будут иметь честь бороться с вами, – добавил я.

– Но ведь у них очень маленькая армия!

– Да, но надо принять во внимание, что почти вся Англия пошла в волонтёры.

– Ба, новобранцы не опасны! – воскликнул он, точно отбрасывая их руками. – Я высажусь со стотысячной армией в Кенте или в Суссексе. Я проведу там большое сражение и выиграю его с потерей десяти тысяч человек. На третий день я буду в Лондоне. Там я немедленно захвачу государственных чиновников, банкиров, купцов, издателей газет. Я потребую выплаты контрибуции в размере ста миллионов фунтов стерлингов! Я стану покровительствовать бедным за счёт богатых и таким образом переманю их на свою сторону. Я предоставлю автономию Шотландии и Ирландии; это даст им преимущество перед Англией. Таким образом повсюду возникнут раздоры. И потом я потребую отдать их флот и укрепить за Францией английские колонии в вознаграждение за то, что я покину их остров! Я достигну всемирного владычества для Франции и закреплю его навеки!

Эта речь служила лишним доказательством его поистине удивительной особенности, о которой мне доводилось слышать и раньше: Наполеон совмещал широту замыслов с разработкой мельчайших деталей, поэтому его планы никогда не выходили за пределы возможного. Мысль о походе на Восток, подобная лёгкому неясному сну, сменялась в его мозгу размышлениями о судах, портах, резервах, войсках, которые необходимы для осуществления мечты. Он сразу улавливал суть вопроса и разрабатывал его с тою решимостью, с какою он шёл на столицу врагов. Обладая душою поэта-идеалиста, Наполеон в то же время был человеком дела – сочетание, которое способно сделать индивида крайне опасным для всего миропорядка.

Я более чем уверен, что, говоря о своих ближайших намерениях, Наполеон преследовал тайную цель (он никогда и ничего не делал просто так), и в данном случае он, видимо, рассчитывал на эффект, который могло бы произвести на остальных эмигрантов моё мнение.

Не существовало, казалось, ничего, что было бы не по силам его уму, и всякое незначительное дело он умел возвысить так, что оно становилось достойным его величия. В один миг он переходил от размышления о зимних квартирах для 200 тысяч солдат к спорам с де Коленкуром об уменьшении домашних расходов и о возможности убавить число экипажей.

– Я стремлюсь содержать дом как можно экономнее, и поэтому могу показаться в роскоши и величии за границей, – сказал он. – Помню, когда был лейтенантом, я умудрялся существовать на 1200 франков в год, и для меня не составит большого труда вести подобный образ жизни и сейчас. Необходимо остановить дворцовую расточительность! Например, из отчёта Коленкура я вижу, что в один день было выпито 155 чашек кофе, что при цене сахара в 4 франка и кофе в 5 франков за фунт даёт 20 су за чашку. Следует сократить это количество! При настоящей цене сена семисот франков в неделю должно вполне хватить 200 лошадям. Я не желаю терпеть чрезмерных расходов на Тюильри!

В течение нескольких минут он переходил от вопроса о миллиардах к вопросу о копейках и от вопросов государственного устройства – к лошадиному стойлу. Время от времени он вопрошающе поглядывал на меня, точно спрашивая моего мнения, а я не переставал поражаться, зачем ему сдалось моё одобрение. Но, вспомнив, скольких представителей старого дворянства мог соблазнить мой пример, я понял, что он глубже проникал в суть вещей и событий.

– Итак, мсье де Лаваль, – внезапно сказал он, – вы до некоторой степени познакомились с моей системой. Готовы ли вы поступить ко мне на службу?

– Всей душой, ваше величество! – ответил я.

– Учтите: я умею быть очень строгим хозяином, когда захочу, – с улыбкой сказал он. – Вы присутствовали при моём разговоре с Брюэсом. Я не мог поступить иначе, потому что для нас важнее всего исполнение долга, а дисциплина требуется не только от низших, но и от высших чинов. Но гнев никогда не может заставить меня потерять самообладание, потому что

он не поднимается выше этого порога, – при этом он указал рукою на шею. – Я никогда не дохожу до иступлений. Доктор Корвизар подтвердит вам, что у меня весьма медленное кровообращение.

– Зато вы слишком быстро едите, ваше величество, – сказал широколицый добродушный человек, шептавшийся до той минуты с Бертье.

– Ах вы, негодник этакий, ещё клеветает на меня! Доктор никак не может простить, как я однажды сказал, что предпочитаю умереть от болезни, чем от лекарств! Если я слишком мало трачу времени на еду, то это уже не моя вина, а государства, которое уделяет мне на еду всего несколько минут. Ах да! Я вспомнил, что, верно, сильно запоздал с обедом. Констан!

– Уже четыре часа прошло сверх положенного для обеда часа, ваше величество.

– Давай сейчас!

– Слушаю, ваше величество! Осмелюсь доложить, в дверях ожидает мсье Изабей со своими куклами!

– Ну, тогда погоди, я сначала взгляну на них. Позвать его сюда!

Вошёл человек, повидимому, прибывший издалека. На его руках висела большая сплетённая из ивняка корзина.

– Я посылал за вами два дня назад, мсье Изабей!

– Курьер был у меня вчера, ваше величество. А я только что из Парижа.

– Модели с вами?

– Да, ваше величество.

– Разложите их на столе.

Я ничего не понимал. Изабей раскрыл корзинку, наполненную маленькими куклами, не больше фута величиной, разодетыми в самые яркие шёлковые и бархатные костюмы с отделкой из горноста и золотых шнуров. И пока он раскладывал их на столе, я догадался, что император с его скрупулёзностью и привычкой лично вникать во всё пожелал видеть и эти костюмы придворных, заказанные для его двора на случай церемоний, парадов и прочих торжественных случаев.

– Что это такое? – спросил он, беря маленькую куклу в красном с золотом охотничьем костюме и белым плюмажем.

– Это охотничий костюм императрицы, ваше величество!

– Талия слишком низка, – сказал Наполеон, имевший строго определённые взгляды на дамские платья. – Эта проклятая мода, кажется, единственная вещь, которая не поддаётся моим командам. А это кто?

Он указал на фигурку в зелёном сюртуке, отличавшуюся особенно торжественным видом.

– Это распорядитель императорской охоты, ваше величество!

– Значит, это вы, Бертье! Как вам нравится ваш новый костюм? А кто вот этот в красном?

– Это главный канцлер!

– А в лиловом?

– Камергер двора!

Император занялся костюмами, точно дитя новой игрушкой. Он создавал из кукол группы, чтобы иметь понятие о том, как оне будут выглядеть все вместе. Затем он сложил их обратно в корзинку.

– Очень хорошо, Изабей, – сказал он, – вы и Давид потрудились на славу. Можете передать эти модели придворным поставщикам и получить там вознаграждение за издержки. Но скажите Ленорман, что если она осмелится подать такой же счёт, какой недавно прислала императрице, то ей придётся познакомиться с внутренним расположением Венсеннской тюрьмы. Думаю, что выбросить 25 тысяч франков на одно платье, хотя бы оно было для самой мадемуазель Эжени де Шуазель, покажется вам непростительной глупостью, не так ли, Лаваль?

Он знал имя моей невесты! Неужели ничто не могло укрыться от этого непостижимого человека? Какое ему было дело до моей любви, – ему, погружённому в решение судеб всего мира? И когда я смотрел на него с удивлением и страхом, та же детская улыбка озарила его бледное лицо. На мгновение пухлая маленькая рука императора легла на моё плечо; его

голубые глаза светились удовольствием. В зависимости от настроения глаза Наполеона принимали разные оттенки: темнели в минуты задумчивости, приобретали стальной цвет в минуты гнева и раздражения.

– Вы удивились, что мне известно о стычке в Эшфордском кабачке? Теперь вы поражены, услышав известное имя из моих уст! Плохого же вы мнения о моих агентах в Англии, раз считаете, что они не в состоянии доставить мне такие важные сведения!

– Не понимаю, почему о подобных мелочах донесли, вернее, почему вы их не забыли тотчас же, ваше величество?

– Вы очень скромны, мсье де Лаваль, и мне не хотелось бы, чтобы вы утратили это редкое качество, познакомившись с придворной жизнью. Итак, вы полагаете, что ваши личные дела не существенны для меня?

– Не знаю, почему они могут быть важны, ваше величество.

– Кто ваш дядя Лаваль де Монморанси?

– Он кардинал.

– Совершенно верно! А где он?

– В Германии.

– Ну да, в Германии, а не в парижском Нотр-Даме, куда бы я его поместил! Кто ваш кузен?

– Герцог де Роган!

– Где он?

– В Лондоне.

– Да, в Лондоне, а не в Тюильри, где он мог бы достичь всего, чего бы пожелал. Сомневаюсь, чтобы после моего свержения у меня нашлись столь же верные подданные, как у Бурбонов. Вряд ли люди, которых я обрёл на изгнание, будут отказываться от лестных предложений моих врагов, ожидая моего возвращения! Пожалуйте сюда, Бертье, – и ласковым, столь характерным для него жестом Наполеон взял своего любимца за ухо. – Могу я рассчитывать на вас, негодник вы эдакой?

– Я не понимаю вас, ваше величество!

Мы разговаривали так тихо, что присутствующие ничего не слышали, но теперь все ждали ответа Бертье.

– Если я буду низложен и изгнан, последуете ли вы за мною в изгнание?

– Нет, ваше величество!

– Чёрт возьми! Однако вы откровенны!

– Я буду не в состоянии отправиться в изгнание, ваше величество!

– А почему?

– Потому что меня тогда уже не будет в живых!

Наполеон расхохотался.

– И ещё есть люди, утверждающие, что наш Бертье не отличается особой сообразительностью, – сказал он. – Я люблю вас по своим собственным соображениям, Бертье, и вполне в вас уверен. Чего нельзя сказать о вас, мсье Талейран! Вы легко перейдёте на сторону нового победителя, как вы некогда изменили вашему старому. По-моему, у вас гениальный дар пристраиваться!

Император очень любил подобные сцены, ставившие подчинённых в затруднительное положение, и никто не был гарантирован от коварного, способного легко его скомпрометировать вопроса. Но сейчас, оставив в стороне свои опасения, все с нетерпением ждали, как возразит знаменитый дипломат на столь справедливое обвинение.

Талейран продолжал стоять, опираясь на палку; его сутуловатые плечи слегка наклонились вперёд, и улыбка застыла на лице, как будто он только что услышал самую приятную новость. Единственное, чем он заслуживал уважения, – своим умением держаться с достоинством и никогда не опускаться перед Наполеоном до раболепия и лести.

– Вы думаете, что я покину вас, ваше величество, если ваши враги предложат мне больше?

– Совершенно уверен!

– Гм... Я, конечно, не могу ручаться за себя до тех пор, пока не будет сделано предложение. Но оно должно быть очень выгодным. Ведь, кроме довольно симпатичного

отеля на улице Сен-Флорантэн и двухсот тысяч моего жалованья, я ещё занимаю почётный пост первого министра в Европе. Правду сказать, ваше величество, если только не собираются посадить меня на трон, я решительно ничем не могу улучшить своего положения!

– Вижу, что всё-таки могу на вас положиться, – сказал Наполеон, но взгляд его вдруг стал задумчивым. – Да, кстати, Талейран, вы должны или жениться на мадам Гранд, или оставить её в покое, потому что я не могу допустить при дворе скандала!

Я был потрясён, что столь щекотливые, личные дела обсуждаются открыто, при свидетелях, но и это было характерной чертой Наполеона; он считал, что шепетильность и хорошие манеры – это те путы, которыми посредственность стремится опутать гения. Не было ни одного вопроса частной жизни – вплоть до выбора жены или разрыва с прежней любовницей, – в который бы не вмешался этот тридцатишестилетний победитель, чтобы вынести свой вердикт.

Талейран снова улыбнулся своей добродушной и несколько загадочной улыбкой.

– Я питаю инстинктивное отвращение к браку, ваше величество! Вероятно, в этом сказывается наследственность, – сказал он.

Наполеон рассмеялся.

– Ах, да, я забываю, что в данную минуту говорю с епископом Отунским, – сказал он. – Но я уверен, что Папа римский – поскольку я заинтересован в этом деле – в виде благодарности за кое-какие знаки внимания, которые мы ему оказали при коронации, сочтёт нужным дать соответствующие указания своему епископу. Она умная женщина, эта мадам Гранд! Я заметил, что она серьёзно всем интересуется.

Талейран пожал плечами.

– Не всегда присутствие ума в женщине даёт ей большие преимущества, ваше величество! Умная женщина легко может скомпрометировать своего мужа, а глупая в состоянии оскандалить только самоё себя.

– Самая умная женщина это та, которая умеет скрывать свой ум! Во Франции женщины всегда опаснее мужчин, потому что оне всегда умнее. Но оне не могут себе представить, что мы ищем в них сердца, а не ума. А когда женщины оказывают большое влияние на монархов, то это всегда приводит к их падению. Например, Генрих IV или Людовик XIV, идеалисты, сентиментальные мечтатели, полные чувства и энергии, но совершенно нелогичные и лишённые дара предвидения. А эта несносная мадам де Сталь! Вспомните-ка её салон в квартале Сен-Жермен. Нескончаемый треск, болтовня и шум её собраний устрашают меня больше, чем флот Англии. Почему не могут смотреть оне за своими детьми или заниматься рукоделием? Не правда ли, какие отсталые мысли я высказываю, мсье де Лаваль?

Трудно было ответить на этот вопрос, и я решил промолчать.

– Ваш жизненный опыт ещё не слишком велик, – заявил император. – Я говорю о том времени, когда тупоумные парижане возмущались неравным браком вдовы знаменитого генерала Богарне с никому не известным Бонапартом. Да, это был чудный сон! Город Милан находится от Мантуи на расстоянии одного дня пути. Между ними расположены девять таверн, и по дороге я в каждой из них писал по письму моей жене. Девять писем в один день, и лишь одно-единственное из них не было сладкой фантазией, а представляло вещи в их истинном свете.

Я подумал, как хорош был этот человек, прежде чем он научился видеть «вещи в их истинном свете». Да, грустная штука жизнь, лишённая очарования и любви. Его лицо омрачилось при воспоминании о днях, полных прелести и очарования, которых не могла вернуть и императорская корона. Можно почти с уверенностью сказать, что те девять писем, написанные им в один день, принесли ему более радости, чем все ухищрения, с помощью которых он отвоевал у своих соседей одну провинцию за другой. Но он быстро овладел собою и сразу перешёл к моим личным делам.

– Эжени де Шуазель – племянница герцога де Шуазеля? – спросил он.

– Да, ваше величество!

– Вы с нею помолвлены?

– Да, ваше величество!

Он нетерпеливо тряхнул головой.

– Если вы желаете находиться при моём дворе, мсье де Лаваль, – сказал он, – вы

должны и в отношении брака положиться на меня. Я слежу за браками эмигрантов, как и за всем остальным!

– Но Эжени полностью разделяет мои взгляды!

– Та-та-та! В её годы ещё не имеют определённых мнений. В её жилах течёт кровь эмигрантов, и она даст себя знать. Нет, уж позвольте мне позаботиться о вашем браке, мсье де Лаваль! Я желаю видеть вас в Пон-де-Брик, чтобы представить вас императрице. Что там такое, Констан?

– Какая-то дама желает видеть ваше величество! Попросить её явиться позже?

– Дама! – воскликнул Наполеон и улыбнулся. – Мы нечасто видим здесь женские лица. Кто она, и что ей угодно?

– Её имя Сибилла Бернак, ваше величество!

– Как? – изумился император. – Она, вероятно, дочь старика Бернака из Гробуа. Кстати, мсье де Лаваль, он приходится вам дядей со стороны матери?

Я вспыхнул от стыда и увидел, что император понял мои чувства.

– Да, да! У него не самое симпатичное ремесло, но уверяю вас, что он полезнейший человек. Кстати, он завладел теми именьями, наследником которых являетесь вы?

– Да, ваше величество!

Император подозрительно взглянул на меня.

– Надеюсь, вы поступили ко мне на службу не потому, что рассчитываете возвратить свои именья?

– Нет, ваше величество! Я хочу проложить себе дорогу без посторонней помощи!

– Гордые замыслы, – сказал император, – избрать себе свой путь, не желая следовать по стопам предков. Я не могу восстановить ваших прав, мсье де Лаваль, потому что в настоящее время дела во Франции приняли новый оборот, и если бы я занялся восстановлением нарушенных прав владений, то этому не было бы конца, а также пошатнулось бы доверие народа. У меня, кстати, нет более преданных сторонников, чем те, кто завладел чужой землёй. И если они служат мне, как, например, ваш дядя, земли должны остаться за ними. Но чего может хотеть от меня эта девушка? Попроси её войти, Констан!

Через минуту Сибилла вошла в комнату. Она была бледна и грустна, но её глаза светились сознанием собственного достоинства, она держалась, как принцесса.

– Что вам угодно, мадемуазель? Зачем пришли? – спросил император тем особенным тоном, которым обыкновенно разговаривал с женщинами, имевшими честь ему понравиться.

Сибилла огляделась, и, когда на мгновение наши глаза встретились, я почувствовал, что моё присутствие придало ей мужества. Она смело взглянула на императора.

– Я пришла просить милости, ваше величество!

– Дочь такого отца всегда может на меня рассчитывать, мадемуазель! Что вам угодно?

– Я пришла просить не от имени отца, а от своего. Умоляю вас пощадить Люсьена Лесажа, обвинённого в заговоре против императорской власти и арестованного третьего дня. Ваше величество! Он поэт, учёный, мечтатель, склонный жить вдали от света, но не заговорщик; он просто был орудием в руках дурных людей.

– Хорош мечтатель! – с гневом воскликнул Наполеон. – Да эти мечтатели самые опасные люди! – Он взял со стола несколько исписанных листов бумаги. – Кажется, он имеет счастье быть вашим возлюбленным? Я не ошибаюсь?

Сибилла вспыхнула и опустила глаза под острым, насмешливым взглядом императора.

– Здесь у меня все показания и протоколы допроса. Кстати, его поведение там не делает ему чести. Могу сказать только одно: из всего слышанного о нём заключаю, что он недостоин вашей любви!

– Умоляю, пощадите его!

– Это невозможно, мадемуазель! Против меня составлялись заговоры с двух сторон – приверженцами Бурбонов и якобинцами. Я слишком долго терпел их, и моё терпение только придало наглости этим господам. После смерти Кадудалья и герцога Ангиенского приверженцы Бурбонов затихли. Такой же урок следует преподать и якобинцам!

Я до сих пор не перестаю удивляться страсти моей кузины к этому низкому трусу, хотя давно установлено, что для любви не существует законов. Услышав решительный ответ императора, Сибилла не смогла долее владеть собою; её лицо стало бледнее прежнего, и она

залилась горькими слезами, которые катились по её исхудалым щекам, словно капли росы по лепесткам лилии.

– Ради Бога, ради любви вашей матери, не губите его! – вскричала она, падая на колени к ногам императора. – Ручаюсь, что он откажется от политики и не станет вредить империи!

– Ну и ну! – с гневом вскричал Наполеон. Император резко отошёл от неё и, повернувшись на каблуках, зашагал взад и вперёд по комнате. – Я не могу этого сделать! Я никогда не изменяю своих решений. В государственных делах ничего нельзя решать в зависимости от чьего-либо и, особенно, женского желания. Якобинцы, кроме того, крайне опасны, и им необходим пример достойного наказания, в противном случае завтра же против меня состоится новый заговор!

По непреклонному выражению лица, по тону его голоса стало ясно, что дальнейшие мольбы бесполезны, тем не менее моя кузина с упорством женщины, защищающей своего возлюбленного, продолжала:

– Но он совершенно безвреден и нисколько не опасен, ваше величество!

– Его смерть послужит уроком другим!

– Пощадите Лесажа, я отвечаю за него!

– Это невозможно!

Констан и я подняли её с полу.

– Вы правы, мсье де Лаваль, – сказал император. – Бесполезно продолжать разговор, который ни к чему не приведёт. Проводите вашу кузину!

Но Сибилла снова обратилась к нему: я видел, она всё ещё надеется.

– Ваше величество! – почти крикнула она. – Вы сказали, что необходим пример. Но вы забыли о Туссаке!

– О, если бы я добрался до Туссака!..

– Да, вот опасный человек! Вместе с моим отцом они довели Люсьена до гибели. Если нужен урок, то уж лучше использовать виновного!

– Они оба виновны! И самое главное: только один из них находится в наших руках.

– Но если я найду другого?

Наполеон на минуту задумался.

– Если вы найдёте его, – сказал он, – Лесаж будет прощён!

– Для этого мне нужно время!

– Сколько же дней отсрочки вы просите?

– По крайней мере, неделю.

– Хорошо, я согласен дать вам неделю срока. Если Туссак будет найден за это время, Лесажа помилуют! Если же нет, на восьмой день он умрёт на эшафоте. Однако довольно. Де Лаваль, проводите вашу кузину, у меня есть более важные дела, которыми мне следует заняться. Я буду ждать вас в Пон-де-Брик, чтобы представить императрице.

Глава Тринадцатая МЕЧТАТЕЛЬ

Провожая кузину, я был очень удивлён, встретив в дверях того же молодого гусара, который доставил меня в лагерь.

– Удачно, мадемуазель? – порывисто спросил он.

Сибилла утвердительно кивнула головой.

– Слава Богу! Я уже боялся за вас, потому что император человек непреклонный! Смелая вы девушка! Да лучше на полудохлой кляче атаковать целый батальон, построившийся в каре, чем обратиться с просьбой к императору. Я так переживал за вас, думал, ничего не получится! – В его по-детски наивных голубых глазах навернулись слёзы, а всегда лихо закрученные усы пребывали в таком беспорядке, что в другой ситуации я бы расхохотался.

– Лейтенант Жерар случайно встретился мне и проводил через лагерь, – сказала кузина.

– Он настолько добр, что сочувствует мне.

– И я тоже сочувствую вам, Сибилла! – вскричал я. – Вы были похожи на ангела милосердия и любви. Да, счастлив тот, кому принадлежит ваше сердце. Только бы он был достоин вас!

Сибилла тут же нахмурилась: мыслимо ли, чтобы кто-нибудь счёл Лесажа недостойным! Я немедленно замолчал.

– Я знаю его лучше, чем император или вы, – сказала она. – Душой и сердцем Лесаж поэт. Он слишком высокого мнения о людях, чтобы предвидеть интриги, жертвою которых он пал! Но к Туссаку в моей душе никогда не пробудится сострадания, потому что он убил пятерых; я также знаю, что во Франции не наступит мира, пока этот ужасный человек на свободе. Луи, помогите мне поймать его!

Лейтенант нервно покрутил усы и окинул меня ревнивым взглядом.

– Надеюсь, мадемуазель, что вы не запретите и мне помочь вам! – жалобно воскликнул он.

– Вы оба можете помочь мне, – сказала она, – я обращусь к вам, когда это будет нужно. А теперь, пожалуйста, проводите меня до конца лагеря, а там дальше я поеду одна.

Она говорила повелительным, не допускающим возражения тоном, и все приказы, слетавшие с её очаровательных уст, звучали восхитительно.

Серая лошадь, на которой я приехал из Гробуа, стояла рядом с лошадью Жерара, так что нам оставалось только вскочить в седла, что мы тотчас и сделали. Когда мы выехали за пределы лагеря, Сибилла обратилась к нам.

– Я должна проститься с вами, – сказала она. – Итак, я могу рассчитывать на вас обоих?

– Конечно! – ответил я.

– Ради вас я готов идти на смерть! – горячо заявил Жерар.

– Хватит и того, что такие храбрецы готовы мне помочь, – с улыбкой ответила она и, стегнув лошадь, поскакала по направлению к Гробуа.

Я остановился и глубоко задумался о Сибилле: какой план возник в её головке, что мог бы навести на след Туссака? Я ни минуты не сомневался, что женский ум, действующий под влиянием чувства и стремящийся спасти возлюбленного, достигнет большего успеха там, где Савари или Фуше, несмотря на всю их опытность, оказались бессильны. Повернув лошадь назад к лагерю, я увидел, что молодой гусар тоже смотрит вслед удаляющейся фигурке.

– Слово чести! Она создана для тебя, Этьен, – бормотал он, совершенно забыв о моём присутствии. – Эти чудные глаза, улыбка, искусство верховой езды! Она без страха говорила с самим императором! О, Этьен, вот, наконец, женщина, достойная тебя!

Его бессвязные лепетания продолжались до тех пор, пока Сибилла не скрылась за холмами, тогда только он и вспомнил обо мне.

– Вы кузен этой барышни? – спросил он. – Мы связаны с вами обещанием помочь ей. Я не знаю, что нам придётся сделать, но для неё я готов на всё!

– Надо схватить Туссака.

– Превосходно!

– Это условие, чтобы сохранить жизнь её возлюбленному.

На его лице отразилась борьба между любовью к девушке и ненавистью к сопернику, но врождённое благородство взяло верх.

– Господи! Я пойду даже на это, лишь бы сделать её счастливою! – крикнул он и пожал мне руку. – Наш полк расквартирован там же, где вы видите большой табун лошадей. Если вам понадобится помощь, дайте мне знать, моя сабля и рука всегда к вашим услугам.

Он хлестнул коня и быстро уехал; молодость и благородство сказывались у него во всём – в осанке, в красном султানে, развевающимся ментике и даже в блеске и звоне серебряных шпор.

Прошло четыре долгих дня, а я ничего не слышал ни о моей кузине, ни о моём милейшем дядюшке из Гробуа. За эти дни я успел устроиться в главном городе – Булони, сняв себе комнату за ничтожную плату (платить дороже я был не в состоянии). Комната помещалась над булочной Видаля рядом с церковью Блаженного Августина на улице Деван.

Так уж вышло, что год назад я снова вернулся сюда, подавшись тому же необъяснимому чувству, которое толкает стариков хоть изредка заглянуть туда, где протекла

их юность, подняться по тем ступеням, которые скрипели под их ногами в далёкие времена молодости. Комната осталась без изменений: те же картины, тот же гипсовый бюст Жана Бара около стола. Да, вещи не изменились, а вот моя душа, мои чувства уже совсем не те! Теперь в маленьком круглом зеркале отражалось истощённое старческое лицо, а когда я обернулся к окошку и посмотрел туда, где некогда белели палатки стотысячной армии и царило оживление, то увидел лишь унылые, пустынные холмы. Трудно поверить, что великая армия рассеялась, как лёгкое облачко в ветреный день, а все до единого предметы в заурядной комнате полностью сохранились!

Обосновавшись в этой комнате, я первым делом послал в Гробуа за своими скудными пожитками. Мне немедленно пришлось заняться туалетом, потому что после милостивого приёма императора, пообещавшего взять меня на службу, я был просто обязан обновить свой гардероб, чтобы не позориться среди богато одетых офицеров и придворных. Все знали, что Наполеон старался одеваться возможно скромнее и вообще не обращал внимания на своё платье, но не таково было его отношение к другим: нечего было рассчитывать на благосклонность императора, если вы не обзавелись великолепными одеждами. Даже при дворе Бурбонов роскошь туалетов не имела такого значения.

На пятый день утром я получил от Дюрока, состоявшего при дворе камергером, приглашение прибыть в лагерь, причём сообщалось, что я могу рассчитывать на место в экипаже императора, отправляющегося в Пон-де-Брик, где меня должны были представить императрице. В лагере Констан провёл меня к императору. Талейран и Бертье находились тут же в ожидании распоряжений, за письменным столом сидел де Миневаль.

– А, мсье де Лаваль, – приветливо кивнул император, – есть известия от вашей очаровательной кухни?

– Нет, ваше величество, – ответил я.

– Боюсь, что её усилия будут тщетны. Я от души желаю ей успеха, потому что нет оснований опасаться этого ничтожного поэта, Лесажа, а вот его сообщник – очень опасный человек. Но всё равно нужно использовать кого-то в качестве примера!

Стемнело. Вошёл Констан, чтобы зажечь огонь, но император остановил его.

– Я люблю сумерки, – сказал он. – Вы так долго жили в Англии, мсье де Лаваль, что, наверное, тоже привыкли к сумраку. Я уверен, что разум этих островитян под стать их мерзким туманам, если судить по той чепухе, которую они пишут про меня в своих дурацких газетёнках!

Нервным движением руки, обыкновенно сопровождавшим вспышки гнева, он схватил со стола последний номер какой-то лондонской газеты и бросил его в огонь.

– Журналист! – вскричал он тем же сдавленным голосом, каким накануне выговаривал своему провинившемуся адмиралу. – Да кто он такой? Чернильная душа, жалкий голодный писака! И он смеет рассуждать как человек, обладающий большою властью в Европе! Ох, как надоела мне эта свобода печати! Я знаю, многие хотят видеть её и в Париже, в том числе вы, Талейран! Я же считаю, что из всех газет нужно оставить только одну – официальную, через которую правительство будет сообщать народу свои решения.

– У меня иное мнение, ваше величество, – ответил министр. – По-моему, лучше иметь явных врагов, чем бороться со скрытыми. Да и к тому же безопаснее проливать чернила, чем кровь! Что за беда, если враги станут злословить о вас на страницах газет, – они ведь бессильны против вашей стотысячной армии!

– Та-та-та! – нетерпеливо вскричал император. – Можно подумать, что я унаследовал корону от своего отца-императора! Но, если б даже и так, – всё равно бы газеты остались недовольны. Бурбоны разрешили открыто критиковать себя, и к чему это их привело? Могли ли они воспользоваться своей швейцарской гвардией, как я воспользовался своими гренадёрами, чтобы произвести переворот 16 брюмера? Что случилось бы с их драгоценным Национальным собранием? В ту пору одного удара штыком в живот Мирабо было бы вполне достаточно, чтобы всё перевернуть вверх дном и окончательно изменить ход событий. Впоследствии только из-за нерешительности погибли король и королева и была пролита кровь многих невинных людей.

Он опустил в кресло и протянул свои полные, обтянутые белыми рейтузами ноги к огню. При красноватом отблеске потухавших угольев я смотрел на бледное красивое лицо,

лицо сфинкса, поэта и философа: как трудно было предположить в нём безжалостного тщеславного солдата! Я слышал, что нельзя найти двух похожих портретов Наполеона и, я думаю, это потому, что в зависимости от настроения совершенно изменялось не только выражение, но и черты его лица. В молодости он был самым красивым из всех, кого мне довелось видеть на моём долгом веку.

– Вы не склонны к мечтательности и не способны создавать себе иллюзий, Талейран, – сказал он. – Вы всегда практичны, холодны и полны цинизма. Я другой. На моё воображение действует рокот моря или такие сумерки, как сейчас. Сильно влияет на меня и музыка, особенно повторяющиеся мотивы, какие встречаются в операх Пассаниэлло. Тогда на меня нисходит вдохновение, мои идеи становятся глубже, я стремлюсь к новым горизонтам. В такие минуты я обращаю свои мысли к Востоку, к этому кишащему людскому муравейнику; только там можно почувствовать себя великим! Мои прежние мечты воскресают. Я мечтаю вымуштровывать людей, сформировать из них армию и повести её на Восток. Если бы я успел завоевать Сирию, я привёл бы этот план в исполнение и судьба целого мира решилась бы со взятием Сен-Жан д'Акра! Бросив Египет к своим ногам, я приступил к детальной разработке плана завоевания Индии. Я всегда представлял, как я еду на слоне и держу новый, сочинённый мною «Коран». Я слишком поздно родился. Стать всемирным завоевателем дано лишь тому, в ком есть божественность. Александр объявил себя сыном Зевса, и никто в этом не сомневался. Но человечество далеко шагнуло, и люди утратили чудесную способность увлекаться. Что бы произошло, объяви я себя божеством? Талейран первый стал бы посмеиваться в кулак, а парижане разразились бы градом пасквилей на стенах!

Наполеон словно не замечал нас и ни к кому не обращался, а просто высказывал вслух свои мысли, самые фантастичные, самые чудовищные! Это было именно то, что он называл «оссианскими видениями», потому что в это время он всегда вспоминал дикие неясные сны и мечты Оссиана, поэмы которого имели для него какую-то особенную притягательность.

Миневаль рассказывал мне, что император порой говорит о своих сокровеннейших мечтах и стремлениях души, а его придворные, стоя вокруг, молча ожидают, когда он от этих бредней вернётся к своей практичности.

– Великий правитель должен быть законом для всех, – продолжал Наполеон. – Мало уметь пользоваться саблей. Нет, нужно управлять душами людей, а не только их телами. Султан, например, глава их веры и армии. Многие из римских императоров обладали военной и духовной властью, и моё положение не упрочится, пока я не достигну того же. А в настоящее время во Франции Папа могущественнее меня в тридцати провинциях! Только подчинив себе все страны, можно достичь истинного мира и благополучия. Только когда власть над миром перейдёт в руки Европы и центром её станет Париж, а остальные правители будут получать корону из рук Франции, – только тогда восстановится нарушенный мир! Если могущество и власть одного сталкиваются с могуществом и властью других, то неизбежно начинается борьба, пока какая-то из сторон не признаёт себя побеждённой. Географическое положение Франции в центре всех держав, её богатство, её история определённо указывают на то, что именно она должна править. В самом деле: Германия распалась на части, Россия – страна варваров, Англия представляет собою незначительный по величине остров. Таким образом, остаётся одна Франция!

Внимая этим речам, я невольно убеждался в правоте моих друзей в Англии, говоривших, что мир не восстановится до тех пор, пока жив этот маленький тридцатилетний артиллерист.

Наполеон сделал несколько глотков кофе из чашки, стоявшей рядом с ним на маленьком столике. Затем снова вытянулся в кресле и, склонив подбородок на грудь, грустно устремил взор на красноватый отблеск огня.

– Если бы это осуществилось, – продолжал он, – все правители Европы явились бы к императору Франции, чтобы войти в его свиту при коронации! Каждый из них имел бы свой дворец в Париже; пространство, занятое дворцами, тянулось бы на несколько миль! Вот какие у меня планы насчёт Парижа, – конечно, если он окажется их достоин. Но я не люблю Париж, и парижане платят мне тем же. Они не могут простить, что я повёл своих солдат на их город! Они знают, что если будет надобность, я опять пошлю армию против Парижа. Я их не только удивил, но и заставил меня бояться. Однако любви их так и не добился. А ведь я много сделал

для них! Где сокровища Генуи, картины и статуи Венеции и Ватикана? В Лувре! Моя военная добыча обогатила Париж и послужила к его украшению. Но им нужны перемены, нужен шум побед. Сейчас они преклоняются передо мною, встречают с обнажёнными головами. Но парижане не задумаются приветствовать меня кулаками, если я не дам им нового повода восхищаться и удивляться мною. Когда долгое время всё было спокойно, я вынужден был построить Дворец Инвалидов, чтобы развлечь горожан. Людовик XIV дал им войны, Людовик XV – доблестных волокит и придворные скандалы. Людовик XVI не создал ничего нового и за это попал на эшафот. И в этом ваша заслуга, Талейран!

– Нет, ваше величество, по своим убеждениям я всегда был умеренным.

– Однако вы не сожалели о его гибели?

– Да, это верно, но только потому, что его место заняли вы, ваше величество!

– Ничто не могло бы остановить меня, Талейран! Я рождён, чтобы быть надо всеми. Помню, когда мы составляли условия мира в Кампо-Формио, я был совсем ещё молодым генералом, и вот, когда императорский трон стоял в палатке штаба, я быстро поднялся по ступеням и сел на него. Я и помыслить не мог, что есть кто-то могущественнее! В глубине души я всегда знал, какое будущее меня ожидает. Даже когда я с моим братом Люсьеном жил в крохотной каморке на несколько франков в неделю, я знал, что придёт день, когда я достигну императорской власти! А ведь тогда я не имел оснований надеяться на блестящую будущность. В школе я не отличался способностями, шёл сорок вторым учеником из пятидесяти восьми. Я преуспевал только в математике, на этом кончались мои способности. Честно говоря, я любил мечтать, а не работать. Ничто не развивало моего честолюбия, к тому же в наследство от отца мне достался только скверный желудок!

Однажды, когда я был ещё юнцом, вместе с отцом и сестрой Каролиной я оказался в Париже. Мы шли по улице Ришелье, когда появился королевский экипаж. Кто бы мог подумать, что маленький корсиканец, снявший шляпу перед королём и не спускавший с него глаз, станет его преемником?! Но я почувствовал, что этот экипаж должен рано или поздно принадлежать мне. Что тебе нужно, Констан?

Верный слуга почтительно наклонился к его уху и что-то прошептал.

– Ах, конечно, – сказал Наполеон, – свидание было назначено, а я чуть не позабыл о нём. Она здесь?

– Да, ваше величество!

– В боковой комнате?

– Да, ваше величество!

Талейран и Бертье обменялись взглядами, и министр направился, было, к двери.

– Нет, нет, можете остаться, – сказал император. – Зажги лампы, Констан, и распорядись, чтобы экипажи были готовы через полчаса. А вы, Талейран, займитесь-ка этой выдержкой из письма к австрийскому императору и выскажите мне ваше мнение. Де Миневаль, вот длинный рапорт нового владельца дока в Бресте. Выпишите из него всё самое важное и положите на письменный стол к пяти часам утра. Бертье, я желаю, чтобы вся армия была размещена по кораблям к семи часам утра. Надо выяснить, можно ли погрузить все войска за три часа. Мсье де Лаваль, потрудитесь остаться здесь и ждать нашего отбытия в Пон-де-Брик.

Таким образом, дав каждому распоряжения, он быстро вышел. За приподнятым пологом прошелестела розовая юбка, и полог опустился.

Бертье по обыкновению покусывал ногти; Талейран насмешливо и презрительно посматривал на него из-под своих густых ресниц. Со скорбным лицом де Миневаль взял громадную связку бумаг, из которой к утру требовалось сделать извлечения. Констан, двигаясь совершенно бесшумно, зажигал свечи в канделябрах, расположенных вдоль стен.

– Это которая? – пронёсся шёпот министра.

– Певичка из императорской оперы, – ответил Бертье.

– А та маленькая испаночка попрежнему в фаворе?

– Не думаю. Последний раз она была третьего дня.

– Ну, а та, другая, графиня?

– Она в своём домике в Амблетэз.

– «Но я не допущу скандала при дворе», – продекламировал Талейран с иронической

улыбкой, повторяя слова императора, сказанные по его адресу.

– А теперь, мсье де Лаваль, – прибавил он, отводя меня в сторону, – я очень хотел бы поговорить с вами насчёт партии Бурбонов в Англии. Вы, вероятно, знаете их намерения? Надеются ли они на успех?

И в течение пятнадцати минут он засыпал меня вопросами, которые подтверждали, что император не ошибся, сказав, что Талейран не задумается бросить его в тяжёлую минуту и легко перейдёт на сторону тех, кто посулит больше.

Мы вполголоса беседовали, как вдруг вбежал Констан. На его обыкновенно невозмутимом лице отражались тревога и смущение.

– Господи помилуй! Мсье Талейран, – прошептал он, всплеснув руками, – какое несчастье! Кто бы мог ожидать?!

– Что случилось, Констан?

– О мсье, я не осмелюсь беспокоить императора, но сюда едет сама императрица! Её экипаж уже в двух шагах от лагеря!

Глава Четырнадцатая ЖОЗЕФИНА

При этом неожиданном известии Талейран и Бертье молча переглянулись, и я впервые увидел, как быстро менялось выражение лица знаменитого дипломата. Я и раньше слышал, что Талейран по мимике не уступит лучшим артистам. На его лице отразилась скорее злобная радость, чем смущение, в то время как Бертье, искренно преданный Наполеону и Жозефине, бросился ко входу, откуда должна была появиться императрица, словно пытаясь остановить её.

Констан бегом направился к комнате императора, но, окончательно растерявшись, хотя и пользовался везде репутацией невозмутимого человека, отошёл назад, чтоб посоветоваться с Талейраном. Но было уже поздно, потому что мамелюк Рустам откинул портьеры и вошли две дамы.

Первая была высока и стройна, она приветливо улыбалась, и манеры её были исполнены достоинства. Она была одета в чёрный плащ с белыми кружевами на шее и руках; голову ей украшала чёрная шляпа с развевающимся белым пером. Её спутница была ниже ростом, лицо её не отличалось изяществом и красотой и казалось бы совершенно вульгарным, если бы не особенная живость выражения больших чёрных глаз. На цепочке дамы вели маленького чёрного терьера.

– Оставьте Фортюнэ снаружи, Рустам, – сказала первая, передавая ему цепочку. – Император не любит собак, и когда мы вторгаемся в его жилище, то должны подчиняться его вкусам. Добрый вечер, мсье де Талейран! Мадам де Ремюза и я катались поблизости и захвали узнать, когда император прибудет в Пон-де-Брик. Он уже собрался, не правда ли? Я думала застать его здесь.

– Его императорское величество вышел несколько минут тому назад, – сказал Тайлеран, кланяясь и потирая руки.

– Сегодня я устраиваю вечер в моём салоне в Пон-де-Брик, и император обещал отложить на время свои дела и почтить меня своим присутствием. Я хочу, чтобы вы убедили его меньше работать, мсье де Талейран; пусть он обладает железной энергией, но он больше не должен вести такой образ жизни. Нервные припадки у него участились. Ведь он хочет всё делать сам! Это, конечно, очень хорошо и заслуживает уважения, но ведь нельзя же так! Не сомневаюсь, что вот и сейчас... Ах, впрочем, вы не сказали, где он, мсье де Талейран!

– Мы ожидаем его с минуты на минуту, ваше величество!

– В таком случае мы присядем и подождём. Ах, мсье де Миневаль, как мне жаль вас: вы, я вижу, опять завалены этими несносными бумагами! Я была в отчаянии, когда мсье де Бурьенн покинул императора, но вы превзошли даже этого образцового секретаря в исполнительности! Подвиньтесь к огню, мадам де Ремюза, вы очень озябли! Констан, дайте

скамеечку под ноги мадам де Ремюза!

Вот такими, в сущности, незначительными знаками внимания и доброты императрица давно завоевала всеобщую любовь. У неё действительно не было врагов даже среди тех, кто ненавидел её мужа. Эту женщину любили и позже, когда она стала одинокою, разведённою женою. Из всех жертв, которые император принёс своему честолюбию, более всего он сокрушался о Жозефине, и разлука с нею стоила Наполеону недёшево!

Теперь, когда она опустилась в кресло, в котором только что сидел император, я смог разглядеть её. Странная судьба поставила её, дочь артиллерийского лейтенанта, едва ли не выше всех женщин в Европе! Она была на шесть лет старше Наполеона, так что, когда я увидел Жозефину впервые, ей исполнилось сорок два года, но, глядя на неё издали, при довольно тусклом свете в палатке, я не дал бы ей больше тридцати.

Её высокая стройная фигура до сих пор отличалась девичьей гибкостью; в каждом её движении было столько грации! Нежные черты лица – несомненно, в молодости Жозефина была замечательной красавицей, но, как и все креолки, она быстро пережила свою красоту. Правда, при помощи различных косметических средств супруга Наполеона довольно успешно боролась с возрастом и достигла того, что даже и в сорок лет, когда она сидела под балдахином или принимала участие в какой-нибудь процессии, красота её привлекала внимание. Но на близком расстоянии или при ярком свете нетрудно было разглядеть, что белизна кожи и румянец щёк были искусственными. Её собственная красота сохранилась только в чудных больших чёрных глазах с мягким ласкающим взором. Маленький изящный ротик императрицы постоянно улыбался; но она никогда не смеялась слишком открыто, вероятно, имея свои причины не выставлять напоказ зубы. Она держала себя с таким достоинством и тактом, что, если бы эта маленькая креолка была даже императорской крови, она не смогла бы держать себя лучше. Походка, взгляды, манера одеваться, все её жесты представляли собою гармоничное слияние женственности и приветливости с величием королевы. Я с удовольствием наблюдал за нею, когда она наклонялась вперёд, брала из корзинки маленькие кусочки ароматической древесины алоэ и бросала их в огонь.

– Наполеон любит запах горящего алоэ, – сказала она, – ни у кого нет такого тонкого обоняния: он легко различает запах даже спрятанных духов.

– Император обладает чрезмерно развитым обонянием, – сказал Талейран, – придворные поставщики не особенно довольны этим.

– Ох, грустно, когда он начинает просматривать мои счета, это очень грустно, мсье де Талейран: ничто не ускользает от его проницательности. Он ни для кого не делает исключений... Но кто этот молодой человек, мсье де Талейран? Он, кажется, ещё не был представлен мне?

Министр в двух словах объяснил ей, что я принят на личную службу к императору, и в ответ на мой почтительный поклон Жозефина тепло и искренне поздравила меня.

– Приятно видеть, что императора окружают такие благородные и преданные люди. В противном случае я бы ни минуты не была спокойна вдали от него. По-моему, он находится в безопасности только во время войны, потому что тогда за ним не охотятся убийцы. Я слышала, что на днях раскрыт новый заговор якобинцев?

– Мсье де Лаваль как раз и присутствовал при аресте заговорщиков, – сказал Талейран.

Императрица с волнением стала расспрашивать меня.

– Но ведь этот ужасный человек – Туссак – до сих пор не пойман! – воскликнула она. – Я слышала, что молодая девушка взялась найти его и что наградой за этот подвиг будет освобождение её возлюбленного?

– Эта девушка – моя кузина, ваше императорское величество! Её зовут Сибилла Бернак.

– Вы всего несколько дней во Франции, мсье де Лаваль, – сказала Жозефина, – но мне кажется, что вы попали в гущу всех государственных дел. Вы должны представить вашу хорошенькую, по словам императора, кузину ко двору. Мадам де Ремюза, потрудитесь записать её имя.

Императрица снова склонилась к корзине с ветвями алоэ, стоявшей возле камина. Вдруг я заметил, что она удивлённо посмотрела на какой-то предмет, который тотчас и подняла с пола. Это была треуголка Наполеона с трёхцветной кокардой; Жозефина подозрительно посмотрела на невозмутимое лицо министра.

– Что это значит, мсье де Талейран? – крикнула она, и её чёрные глаза вспыхнули недобрым огоньком. – Вы сказали мне, что император вышел, почему же его треуголка здесь?

– Прошу прощения, ваше императорское величество, но я не говорил этого!

– Что же вы сказали в таком случае?

– Я сказал, что он покинул комнату за несколько минут до вас!

– Вы что-то скрываете! – воскликнула она, инстинктивно угадывая правду.

– Я сказал всё, что знаю.

– Маршал Бертье, я требую, чтобы вы тотчас сказали мне, где император и чем он занят! Императрица переводила взгляд с одного на другого.

Не способный ни на какие увёртки и хитрости Бертье мял в руках шляпу.

– Я не знаю ничего, кроме того, что сказал де Талейран, – сказал он. – Император только что покинул нас.

– Через какой вход?

Бедный Бертье с каждым вопросом императрицы терялся всё более и более.

– Ваше императорское величество, я не могу точно указать, куда вышел император.

Взгляд Жозефины скользнул ко мне. Я мысленно вознёс пламенную молитву Святому Игнатию, который всегда покровительствовал нашей семье, – и опасность миновала.

– Идёмте, мадам де Ремюза, – сказала императрица. – Если господа не желают сказать нам правду, мы сумеем узнать её сами.

С большим достоинством она пошла к портьеру, отделявшей нас от комнаты Наполеона; спутница императрицы следовала за нею, и по её растерянному лицу, по робким неуверенным шагам я понял, что она догадалась, в чём дело.

Постоянные измены императора и сцены, которые он вызывал, были столь обычным явлением, что ещё ранее, будучи в Эшфорде, я неоднократно слышал самые разнообразные повествования о них. Из-за своей самоуверенности и пренебрежения мнением света Наполеон перестал бояться того, что о нём могут сказать, тогда как Жозефина, всегда сдержанная и спокойная, терзалась ревностью, теряла самообладание, и это приводило к тяжёлым сценам.

Талейран отвернулся, едва сдерживая торжествующую улыбку и приложив палец к губам, а Бертье, не будучи в состоянии сдержать волнение, беспощадно мял и тискал свою и без того измятую шляпу. Только Констан, этот преданный слуга, решился загородить госпоже роковую комнату.

– Если, ваше величество, вам угодно подождать одну минуту, я доложу императору о вашем прибытии, – сказал он, простирая руки так, что он загораживал вход.

– А, так вот он где! – гневно крикнула она. – Я вижу всё! И всё понимаю! Ну, хорошо же, я поговорю с ним! Пропусти меня, Констан! Как ты осмеливаешься загораживать мне дорогу?!

– Разрешите мне доложить о вас, ваше императорское величество.

– Я сама доложу о себе!

Быстрым движением она отстранила протестовавшего слугу, раздвинула портьеру и исчезла в смежной комнате.

Яркий румянец, несмотря на наложенные на щеки белила, заливал её лицо; глаза сверкали гневом оскорблённой женщины. Она не боялась предстать перед мужем. Но в изменчивой, нервной натуре переход от безумной отваги к самой отчаянной трусости совершается слишком быстро! Не успела она скрыться в соседней комнате, как оттуда раздался грозный окрик, словно рычание разъярённого зверя, и тотчас Жозефина в ужасе выбежала из комнаты в палатку.

Император вне себя от ярости бежал за женой. Жозефина была так испугана, что бросилась прямо к камину; мадам де Ремюза, не желавшая в качестве арьергарда принять на себя натиск разгневанного императора, бросилась вслед за нею. Так обе бежали, словно спугнутые с гнезда наседки, и, дрожа всем телом, опустились на свои прежние места. Тяжело дыша, не смея поднять глаз, обе молча сидели, пока Наполеон с нервно подёргивающимся лицом яростно метался по комнате, изрыгая град площадных ругательств.

– Ты во всём виноват, Констан, ты! – кричал он. – Разве так служат мне? Неужели у тебя настолько не хватило соображения? Неужели я никогда не могу побыть один?! Неужели я вечно должен подчиняться женским капризам? Почему все могут иметь часы свободы, а я

нет? А вам, Жозефина, я скажу, что между нами всё кончено! Я ещё колебался, но теперь я решил порвать с прошлым!

Я уверен, что все присутствующие дорого дали бы за возможность покинуть комнату. Находиться при подобной сцене не так-то легко! Император не обращал на нас ни малейшего внимания, словно мы были просто неодушевлённые предметы. Складывалось впечатление, что этот странный человек непременно хотел все щекотливые семейные дела, которые обыкновенно сохраняются в тайне, разбирать публично, чтобы ещё больше уязвить свою жертву. Начиная с императрицы и кончая грумом, не было решительно ни одного человека, кто бы с грустью не сознавал, что он каждую минуту может быть прилюдно осмеян и оплёван ко всеобщему удовольствию, хотя каждый из присутствующих понимал, что в ближайшем будущем сам может попасть в такое же положение.

Жозефина прибегла к последнему средству, к которому обыкновенно прибегают женщины: закрыв лицо руками и склонив свою грациозную шейку, она залилась горячими слезами. Мадам де Ремюза тоже заплакала, голос её от волнения стал хриплым и резким, а когда смолкали её рыдания, слышались тихие, стонущие всхлипывания Жозефины. Когда издевательства мужа выводили её из терпения, тогда она пыталась возражать ему, мягко упрекая его за бесконечные измены, но каждая такая попытка вызывала только новый прилив раздражения в императоре.

В порыве гнева он швырнул свою табакерку на пол, как рассерженное дитя, разбрасывающее по полу игрушки.

– Нравственность, – кричал он в исступлении, – мораль не созданы для меня, и я не создан для них! Я человек вне закона и не принимаю ничьих условий. Я много раз говорил вам, Жозефина, что это всё фразы жалкой посредственности, которыми она старается ограничить величие других. Все оне неприложимы ко мне. Я никогда не буду сообразовывать своё поведение с законами общества!

– Значит, вы совершенно бесчувственный человек! – рыдала императрица.

– Великие люди не созданы для чувств! Им решать, что делать и как выполнить задуманное. Они не слушают ничьих советов. Вы должны смириться с моими капризами и недостатками, Жозефина. Я надеюсь, вы сами поймёте, что нельзя стеснять моих действий.

Это была его любимая манера: если он был в чём-то не прав, то сейчас же объяснял факт с совершенно иной точки зрения, которая бы оправдывала его поступки. Наконец бурная сцена окончилась. Он достиг своего: убедил в своей правоте им же оскорблённую женщину! Как в битве, так и в спорах Наполеон всегда предпочитал натиск и атаку.

– Я смотрел счета г-жи Ленорман, Жозефина, – сказал он, – знаете ли вы, сколько платьев вы приобрели в этом году? 144 платья, причём каждое из них стоит баснословных, безумных денег! Ваш гардероб насчитывает до 600 платьев, почти не надёванных! Мадам де Ремюза может это подтвердить.

– Но вы любите, чтобы я была всегда хорошо одета!

– Да, но я не желаю платить по таким невероятным счетам! Я мог бы содержать ещё два кирасирских полка или целую флотилию фрегатов на те суммы, которые заплатил за ваши шелка и меха. А ведь один-два лишних полка могут повлиять на исход всей кампании. И кроме того, Жозефина, кто дал вам право заказывать Лефевру бриллиантовую парюру* с сапфирами? Когда мне был прислан счёт, я отказался уплатить. И если это повторится, то сей господин пойдёт в тюрьму, да и ваша модистка последует туда же!

Приступы гнева у императора хотя и были довольно бурными, но никогда не продолжались долго; конвульсивное подёргивание руки – что было одним из признаков его раздражения – постепенно утихало; посмотрев на де Миневаля, который не отрывался от бумаг и как заведённый писал в течение этой сцены, Наполеон улыбнулся, подошёл к огню, и следы гнева постепенно исчезли с его лица.

– Нет оправдания вашим безрассудным тратам, Жозефина, – сказал он, кладя руку на её плечо. – Бриллианты и дорогие платья необходимы уродливым женщинам, чтобы привлечь к себе внимание, но вам они не нужны! У вас не было дорогих костюмов, когда я впервые увидел вас на улице Шотрэн, и ни одна женщина в мире не увлекала меня так, как вы! Зачем

* Парюра (*франц.*) – дамский головной убор из драгоценных камней и кружев.

же ты раздражаешь меня, Жозефина, и заставляешь говорить тебе столько обидного? Возвращайся назад в Пон-де-Брик, малютка моя, да смотри не простудись.

– Наполеон, так вы будете у нас? – осведомилась императрица, все страдания которой, казалось, без следа рассеялись под влиянием одного доброго слова мужа. Она попрежнему держала платок у глаз, но, я думаю, с единственной целью скрыть следы слёз.

– Да, да, я буду! Мы все последуем за вами! Констан, проводи дам к экипажу. Бертье, распорядились ли вы о погрузке войск? Подите-ка сюда, Талейран, я хочу поговорить с вами насчёт моих планов на Испанию и Португалию. Мсье де Лаваль, вы можете сопровождать императрицу в Пон-де-Брик. Мы увидимся с вами на приёме.

Глава Пятнадцатая **РАУТ У ИМПЕРАТРИЦЫ**

Пон-де-Брик, маленькое селение, благодаря неожиданному прибытию двора, который должен был оставаться здесь несколько недель, был переполнен гостями. Гораздо проще и удобнее было бы разместиться в Булони, где есть более подходящие и лучше обустроенные здания, но раз Наполеон наметил Пон-де-Брик, оставалось только повиноваться. Слова «невозможно» для него не существовало, и с этим приходилось считаться всем, кому по долгу службы приходилось исполнять его желания.

Целая армия поваров и лакеев расположилась в крошечных домах деревушки. Затем прибыли сановники новой Империи, после них – придворные фрейлины и их поклонники из лагеря. Императрица занимала целый замок, остальные вынуждены были довольствоваться деревенскими домами, если не могли найти что-нибудь лучшее, и с нетерпением ожидали дня, когда можно будет наконец вернуться обратно в покои Версаля или Фонтенбло.

Императрица милостиво предложила мне место в своём экипаже, и всю дорогу до деревни, как будто забыв пережитую только что сцену, она весело болтала, задавала тысячу вопросов обо мне самом и о моих делах. Жозефина считала своим долгом всё знать о каждом придворном, и это было одной из наиболее характерных и приятных её черт. Особенно она заинтересовалась моей Эжени, и так как эта тема меня весьма волновала, в конце концов я продекламировал настоящий хвалебный гимн своей невесте, который императрица внимательно выслушала, иногда прерывая меня сочувственными восклицаниями. Мадам де Ремюза при этом глупо хихикала.

– Вы непременно должны представить её ко двору! – воскликнула императрица. – Неужели же можно оставить прозябать в английском захолустье такую девушку, олицетворение красоты и добродетели! Говорили вы об этом с императором?

– Но Его величество знал о ней и без моего рассказа.

– Он знает всё и обо всех, это удивительный человек. Вы слышали, он упрекнул меня за то, что я заказала парюру из бриллиантов и сапфиров? Лефевр дал мне слово, что об этом никто не узнает, и что я заплачу ему позже, однако вы видели, что императору всё известно. Что же он сказал вам, мсье де Лаваль?

– Император сказал, что позаботится о моей женитьбе.

– Но это серьёзнее, чем я думала, – озабоченно проговорила она. – Наполеон способен в одну неделю окрутить вас с любой из придворных дам. В этом вопросе, как и в других, он не позволяет себе противоречить. Сплошь да рядом по его настоянию заключаются весьма оригинальные браки. Но я ещё увижусь с императором до моего отъезда в Париж и подумаю, что смогу для вас сделать.

Пока я рассыпался в благодарностях за её доброту и сочувствие ко мне, экипаж подкатил к подъезду замка, у которого стояли две шеренги ливрейных лакеев и два караула гвардейцев, что указывало на пребывание здесь лиц императорской фамилии.

Императрица и её статс-дама поспешили удалиться для совершения вечернего туалета, а меня проводили в салон, куда уже съезжались гости. Салон был просторным, квадратным, очень скромно меблирован, так что скорее походил на гостиную провинциала-помещика, чем

покои императрицы.

Мрачные обои, старинная, красного дерева мебель, голубая обивка которой выцвела и обветшала, – всё это отнюдь не способствовало радостному настроению. Впрочем, впечатление это несколько смягчалось многочисленными канделябрами на столах и бра на стенах: яркий свет придавал салону торжественный и праздничный вид.

Рядом с салоном находилось несколько небольших комнат, отделявшихся друг от друга дешёвыми занавесками в восточном стиле; там были приготовлены карточные столы. Вокруг них толпились дамы и кавалеры. Дамы, по приказанию императора, в закрытых вечерних платьях, штатские мужчины – в чёрных костюмах, а военные – в полной парадной форме.

Туалеты дам были сшиты из дорогих ярких тканей: хотя император и проповедовал экономию во всём, он приказал одеваться так, чтобы платья соответствовали пышности и блеску двора. Простота классических костюмов отошла в прошлое вместе с эпохой революции, и теперь преобладал восточный стиль. Восточные костюмы вошли в моду, когда завоевали Египет, и надевались в честь императора-завоевателя; этот стиль требовал большого вкуса, но зато и давал возможность выделиться среди прочих. Римская Лукреция сменилась восточной Зулейкой, и салоны, подражавшие величию Древнего Рима, внезапно обратились в восточные залы.

Войдя в салон, я поспешил стать в углу, потому как был уверен, что не встречу здесь никого знакомого, как вдруг кто-то потянул меня за руку. Обернувшись, я увидел перед собою жёлтое неподвижное лицо дядюшки Бернака. Он схватил мою руку и с притворной сердечностью крепко пожал её, хотя я не сделал ни малейшей попытки ответить ему тем же.

– Мой дорогой Луи, – сказал он, – только в надежде встретить вас я явился сюда из Гробуа. Вы, конечно, понимаете, что, живя далеко от Парижа, я не имел возможности часто бывать при дворе, и не думаю, чтобы меня жаждали здесь увидеть. Поверьте, поехав сюда, я думал только о вас. Я слышал, что император отнёсся к вам весьма благосклонно и что вы приняты к нему на личную службу. Я говорил с ним, и убедил его в том, что если он будет обходиться с вами хорошо, то это поможет привлечь к нему и других молодых эмигрантов.

По выражению его глаз я видел, что он лжёт, тем не менее я поклонился и холодно поблагодарил.

– Я вижу, вы не хотите забыть нашу размолвку, – сказал он, – но согласитесь, что не имеете права быть недовольным, ведь я действовал только в ваших личных интересах. Я уже немолод и не отличаюсь хорошим здоровьем, да и профессия моя, как вы сами могли убедиться, далеко не безопасна. Но у меня есть дочь и есть имение. Кто возьмёт дочь, тот завладеет и имением. Сибилла очаровательная девочка. Разумеется, у неё свои причины огорчаться из-за известных нам событий. Но я всё ещё надеюсь, что вы одумаетесь и дадите мне более благоприятный ответ!

– Я ни разу даже не вспомнил о вашем предложении, – отрезал я. Несколько минут он стоял в глубокой задумчивости, затем устремил на меня свой жёсткий, холодный взор.

– Ну, хорошо, разговор окончен. Я всегда буду сожалеть, что не вы станете моим наследником. Луи! Неужели вы забыли, что вы бы давно мирно покоились на дне соляного болота, если бы я, рискуя жизнью, не вступился за вас? Разве не так?

– Спасая меня, вы преследовали свою цель, – возразил я.

– Да, но тем не менее я спас вас. К чему же такое недоверие? Не моя вина, что я хозяин вашего имения!

– Я не касаюсь этого вопроса.

– Почему же?

Я мог бы объяснить ему, что ненавижу его за измену товарищам, что Сибилла также ненавидит его, потому что он замучил свою жену, потому, наконец, что мой отец всегда считал его главным виновником наших несчастий и страданий, но на приёме императрицы не место подобным объяснениям, так что я только пожал плечами и промолчал.

– Весьма прискорбно, – сказал он, – у меня были совершенно иные планы на ваш счёт. Я помог бы вам сделать карьеру, потому что немногие пользуются таким влиянием на императора, как я. У меня к вам ещё одна просьба!

– Чем могу служить?

– Я сохранил кое-какие вещи, принадлежавшие вашему отцу: шпагу, письма, печать,

письменный стол, несколько серебряных тарелок; короче говоря, многое из того, я думаю, что вы бы захотели оставить на память. Мне будет очень приятно, если вы приедете в Гробуа – для этого не потребуется много времени – и выберете, что вам захочется, тогда моя совесть будет чиста!

Я пообещал неукоснительно исполнить его просьбу.

– А когда вы приедете? – живо поинтересовался он.

Что-то в его тоне вызывало подозрение, да и в глазах у него, я заметил, промелькнуло выражение удовольствия. Мне тотчас пришли на ум предостережения Сибиллы.

– Не раньше, чем узнаю, каковы мои обязанности на императорской службе. Когда разберусь с этим, то приеду.

– Хорошо, Луи! Я жду вас на будущей неделе или недели через две. Полагаюсь на ваше обещание, потому что де Лавали никогда не нарушали данного слова!

Я снова не ответил на его рукопожатие; Бернак сконфуженно отошёл и быстро исчез в толпе, становившейся всё гуще. Я попрежнему стоял в углу комнаты, размышляя над зловещим дядюшкиным приглашением, как вдруг услышал, что кто-то окликнул меня; обернувшись, я увидел высокую стройную фигуру де Коленкура, который приближался ко мне.

– Это первое ваше появление при дворе, мсье де Лаваль? – приветливо спросил он. – Вам не придётся чувствовать себя одиноко, потому что здесь много друзей вашего покойного отца, и, я уверен, многие из них будут рады познакомиться с вами. По словам де Миневаля, вы здесь почти никого не знаете даже в лицо?

– Я знаю только маршалов, которых видел на военном совете в палатке императора. Вон рыжеволосый Ней, а вот это – с огромным ртом – Лефевр, а там, с носом, похожим на клюв хищника, – Бернадотт!

– Совершенно верно. А вот этот с круглой, точно мяч, головой – Рапп. Он разговаривает с красивым смуглым мужчиной с чёрными баками. Это Жюно. Здесь они чувствуют себя не в своей тарелке, бедные солдафоны!

– Почему же? – спросил я.

– Потому что эти люди вышли из низших слоёв общества. Высший свет и его этикет для них страшнее, чем все опасности на войне. В пороховом дыму, в лязге сабель при рукопашных схватках они как дома, а на этих приёмах, зажав треуголки под мышкой, постоянно опасаясь оборвать дамские шлейфы, принуждённые вести разговоры о картинах Давида или операх Пассаниэлло, они просто изнемогают. Но император не удостоил бы их больше ни единым словом, посмей они не явиться ко двору. Он приказывает им быть солдатами среди солдат и придворными при дворе, но подобные перевоплощения им не под силу. Взгляните-ка вон на Раппа. У него двадцать ранений, а сколько усилий он прилагает, чтобы болтать о пустяках с этой молоденькой дамочкой! Очевидно, он ляпнул ей что-нибудь, уместное лишь в разговоре с маркитанткой. Дамочка спаслась от его остроумия под крылышком матери, а Рапп никак не сообразит, чем он её оскорбил.

– Кто та красавица в белом платье и с бриллиантовой диадемой на голове?

– Это мадам Мюрат, сестра императора. Да, Каролина очень красива, но другая его сестра – Мария, вон она стоит в углу напротив нас, – ещё красивее. А эта высокая строгая черноглазая старуха, с которой она разговаривает, – мать Наполеона; удивительная женщина, умная, хитрая, мужественная, сильная, она внушает к себе уважение всем, кто её знает. Несомненно, что в жилах её детей течёт большая часть именно материнской крови! Она попрежнему очень заботлива и экономна, как тогда, когда была женою простого корсиканца; всем известно, что она умеет извлекать довольно значительные доходы из своего нынешнего положения и откладывает сбережения на чёрный день. Император догадывается об этом, но не знает, как отнестись... А! Мюрат, наверное, мы скоро увидим, как вы мчитесь по кентским долинам?

Мимо нас шёл знаменитый наполеоновский полководец. Он пожал руку де Коленкуру. Стройная, красивая фигура Мюрата, его большие огненные глаза, благородство манер сделали из сына трактирщика человека, который привлекал внимание и вызывал восхищение всей Европы. Густые курчавые волосы и полные красные губы делали его наружность незаурядной, заставлявшей помимо воли обращать на него внимание.

– Я нахожу, что Англия чертовски неудобна для кавалеристов, – сказал он. – Дороги там очень хороши, но поля никуда не годятся! Нигде не встретишь такого количества рытвин и канав, вырытых для осушения почвы, как у англичан. Надеюсь, что мы скоро перейдём в наступление, Коленкур, потому что если люди будут продолжать жить в том же бездействии, как теперь, то они скоро обратятся в садовников. Они больше упражняются с цветочными лейками и садовыми ножами, чем с лошадьми и саблями!

– Я слышал, что завтра солдаты садятся на корабли?

– Да, да, но им снова придётся высадиться по сю сторону Ла-Манша. До тех пор пока адмирал Вильнёв не рассеет английский флот, нечего и думать о наступлении.

– Констан сказал мне, что сегодня император, пока одевался, напевал «Мальбрука», а эту песнь он всегда насвистывает перед переходом от бездействия к делу.

– Очень умно со стороны Констан напоминать мелодию, которую напевал император, – со смехом ответил Мюрат, – хотя вряд ли он отличит «Мальбрука» от «Марсельезы» в таком исполнении. А вот и императрица! Как она сегодня очаровательна!

Вошла Жозефина с фрейлинами. Все встали и приветствовали её почтительным поклоном. Императрица была одета в вечерний туалет из розового тюля, украшенного блёстками, на другой женщине платье могло бы показаться нескромным и слишком театральным, но императрица была полна грации и благородства. Небольшая корона из бриллиантов украшала её голову и при каждом движении сверкала тысячами огней. Никто не умел занимать гостей лучше её. Для каждого у Жозефины находилась милая улыбка, в её присутствии было легко, и у всех создавалось впечатление, что и сама императрица очарована гостями.

– Как она обаятельна! – невольно воскликнул я. – Как можно не любить этого ангела?!

– Только одна семья противится её очарованию, – сказал де Коленкур, оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что Мюрат был далеко и не мог слышать. – Взгляните на сестёр императора!

Я был поражён, посмотрев в их сторону. Эти красавицы, пока императрица проходила по комнате, следили за каждым её шагом, порою с какой-то злобной ненавистью перешёптываясь и хихикая. Мадам Мюрат обернулась к матери Наполеона и, указывая на Жозефину, прошептала что-то; и надменная старуха презрительно покачала головой.

– Оне думают, что имеют права на Наполеона и что поэтому им должно принадлежать здесь первое место! По сей день сёстры Наполеона не могли примириться с мыслью, что Жозефина – Её императорское величество, тогда как оне – всего лишь их высочества. Они все ненавидят её – и Жозеф, и Люсьен, словом, вся их семья! Во время коронации, находясь в свите Жозефины, оне попытались показать, что и оне кое-что значат, и Наполеону даже пришлось вмешаться. В жилах этих женщин течёт южная кровь, и с ними трудно совладать.

Но несмотря на очевидную ненависть и презрение родных Наполеона, императрица казалась беспечной, легко и свободно общалась с гостями. Каждого она обласкала своим мягким взглядом, ласковым словом. Высокий, воинственного вида человек с бронзовым от загара лицом и густыми усами шёл рядом с нею; иногда она ласково клала руку ему на плечо.

– Это её сын, Эжен Богарне, – сказал Коленкур.

– Её сын! – воскликнул я, потому что на вид он казался старше её.

Де Коленкур посмеялся моему удивлению.

– Она ведь вышла замуж за Богарне ещё очень юной, ей не было тогда и шестнадцати. Жозефина жила тихо, спокойно, в то время как её сын терпел лишения в Египте и Сирии, – вот чем объясняется, что он кажется старше её. А вон тот высокий представительный, гладко выбритый человек, который целует руку императрице, знаменитый актёр Тальма. Он однажды помог Наполеону, когда тому приходилось туго, и император не забыл помощи, оказанной консулу. В этом также кроется и секрет могущества Талейрана. Он дал Наполеону сто тысяч франков перед его походом в Египет, и теперь, хотя император сильно ему не доверяет, он не может забыть услуги. Наполеон никогда не бросает друзей, но и врагов не забывает. Сослужив ему службу однажды, вы можете потом делать, что вам угодно. В числе гостей вы встретите и его бывшего кучера, пьяного с утра до ночи, но он получил крест при Маренго, и потому его безобразия сходят ему с рук.

Де Коленкур отошёл от меня, чтобы побеседовать с какими-то дамами, и я снова

предался своим мыслям, которые невольно вновь и вновь обращались к этому необыкновенному человеку, являвшемуся то героем, то капризным ребёнком; благородные черты его характера так тесно смешивались с низменными, что я совершенно не мог разгадать его. Порой чудилось, что я постиг его, но вот узнаю новый факт, и все мои определения снова путаются, и я невольно прихожу к новому мнению.

Одно лишь было очевидно: Франция не могла бы без него существовать, значит, служа ему, каждый из нас служил стране. С появлением императрицы в салоне исчезла всякая формальность и натянутость, и даже военные, повидимому, чувствовали себя свободнее. Многие присели к зелёным столам и играли в вист и в очко.

Я совершенно углубился в наблюдения за придворными; любовался блестящими женщинами, со вниманием разглядывал сподвижников Наполеона – имена их предков никому не были известны, тогда как их собственные прогремели на весь свет. Как раз против меня весело болтали Ней, Ланн и Мюрат, словно они были в лагере. Кто бы мог подумать, что двое из них в недалёком будущем обречены на казнь, а третьему суждено пасть на поле брани! Но сегодня даже и тень грусти не омрачала их жизнерадостные лица.

Маленький, средних лет человек, всё время молчавший, казавшийся таким потерянным и забытым, стоял у стены. Заметив, что он, так же, как я, был чужим в этом обществе, я обратился к нему с каким-то вопросом. Он с готовностью ответил мне, безбожно коверкая французские слова:

– Вы, случайно, не жнаете по-английскому? – спросил он. – Я не иметь ждесь вштретил ни один человек, который понимать этот язык.

– Я свободно говорю по-английски, – заверил я его, перейдя на понятный ему язык, – потому что большую часть жизни провёл в Англии. Но вы ведь не англичанин? Думаю, с тех пор, как нарушен Амьенский мирный договор, во Франции не найдётся ни одного англичанина, кроме, конечно, заключённых в тюрьму!

– Нет, я не англичанин, – ответил он. – Я американец. Меня зовут Роберт Фултон, и я являюсь на эти приёмы исключительно с целью напомнить о себе императору. Он заинтересовался моими изобретениями, которые должны произвести переворот в войне на море.

Мне нечем было заняться, и потому я решил поговорить с забавным американцем о его изобретениях, думая, что имею дело с сумасшедшим. Он стал рассказывать о якобы изобретённом им судне, которое может двигаться по воде против ветра и против течения; приводится же в движение эта диковина углём или деревом, которые сжигают внутри его в печах. Фултон говорил и другие бессмыслицы вроде возникшей у него «идеи о бочках, наполненных порохом», которые обратят в щепки наткнувшийся на них корабль. Тогда я выслушивал его со снисходительной улыбкой, принимая за умалишённого, но теперь, на закате жизни, понимаю, что ни один из знаменитых воинов и государственных мужей, бывших в этой комнате, включая и самого императора, не оказал такого влияния на ход истории, как этот молчаливый американец, казавшийся столь невзрачным и заурядным среди блестящего офицерства и разодетых в восточные туалеты дам.

Внезапно все замолчали. В салоне воцарилась жуткая, гнетущая тишина, которая наступает, когда в детскую, полную оживлённых голосов, возни и шума, является кто-нибудь из взрослых. Болтовня и смех стихли. В соседних комнатах прекратился шорох карт и звон монет. Сидевшие, включая дам, встали с выражением глубокого почтения на лицах.

В дверях показался бледный император в зелёном сюртуке с белым жилетом, обшитым красным шнурком. Император далеко не всегда одинаково относился к окружающим даже и на вечерних приёмах. Иногда Наполеон был добродушным и весёлым болтуном, но это скорее относится к тому периоду, когда он был консулом, а не императором. Иногда он отличался чрезмерной суровостью и делал вслух оскорбительные замечания на счёт каждого из присутствующих. Наполеон всегда впадал из одной крайности в другую. Сейчас своей угрюмостью и дурным расположением духа он привёл всех в неловкое, стеснённое состояние, и глубокий вздох облегчения вырывался у каждого, кого он молча миновал, направляясь в смежную комнату.

На этот раз император, повидимому, ещё не вполне оправился после семейного скандала, он хмурил брови, взгляд метал молнии. Я оказался поблизости, и он остановил свой

выбор на мне.

– Подойдите ко мне, мсье де Лаваль, – сказал он. Затем, положив руку мне на плечо, он обратился к свите. – Полубуйтесь-ка на него, Камбасерес, простофиля вы этакий! Вы всегда говорили, что знаменитые аристократические семьи ни за что не вернутся назад и навсегда поселятся в Англии, как гугеноты. Вы, как обычно, оказались плохим предсказателем: перед вами наследник древнего рода де Лавалей, добровольно пришедший предложить мне свои услуги. Мсье де Лаваль, я назначаю вас своим адъютантом и прошу следовать за мной!

Карьера моя была обеспечена, но я, конечно, отлично понимал, что не за мои личные заслуги император обошёлся со мной так милостиво: его исключительной целью было побудить других эмигрантов последовать моему примеру. Моя совесть оправдывала мой поступок, потому что мной руководила любовь к родине, а не желание выслужиться перед Наполеоном. Но в тот миг, когда я должен был следовать за ним, я чувствовал унижение и стыд, какие, вероятно, испытывает побеждённый, идущий за колесницей торжествующего победителя.

Вскоре он дал мне и другой повод почувствовать себя пристыженным. Его обращение было оскорбительным решительно для всех. Наполеон сам говорил, что везде стремится быть первым, даже по отношению к женщинам; в отличие от Людовика XIV, он отвергал всякую вежливость и любезность с дамами и обращался с ними так же дерзко и высокомерно, как и с подчинёнными офицерами и чиновниками. С военными он был любезнее и приветствовал каждого кивком головы или пожатием руки. Со своими сёстрами он обменялся несколькими словами, сказанными тоном сержанта, муштрующего новобранцев.

Но когда к нему приблизилась императрица, его раздражение и дурное настроение достигли предела.

– Жозефина, я не желаю, чтобы вы так сильно румянили щёки, – проворчал он. – Все женщины думают только о том, как бы получше одеться, но не имеют для этого достаточной скромности и вкуса. Если я ещё раз увижу вас в подобном наряде, я выброшу его в огонь, как ту шаль!

– Наполеон, вам так трудно угодить! То, что вам нравится сегодня, раздражает вас завтра. Но я, конечно, изменю всё, что может оскорбить ваш вкус, – сказала Жозефина с удивительной покорностью.

Придворные расступились, образовав проход для императора со свитой. Он сделал несколько шагов, затем снова остановился и через плечо взглянул на императрицу.

– Жозефина, сколько раз я повторял вам, что не выношу толстых женщин!

– Я знаю это, Наполеон!

– Почему же тогда здесь мадам Шевре?

– Но, право же, она не такая толстая.

– Она толще, чем ей следует быть! Я предпочитаю её не видеть. Кто это такая? – он указал на молодую девушку в голубом платье. Несчастная затряслась от страха, видя, что привлекла к себе внимание раздражённого императора.

– Это мадемуазель де Бержеро.

– Сколько вам лет?

– Двадцать три, ваше величество!

– Вам пора выходить замуж! В двадцать три года все женщины должны быть замужем. Почему же вы до сих пор не сделали этого?

Бедная девушка, казалось, не могла произнести ни слова; императрица, желая выручить её из беды, добродушно заметила, что с этим вопросом надо было бы обратиться к молодым людям.

– Ах, так вот в чём затруднение! – сказал он. – Тогда беру на себя заботы о вас, мадемаузель, и найду вам супруга.

Он повернулся, и, к своему ужасу, я увидел, что он вопрошающе смотрит на меня.

– Мы и вам найдём жену, мсье де Лаваль, – сказал он. – Впрочем, об этом речь впереди! Ваше имя? – обратился он к хранившему невозмутимость изящному господину в чёрном.

– Я музыкант, Гретри!

– Да, да, припоминаю. Я видел вас сотни раз, но никак не могу запомнить ваше имя. Кто

вы? – обратился он к следующему.

– Моё имя Жозеф де Шенье.

– Ах да, я видел вашу трагедию. Не помню её названия, но она плоха. Вы написали что-нибудь ещё?

– Да, ваше величество. Вы разрешили мне посвятить последний том моих произведений вам.

– Очень возможно, но только у меня не было времени прочесть его. Жаль, что у нас во Франции нет больших поэтов, потому что события последних лет дали бы довольно материала даже для Гомера и Вергилия. К сожалению, я могу создавать королевства, но не поэтов. Кто, по вашему мнению, лучший французский писатель?

– Расин, ваше величество!

– Ну, тогда вы мало знакомы с литературой, потому что Корнель несравненно выше. Я плохо разбираюсь в красоте стихов, но могу сопереживать духу поэта, и считаю, что Корнель – величайший из всех поэтов. Я бы сделал его своим первым министром, живи он в наше время. Я удивляюсь его уму, знанию человеческого сердца и глубине чувств. Что вы пишете теперь?

– Я пишу трагедию из времён царствования Генриха IV, ваше величество.

– Это совершенно лишнее! Сюжет выбран слишком близко к нам, а я не желаю иметь на сцене современную политику. Пишите лучше пьесы об Александре Македонском. Кто вы? – обратился он к тому же музыканту, с которым только что говорил.

– Я попрежнему Гретри, музыкант, – спокойно повторил тот.

Император вспыхнул на мгновение от этого скрытого упрёка, но не сказал ни слова и перешёл к дамам, стоявшим у входа в комнату для карточной игры.

– Рад вас видеть, мадам, – сказал он ближайшей из них. – Надеюсь, вы исправили своё поведение? Мне сообщали о вас из Парижа различные сплетни, которые, говорят, доставили большое удовольствие и пищу для пересудов всему кварталу Сен-Жермен.

– Я прошу, ваше величество, пояснить вашу мысль, – недовольным тоном возразила дама.

– Сплетни соединяют ваше имя с именем полковника Лассалья.

– Это клевета, ваше величество!

– Очень возможно, но не странно ли, чтобы всем в одно и то же время захотелось посплетничать о вас? Вероятно, вы самая несчастная из дам: ведь только что у вас был скандал с адъютантом Раппа. Должно же это когда-нибудь иметь конец! Ваше имя? – обернулся он к другой.

– Мадемуазель де Перигор!

– Сколько вам лет?

– Двадцать.

– Вы слишком худы, и у вас локти красные... Боже мой! Мадам Буамезон, неужели вы не можете являться ко двору в чём-нибудь другом, а не в одном и том же сером платье с красным тюрбаном и бриллиантовым полумесяцем?

– Но я ещё ни разу не надевала его, ваше величество!

– Значит, у вас есть другое такое же, потому что я уже который раз вижу на вас всё одно и то же! Никогда больше не показывайтесь при мне в этом платье! Мсье де Ремюза, я дал вам хорошее жалованье. Почему же вы так скаредничаете?

– Я проживаю сколько нужно, ваше величество.

– Я слышал, что вы продали свой экипаж? Я даю вам деньги совсем не для того, чтобы вы их сберегали в банках. Вы занимаете высокий пост и должны жить соответственно вашему положению. Я желаю, чтобы к моему возвращению в Париж у вас снова был экипаж. Примите к сведению! Жюно, бездельник! Я слышал, вы записались в азартные игроки и совершенно проигрались. Не забывайте, что карты – самая трудная дорога к счастью!

– Кто же виноват, ваше величество, что мой туз был побит четыре раза кряду!

– Та-та-та, да вы ещё совсем дитя, не знающее цены деньгам. Сколько же вы задолжали?

– Сорок тысяч, ваше величество.

– Отлично, ступайте к Лебрёну и там узнайте, чем он может вам помочь. В конце концов ведь мы с вами были вместе под Тулоном!

– Тысячу благодарностей, ваше величество!

– Цыц! Вы, Рапп и Лассаль – притча во языцех для всей армии! Довольно карточных игр, мошенник!.. Я не люблю открытых платьев, мадам Пикар. Они не идут даже молодым женщинам, а вам носить их просто непозволительно! Жозефина, я иду к себе и прошу вас прийти ко мне через полчаса почитать на ночь. Несмотря на усталость, я всё же приехал к вам, раз вы пожелали, чтоб я помог вам принимать и развлекать гостей. Оставайтесь здесь, мсье де Лаваль: ваше присутствие необходимо.

За императором захлопнулась дверь, и каждый – от императрицы до последнего служителя – вздохнул с глубоким облегчением. Дружеская болтовня возобновилась, снова раздался шорох карт и звон металла. Словом, всё пошло своим чередом, как было до прихода императора.

Глава Шестнадцатая В БИБЛИОТЕКЕ ЗАМКА ГРОБУА

Итак, читатель, я приближаюсь к концу своего повествования о приключениях, выпавших на мою долю после возвращения во Францию. Они и сами по себе могут представлять некоторый интерес, но всё в них, разумеется, целиком затмевает личность императора, занимающего в моих записках первое место.

Много лет прошло с той поры, но в своих мемуарах я постарался вывести Наполеона, каким он был на самом деле. Отобразив его речи и поступки, я совсем забыл о себе. Поэтому я попрошу вас отправиться вместе со мною на Красную Мельницу и проследить за событиями, которые произошли затем в библиотеке замка Гробуа.

Прошло несколько дней после раута у императрицы, наступил последний день, который был отпущен Сибилле для спасения своего возлюбленного, если она отдаст в руки полиции Туссака. Правду сказать, я не особенно переживал о её неудаче, потому что Лесаж был жалким, низким трусом и все достоинства его сводились лишь к красивой наружности. Но эта чудная женщина с твёрдой волей, мужественным сердцем, глубоко одинокая в жизни, сильно задела мои чувства, и я был готов исполнить всё, чего бы она ни потребовала, даже если её желание шло вразрез с моими убеждениями.

Итак, поутру в мою комнату в Булони вошли генерал Савари и Сибилла. Одного взгляда на её пылающие щёки и светившиеся победой глаза было достаточно, чтобы понять, что она уверена в успехе своего дела.

– Луи, я говорила вам, что найду его! – воскликнула она. – Теперь мне нужна ваша помощь.

– Мадемуазель настаивает на том, что солдаты в данном случае бесполезны, – сказал Савари, пожимая плечами.

– Нет, нет, нет, – пылко проговорила она, – тут необходима осторожность, а при виде солдат он сразу спрячется в потайном месте, где вы никогда его не найдёте. Нельзя так рисковать в последнюю минуту!

– Судя по вашим словам, нам вполне достаточно троих, – сказал Савари. – Я лично никогда не взял бы больше. Вы говорите, что у вас есть ещё один друг, какой-то лейтенант.

– Лейтенант Жерар из полка Бершенских гусар.

– Превосходно! Жерар – один из лучших офицеров в армии. Думаю, втроём мы справимся. А теперь потрудитесь сообщить, где же находится Туссак.

– Он скрывается на Красной Мельнице.

– Мы обыскали там всё, и уверяю вас, его там нет.

– Когда вы обыскивали?

– Два дня тому назад.

– Значит, он поселился там позже. Он встречается с Жанной Порталь; я следила за нею шесть дней. Сегодня ночью я видела, как она тихонько пробиралась к Красной Мельнице с корзиной вина и фруктов. Всё утро она приглядывалась к прохожим, и я видела, что при

приближении солдата на её лице мелькнуло выражение ужаса. Я так уверена, что Туссак на мельнице, как будто видела его собственными глазами.

– В таком случае не будем терять времени! – вскричал Савари. – Если он рассчитывает найти лодку на берегу, то с наступлением темноты попытается бежать в Англию. С мельницы хорошо просматриваются окрестности, и мадемуазель права, что появление солдат заставит его немедленно скрыться.

– Что будем делать? – спросил я.

– Через час вы явитесь к южным воротам лагеря в этом же наряде. Вы будете изображать путешественника. А я найду Жерара, и мы договоримся, как нам переодеться. Прихватите пистолеты: нам придётся иметь дело с самым опасным человеком во Франции! Лошадь для вас мы приготовим.

Последние лучи заходящего солнца окрашивали в пурпур белые меловые утёсы – характерная картина для северных берегов Франции. Выйдя час спустя после нашего разговора к южным воротам лагеря, я к своему удивлению не увидел на условленном месте ни Жерара, ни Савари. Лишь высокий человек у дороги, в синем сюртуке с металлическими пуговицами и широкополой шляпе, похожий на бедного фермера, подтягивал подпруги на превосходной вороной лошади; несколько поодаль от него молодой конюх держал в поводу двух лошадей. Только узнав в одной из лошадей ту, на которой я приехал из Гробуа, я догадался, в чём дело.

– Думаю, наш вид ни у кого не вызовет подозрений, – сказал Савари. – Жерар, вам лучше сгорбиться, не то ваша военная выправка выдаст нас. Уже темнеет, скорее в путь!

Много всяких приключений было в моей жизни, но это занимает среди них особое место. Вдали над водой были видны туманные берега Англии, и мне вспомнились сонные деревушки, жужжание пчёл, воскресный звон колоколов, широкие и длинные улицы Эшфорда, его красные кирпичные домики и кабаки с яркими вывесками. Большая часть моей жизни мирно протекла там, а теперь я бешено мчался верхом, два заряженных пистолета висели у меня за поясом; я должен был исполнить поручение, которое могло изменить мою судьбу! Моё будущее зависело от того, удастся или нет арестовать самого опасного заговорщика.

Припоминая свою молодость, выпавшие мне на долю невзгоды и многое другое, я прежде всего вспоминаю тот вечер и бешеную скачку по просёлочной дороге. Мне кажется, что я вижу даже комки грязи, отскакивающие от подков лошадей.

Мы ехали вдоль ужасного соляного болота. Постепенно мы углублялись внутрь страны, проезжая через обширные пространства, заросшие папоротником и кустами терновника, пока наконец слева от нас не показались родные мне башни Гробуа. Тогда по команде Савари мы свернули направо и поехали по дороге, поднимавшейся вверх по холму. Достигнув его вершины, мы увидели на фоне вечернего неба крылья старой ветряной мельницы. Последние лучи заходящего солнца отражались в верхнем оконце мельницы, и оно алело, словно залитое кровью. Около входа стояла распряжённая телега, в которой лежали мешки с хлебом; недалеко лошадь щипала траву.

Вдруг на одном из холмов появилась женщина, и, приставив руку козырьком ко лбу, внимательно посмотрела по сторонам.

– Взгляните-ка, – взволнованно прошептал Савари. – Несомненно, он здесь, иначе к чему такие предосторожности? Объедем этот холм кругом, чтобы они нас не заметили.

– Но мы быстрее доедем, если двинемся напрямик, – сказал я.

– Здесь слишком неровная местность, так что безопаснее сделать крюк. К тому же, если мы поедем по дороге, они примут нас за обыкновенных путников.

Мы продолжали ехать с самым невозмутимым видом, но чей-то громкий крик вдруг заставил нас обернуться. Та женщина, стоявшая у дороги и следившая за нами, вероятно, что-то заподозрила. Должно быть, военная выправка моих спутников вызвала её опасения. Она быстро сняла шаль и, громко крича, изо всех сил принялась махать ею. Савари с проклятием прищипорил лошадь. Мы с Жераром помчались за ним.

Мы прибыли вовремя: до ворот мельницы оставалось не более ста шагов, когда какой-то человек выбежал из дома и воровато огляделся. По чёрной всклокоченной бороде, по массивной фигуре с сутуловатыми плечами я сразу узнал Туссака. Он понял, что мы не дадим

ему бежать; бросившись обратно в дом, он с шумом захлопнул за собою тяжёлую дверь.

– В окно, Жерар, в окно! – крикнул Савари.

Молодой гусар прыгнул с седла и ловко проскользнул в маленькое окно. Через минуту он распахнул дверь; его руки и лицо были в крови.

– Он убежал по лестнице, – сказал Жерар.

– Что ж, можем не торопиться: теперь ему от нас не уйти, – заявил Савари. – Кажется, Жерар, вам перепали первые изъяснения восторга Туссак по поводу нашей встречи? Надеюсь, вы не опасно ранены?

– Пустячные царапины, да и только!

– Где же мельник?

– Здесь он я, – сказал коренастый лохматый мужик, появляясь в дверях. – Что ж это делается? Что за шум? Вы, господа хорошие, врываетесь ко мне на мельницу, точно какие разбойники! Я сижу себе спокойно и трубку курю, как нате вот, ко мне через окошко вламывается человек, осыпает меня осколками стекл да открывает дверь товарищам своим. А те уж поджидают снаружи! Я и без того сегодня натерпелся от сваво жильца, а тут аж целых трое!

– В твоём доме скрывается злоумышленник! Его зовут Туссак.

– Какой такой Туссак? – оторопело спросил мельник. – Да куды там! Его Морис звать, торговец шёлком он.

– Его-то нам и надо. Мы действуем по приказу императора!

У мельника лицо вытянулось.

– Уж не знаю, кто он таков, но за ночлег предложил плату хорошую. Я и оставил его в покое, и расспрашивать ни про что не стал. В наше время от каждаво постояльца пачпорта не потребуешь. Но коль вы явились по приказанию аж самаво императора, то я, вестимо, мешать вам не стану. По правде сказать, Морис этот был жилец образцовый. Вот только нонешним утром, как он письмо получил, штой-то в башку ему ударило.

– Что ты болтаешь, какое письмо? Говори правду, бездельник, не то и тебе несдобровать!

– Бумашку ему принесла какая-то баба. Я, барин, и так говорю всё, что знаю. Он как её прочитал, так точно и рехнулся. Ох, и натерпелся ж я страху! До самаво вечера он буйствовал, всё грозился убить кого-то. Уж и не чаю, кады он уберётся отседова!

– Проверьте свои пистолеты, – сказал Савари, обнажая саблю. – Тут нет ни одного окна, ему не уйти. Мы быстро с ним справимся!

Узкая винтовая лестница вела на маленький чердак. Остатки дров и подстилка из соломы указывали, что Туссак скрывался именно здесь. Но его не было, очевидно, он спустился по другой лестнице. Мы последовали по ней и упёрлись в массивную, тяжёлую дверь.

– Сдавайтесь, Туссак! – крикнул Савари. – Бежать не удастся!

Из-за двери раздался хриплый смех.

– Как бы не так! Хотите, заключим уговор? У меня есть маленькое дельце, которое обязательно нужно обделать нынче ночью. Если вы оставите меня в покое, завтра я сам приду к вам в лагерь и сдамся. Мне нужно заплатить должок; и я только сегодня узнал, кому именно.

– Вы просите невозможного!

– Поверьте, это избавит вас от многих неприятностей.

– Мы не можем дать вам отсрочку. Сдавайтесь!

– Ещё чего! Чтоб взять меня, вам придётся попотеть!

– Вам не скрыться. Сдавайтесь! Ну-ка, наляжем на дверь!

В замочной скважине сверкнула вспышка, раздался короткий сухой звук пистолетного выстрела, и пуля, прожужжав рядом с нами, впиалась в стену. Мы сильнее налегли на дверь; от времени она обветшала и скоро поддалась нашим усилиям. Мы вломились в комнату с оружием в руках, но она была пуста...

– Куда его чёрт унёс? – крикнул Савари, оглядываясь. – Ведь это последняя комната, других тут нет.

Комната была пуста, если не считать нескольких мешков с рожью. Единственное окошко было распахнуто настежь, и возле него лежал ещё дымящийся пистолет. Мы

бросились к окошку и вскрикнули от удивления: расстояние до земли было настолько велико, что нечего было и думать выпрыгнуть отсюда, не рискуя сломать себе шею, но Туссак воспользовался тем, что телега с мешками хлеба стояла возле мельницы. Это уменьшило расстояние и ослабило силу удара. Но всё равно удар был настолько силён, что Туссак не смог сразу подняться и, с трудом переводя дыхание, лежал на груди мешков.

Услышав наши восклицания, он взглянул на нас, погрозил нам кулаком, тяжело прыгнул с телеги и, вскочив на лошадь Савари, помчался через холмы. Его чёрная борода развевалась по ветру. Выстрелы, посланные вдогонку, не причинили ему вреда. Едва ли надо говорить, что мы поспешили сбежать вниз по шаткой, скрипучей лестнице. Минута, другая – и вот мы с Жераром уже верхом; но этого времени Туссаку оказалось вполне достаточно, чтобы отъехать на довольно большое расстояние, так что всадник и лошадь на зелёном фоне холмов казались мелькающей чёрной точкой.

Вечер уже окутывал землю, а расстояние между нами и Туссаком пока не сокращалось; если бы он свернул на соляное болото, мы бы наверняка потеряли его след, ведь он знал местность намного лучше нас. Но он не менял направления. На одно мгновение нам почудилось, что Туссак повернул к болоту; но нет, он ехал между холмами.

Я положительно недоумевал, куда он несётся очертя голову. Он ни разу не оглянулся на нас, а неуклонно мчался вперёд, как человек, спешащий к заветной цели. Лейтенант Жерар и я были легче, чем Туссак, а наши лошади ни в чём не уступали его, и наконец-то мы начали его нагонять. Если бы холмы не заслоняли его от нас, то мы бы вскоре его догнали.

Однако то, чего мы так боялись всё-таки случилось. Мы находились уже не более как в ста метрах от него, когда сбились со следа. Туссак исчез за поворотом дороги.

– Вот здесь какая-то дорога ведёт налево! Скорее сюда! – в азарте погони крикнул Жерар.

– Подождите! – крикнул я. – Здесь другая дорога направо, он мог поехать и по ней!

– Ну так вы поезжайте туда, а я сюда.

– Погодите, я слышу стук копыт!

– Да, да, вот его лошадь!

Высокая вороная лошадь, в которой мы сразу узнали лошадь Савари, выскочила из густых зарослей терновника, но седока на ней не было.

– Он спрятался в кустарнике, – предположил я.

Жерар слез с лошади и, держа её в поводу, углубился в кусты. Я последовал его примеру. Заросли кончились, и мы очутились в меловом карьере.

– Никаких следов! – сказал Жерар. – Он ушёл от нас!

И тут я всё понял. Бешенство Туссака, его гнев, вызванный, по словам мельника, утренним письмом, объяснялись тем, что он узнал, кто предал их в ту роковую ночь. У Туссака, возможно, уже были смутные подозрения, а письмо их окончательно подтвердило. Неслучайно он пообещал сдаться завтра утром: ему нужно было время, чтобы отомстить моему дяде! Ради этого он и приехал в меловой карьер. Несомненно, здесь находился тот самый подземный ход, что вёл в замок Гробуа. Туссак, вероятно, не раз пользовался им для тайных встреч с Бернаком.

Я дважды ошибся прежде, чем обнаружил вход в подземелье. Поиски заняли довольно много времени, и даже отставший Савари успел пешком присоединиться к нам; привязав лошадей поблизости, мы ступили под низкие своды подземного хода и в полном мраке наощупь двинулись вперёд.

Когда в прошлый раз я шёл здесь с дядей, путь мне не казался таким длинным, потому что у дяди был с собой факел, но в крошечной тьме коридор представлялся нескончаемым. Шедший сзади Савари полюбопытствовал, сколько же ещё миль осталось ползти по этому кротовому лазу.

– Тсс! – прошептал Жерар. – Там кто-то есть!

Затаив дыхание, мы прислушались. Далеко впереди закрипела дверь.

– Он, он, – порывисто прошептал Савари, – негодяй здесь, я уверен! Теперь он в наших руках!

Но тут я вспомнил, что дядя открывал дверь, ведущую в замок, каким-то совершенно особым способом. По скрипу открывавшейся двери я понял, что Туссак знал этот секрет. Но

если он запер её за собой?! Я вспомнил величину и прочность железных засовов. Да, в самый последний миг, когда мы находились у цели, эта дверь могла оказаться неодолимой преградой. Мы ускорили шаг, и я вскрикнул от радости: впереди разливался мерцающий желтоватый свет. Значит, дверь была отворена! Туссак, опьянённый жаждой мести, забыл о своих преследователях. Мы взбежали по винтовой лестнице, благополучно миновали вторую дверь и очутились в замке, в коридоре, попрежнему освещённом одной свечой.

Внезапно тишину пронзил вопль – долгий, мучительный вопль страха и боли.

– Спасите! Спасите! Он убьёт его! Убьёт! – В коридор выбежала служанка и бросилась к нам. – Помогите, помогите! Он убьёт мсье Бернака!

– Где он? – крикнул Савари.

– Там, в библиотеке! Дверь за зелёным занавесом!

Снова раздался отчаянный крик, перешедший в хрипение. Мы слышали, как что-то хрустнуло, словно сломанный хрящ... Один я понял значение этого звука. Мы кинулись в комнату, но и отважный Савари, и безгранично смелый гусар отпрянули при виде ужасной картины, которая предстала нашим глазам!

Когда убийца ворвался в библиотеку, дядя сидел за письменным столом, спиной к двери. Без сомнения, первый раз он закричал от ужаса, внезапно увидев подле себя косматую голову. Парализованный страхом Бернак не мог подняться с кресла и продолжал сидеть спиной к двери. Второй раз он закричал, когда мерзкие ручищи вцепились ему в горло.

К нашему приходу всё уже было кончено: голова дяди была свёрнута назад, и искажённое, налитое кровью лицо смотрело на нас. Я часто потом видел во сне это худое лицо с выкатившимися глазами, открытым ртом и свёрнутой шеей. Около убитого, скрестив на груди руки, стоял Туссак; он торжествовал.

– Как видите, друзья мои, – насмешливо сказал он, – вы малость опоздали. Я расплатился со своими долгами!

– Сдавайся! – крикнул Савари.

– Ну, стреляйте, стреляйте! – ответил Туссак. – Думаете, я вас боюсь? Что, захотели взять меня живым? Куда вам, недомерки! Вот я вас!

Он схватил огромное кресло и, яростно им размахивая, двинулся на нас. Мы выстрелили, но пули не могли остановить сильного, как стихия, великана. Он не выпустил кресло и шёл на нас. Кровь ручьями лила из его ран, и в конце концов силы изменили Туссаку. Он бросил кресло, оно упало на стол, раздробив его в щепки. Затем Туссак, уже совершенно обезумев, кинулся на Савари, поднял его под себя, и, прежде чем мы успели остановить его, мёртвой хваткой вцепился Савари в подбородок, намереваясь свернуть бедняге шею. Это чудовище, даже тяжело раненное, было сильнее нас всех, вместе взятых.

Мы с Жераром изо всех сил старались оттащить великана от Савари. Наконец Туссак выпустил Савари и стал отбиваться от нас. Он истекал кровью. Силы его таяли. С невероятным трудом он поднялся на ноги, словно медведь, в которого со всех сторон вцепились собаки; его колени подогнулись, от бессильной ярости он закричал так, что в окнах задрожали стёкла, потом он упал навзничь и остался недвижим. Точно затравленный зверь лежал он на полу; его всклокоченная борода торчала кверху. Тяжело дыша, мы окружили великана, ожидая новой схватки. Но Туссак был мёртв. Смертельно бледный Савари в изнеможении прислонился к стене. Он ещё не мог оправиться от железных тисков убийцы.

– словно с медведем боролся! – с трудом проговорил он. – Что же, во Франции стало одним опасным человеком меньше. Теперь император может быть спокоен. Чертовски смелый был человек!

– Какой солдат получился бы из него! – задумчиво проговорил Жерар. – Ему в самый раз быть гусаром из Бершени. Да, зря он пошёл против императора!

Я сел на диван. Силы мои иссякли, я чувствовал себя совершенно больным и разбитым. Савари предложил нам несколько глотков коньяку из своей походной фляги и затем, сорвав одну из занавесей, прикрыл ею ужасный труп дяди Бернака.

– Здесь нам делать больше нечего, – сказал он. – Я должен как можно скорее доложить обо всём императору. Господа, нужно взять с собой бумаги Бернака: оне наверняка могут пригодиться для раскрытия других заговоров!

Мы собрали все документы, разложенные на столе. В числе их было и письмо, которое

Бернак, вероятно, закончил, когда появился Туссак.

– Вот тебе раз! – воскликнул Савари, глядя на это письмо. – Да наш приятель Бернак был не менее опасным субъектом, чем сам Туссак. Вы только послушайте, что он пишет:

«Мой дорогой Катюль! Надеюсь Вас не затруднит прислать мне ещё одну склянку с тою жидкостью, которую Вы вручили мне три года назад. Я говорю о миндальном отваре, который не оставляет никаких следов. Он понадобится мне на будущей неделе. Умоляю Вас не перепутать! Вы всегда можете рассчитывать на меня, если Вам потребуется за чем-либо обратиться к Императору».

– Адресовано известному химику в Амьен, – сказал Савари, поворачивая конверт. – Так наш Бернак, в довершение всех своих добродетелей, был ещё и отравителем! Ума не приложу, для кого он готовил свой миндальный отвар...

– Да, весьма странно, – прошептал я.

Я не хотел объяснять, что отвар предназначался для меня. Как-никак Бернак мой дядя, и к тому же он был мёртв. О чём же теперь говорить?

Глава Семнадцатая ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Генерал Савари отправился с рапортом прямо к императору в Пон-де-Брик, а мы с Жераром приехали ко мне, чтобы поболтать за бутылкой вина. Я думал застать Сибиллу, но, к моему удивлению, её и след простыл, и никто не знал, куда она делась.

Ранним утром на другой день меня разбудил вестовой императора.

– Император желает видеть вас, мсье де Лаваль, – сказал он.

– Где именно?

– В Пон-де-Брике.

Я знал: чтобы выиграть в глазах Наполеона, ни в коем случае нельзя мешкать. Поэтому через десять минут я уже был верхом, а через полчаса примчался в замок. Поднявшись по лестнице, я вошёл в комнату Жозефины, где был также и Наполеон.

Императрица возлежала на кушетке в очаровательном кружевном капоте с розовой подкладкой; Наполеон энергично шагал по комнате, одетый весьма непривычно. Так он обыкновенно одевался в редкие часы досуга. На нём был белый халат, пунцовые турецкие туфли; голова была повязана белым шёлковым платком; платье придавало ему вид плантатора из Вест-Индии.

По сильному запаху одеколона я понял, что Наполеон только что вышел из ванны. Он был в прекрасном настроении, которое передалось и Жозефине, так что меня встретили весёлые, улыбающиеся лица. Трудно было поверить, что это доброе ласковое выражение лица, глаза, светящиеся гениальным умом, принадлежали тому же человеку, который несколькими днями раньше неистовствовал на вечернем приёме, оставляя за собой увлажнённые слезами щёки и унылые, поникшие лица гостей.

– Славный дебют для моего адъютанта! – сказал он. – Савари рассказал мне, что случилось вчера. Вы прекрасно справились с делом. Мне некогда заниматься пустяками, но вот моя жена будет спать спокойнее. Теперь она уверена, что Туссак уже не убьёт меня.

– Да, да, это был ужасный человек! – воскликнула императрица. – Не менее опасный, чем Жорж Кадудаль. Да они оба были ужасные люди!

– Я родился под счастливой звездой, Жозефина, – сказал Наполеон, ласково глядя её по голове. – Я вижу весь свой жизненный путь и прекрасно знаю, что уготовила мне судьба! Ничто не повредит мне до тех пор, пока я не исполню своего долга перед Францией. Арабы верят в судьбу, и они совершенно правы.

– Тогда к чему же все твои планы, раз всё заранее предопределено судьбой?

– Значит, мне предопределено составлять планы, глупышка! Разве ты не видишь знака судьбы в том, что мой разум одарён способностью создавать планы? Я всегда загадываю по крайней мере на два года вперёд, а сегодня, мсье де Лаваль, я всё утро обдумывал события,

которые должны произойти осенью и зимой 1807 года. Ах да, кстати, ваша хорошенькая кузина добилась-таки своего! Нет, безусловно, она слишком умна, чтобы стать женой такого ничтожества, как этот Люсьен Лесаж. Он просил пощадить его хотя бы на неделю, а это, согласитесь, не особенно большая милость.

Я кивнул.

– С женщинами всегда так! Идеалисты и мечтатели увлекают их своим воображением. Подобно жителям Востока, оне не понимают, что если человек умный и порядочный, то это совсем не значит, что он и красивый. Я, например, никак не мог заставить египтян поверить, что я более значительный генерал, чем Клебер, потому что тот обладал фигурой швейцара и волосами парикмахера. Так и с этим злополучным Лесажем, которого женщины считают героем из-за его красивого лица и телячьих глаз. Как вы думаете, если она увидит, каков он на самом деле, она бросит его?

– Не сомневаюсь, ваше величество, потому что, насколько я знаю свою кузину, она не выносит трусости и низости.

– Э, как вы горячо заговорили, сударь мой! Уж не увлеклись ли вы своей хорошенькой кузиной?!

– Ваше величество, я уже имел честь сообщить вам, что...

– Но ведь невеста ваша там, далеко, за океаном, и многое могло измениться с той поры, как вы расстались.

В дверях показался Констан.

– Его уже привели, ваше величество!

– Тем лучше! Жозефина, ты непременно должна идти с нами, потому что это больше касается тебя, чем меня.

Мы перешли в длинную узкую комнату с двумя окнами, занавеси на которых были опущены и почти не пропускали света. Около второй двери стоял мамелюк Рустам, а рядом с ним был тот, о ком мы только что говорили. От стыда Лесаж опустил голову. Когда вошёл император, Лесаж задрожал, как осиновый лист, и испуганно воззрился на нас. Наполеон остановился перед ним, слегка расставив ноги, и, заложив руки за спину, пронизал несчастного заговорщика долгим испытующим взглядом.

– Ну-с, милостивый государь, – сказал наконец император, – полагаю, вы достаточно обожгли пальчики и вряд ли снова близко подойдёте к огню! Или вы собираетесь и дальше заниматься политикой?

– Если я буду помилован, то ваше величество на всю жизнь приобретёт во мне самого преданного слугу, – пробормотал Лесаж, еле выговаривая слова.

Император хмыкнул в ответ на это лестное предложение, просыпав щепоть табаку на свой белый халат.

– В том, что вы говорите, есть доля правды, потому что человек, имеющий основание бояться, всегда служит хорошо. Но я очень строгий хозяин!

– Неважно, что вы потребуете от меня! Я всё выполняю, если только вы даруете мне прощение!

– Например, иногда я имею обыкновение, – сказал император, – женить людей, поступающих ко мне на службу, причём не по их желаниям, а исключительно по своему усмотрению. Согласны ли вы на это?

Внутренняя борьба отразилась на лице поэта, он всплеснул руками.

– Могу я просить вас, ваше величество?

– Вы ни о чём не смеете просить!

– Но есть некоторые обстоятельства, ваше величество!..

– Пожалуйста, довольно! – гневно крикнул император, поворачиваясь на каблуках. – Я не прошу указаний, я приказываю! Я желаю найти мужа для мадемуазель де Бержеро. Желаете ли вы жениться на ней, или тотчас возвращаетесь в тюрьму?!

От волнения лицо Лесажа судорожно искривилось, он в отчаянии ломал руки.

– Рустам, позвать стражу! – приказал император.

– Нет, нет, ваше величество, не отправляйте меня назад в тюрьму!

– Стражу, Рустам!

– Я согласен на всё, я женюсь, на ком вы прикажете!

– Негодяй! – раздался вдруг чей-то голос. Занавеси одного окна раздвинулись и появилась Сибилла. Она побледнела от гнева, глаза сверкали ненавистью; высокая стройная фигура моей кузины резко выделялась на фоне окна. Она забыла о присутствии императора, она забыла всё от презрения к Лесажу!

– Мне показали ваше истинное лицо, – с отвращением сказала Сибилла, – я не верила, не могла поверить, я даже не представляла, что на свете есть столь презренные люди! Мне обещали доказать, я согласилась и теперь сама увидела, кто вы на самом деле. Хорошо, что вовремя! Подумать только, ради вас я пожертвовала жизнью человека, в сто раз более достойного, чем вы! Да, я жестоко наказана! Туссак отмщён.

– Замолчите! – сердито прервал император. – Констан, проводи мадемуазель Бернак в другую комнату. Что касается вас, сударь, я никогда не решусь связать судьбу ни одной из моих придворных дам с вами! Хватит и того, что мадемуазель Бернак излечилась от своей безумной страсти. Рустам, уведите арестованного!

– Вот видите, мсье де Лаваль – обратился он ко мне, когда уничтоженного Лесажа увели из комнаты, – мы славно поработали между кофе и завтраком. Это была ваша идея, Жозефина, и я положился на вас. А теперь мы хотим вознаградить вас, мсье де Лаваль, за то, что вы подали блестящий пример эмигрантам-аристократам, и, конечно, за ваше участие в поимке Туссака. Вы получите жалованье, достаточное для того, чтобы жить сообразно со званием моего адъютанта. Кроме того, я решил женить вас на одной из фрейлин императрицы.

Моё сердце сильно забилося при этих словах императора.

– Ваше величество! – едва выговаривая слова, произнёс я. – Это невозможно!

– Я не позволяю долго раздумывать! Невеста ваша из прекрасной семьи и очень красива. Решено: ваша свадьба будет в четверг.

– Но это невозможно, ваше величество! – повторил я.

– Невозможно? Когда вы побудете на моей службе несколько долее, вы поймёте, что я не переносу этого слова. Я говорю вам, что это решено.

– Моё сердце принадлежит другой, ваше величество. Я не могу изменить моей клятве!

– Неужели? – спросил император. – Если вы настаиваете, то не рассчитывайте служить моим адъютантом!

Все мои планы и надежды рушились. Но что же мне оставалось делать?

– Эта минута самая тяжёлая в моей жизни, ваше величество, – твёрдо сказал я, – но я останусь верен данному слову. Даже если бы мне пришлось сделаться разбойником на большой дороге вместо высокой чести быть вашим адъютантом, я всё же женюсь на Эжени де Шуазель или не женюсь совсем!

Императрица встала и приблизилась к окну.

– Так как вы продолжаете упорствовать, мсье де Лаваль, – сказала она, – я хочу позволить вам взглянуть хотя бы одним глазком на мою фрейлину, от которой вы упорно отказываетесь!

Жозефина быстро откинула занавесь второго окна. Там стояла женщина. Она сделала несколько шагов и с радостным восклицанием бросилась ко мне и обвила мою шею руками. Я словно во сне, не веря самому себе, прижал её к сердцу, узнав нежные глазки моей Эжени. Я боялся, что это сон; пройдёт мгновение – я проснусь, и Эжени исчезнет!

– Оставим их одних, – сказала императрица. – Пойдём, Наполеон! Мне грустно смотреть на них. Я вспоминаю былые дни на улице Шотрэн!

* * *

Вот и конец моего маленького романа. Как всегда, планы императора были приведены в исполнение в назначенный день, и в четверг нас обвенчали. Всесильная рука императора сумела доставить сюда Эжени из кентского городка, чтобы окончательно привязать меня к его особе и возвысить свой двор присутствием представительницы стариннейшего рода де Шуазелей.

Через несколько лет после всего случившегося моя кузина Сибилла вышла замуж за

Жерара, который за это время успел получить командование бригадой и был одним из известнейших генералов Франции. Я снова сделался владельцем нашего родового имения Гробуа, но воспоминания о моём отвратительном дядюшке и о его страшной кончине навсегда омрачили для меня эти места.

Однако довольно обо мне и моей ничтожной жизни! Я пытался изобразить личность императора по собственным воспоминаниям. Из истории вы знаете, что, потеряв надежду овладеть Ла-Маншем и опасаясь вторжения врагов с тыла, Наполеон покинул Булонь. Вы также, вероятно, слышали, что во главе той же армии, предназначенной сначала для войны с Англией, он в один год одержал сокрушительную победу над Австрией и Россией,^{*} а на следующий – разбил Пруссию.

Со дня моего поступления к нему на службу и вплоть до того часа, когда он в последний раз совершил путешествие по Атлантическому океану, чтобы никогда больше не вернуться во Францию, я разделял его судьбу. Я возвысился при помощи той звезды, которая покровительствовала ему, и упал вместе с ним. И теперь, припоминая всю жизнь Наполеона, я не могу решить, был ли он для Франции добрым гением или демоном зла? Знаю одно: это был гениальный человек и все его поступки были настолько грандиозны, что к ним неприменима обыкновенная человеческая мерка.

Спи же спокойно в своей грандиозной гробнице во Дворце Инвалидов, великий человек! Твоё дело сделано, и властная рука, удержавшая Францию на краю гибели, давшая новое направление политической жизни Европы, обратилась во прах. Судьба тебя в своих целях возвысила; судьба же тебя и отвергла, но память о тебе, всемогущем маленьком императоре, живёт и волнует умы людей, влияет на их поступки. Многие превозносили тебя, многие тебя осуждали, но я старался не делать ни того, ни другого. Я хотел быть только беспристрастным летописцем событий, происшедших в те дни, когда великая Армия, приготовившись покорять Англию, находилась в Булони, а я, вернувшись из изгнания в свой замок Гробуа, сделался адъютантом Наполеона.

1897 г.

(перевод М. Антоновой и П. Гелевы)

^{*} Автор имеет в виду битву при Аустерлице в 1805 г., когда французские войска под командованием Наполеона разбили русско-австрийскую армию под фактическим командованием Александра I (номинально ею командовал М.И. Кутузов). (П.Г.)

ГИГАНТСКАЯ ТЕНЬ

Глава Первая

НОЧЬ, КОГДА ГОРЕЛИ СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ

Да, мне, Джеку Колдеру из Вест-Инча, приходится только диву даваться: мне минуло пятьдесят пять лет и я дожил до середины девятнадцатого столетия, а жена не чаще раза в неделю вырывает у меня одну-другую пару седых волосков над ухом. Но ведь я видел время, когда образ мыслей и поступки людей отличались от нынешних настолько, словно я жил на другой планете. Сейчас, когда я гуляю по своим полям и вижу вдали на Бервикской дороге клубы белого дыма, я понимаю, что по границе, отделяющей Шотландию от Англии, движется это невиданное дотоле многоногое чудовище, питающееся углём и влекущее в своём чреве не одну сотню человек. В ясный день я различаю, как блестит на нём медь, когда оно поворачивает в сторону близ Корримюра; а после этого я смотрю на море и вижу точно такое же чудовище, и даже не одно, а несколько сразу. Оставляя за собой чёрный след в воздухе и белый на воде, они плывут против ветра так же свободно, как лосось по Твиду. Доведись моему отцу увидеть такое, он онемел бы от гнева и изумления; ибо он до такой степени боялся оскорбить Творца, что никогда не шёл против природы и считал всё новое чуть ли не богохульством. И поскольку лошадь создал Бог, а локомотив, несущийся по Бирмингемской дороге, — человек, мой старый отец ни за что не оставил бы седла и шпор.

Но он удивился бы ещё более, если б увидел, что теперь в сердцах людей царят мир и благоволение, а в газетах пишут и на митингах говорят, что не будет больше войны, разумеется, за исключением войны с чернокожими и другими подобными народами. Ибо когда отец умер, шла война, продолжавшаяся почти четверть столетия с кратким перерывом на два года. Попробуйте только представить себе это вы, живущие в мире и покое! Дети, родившиеся во время войны, вырастали, обрастали бородой, и у них самих рождались дети, а война всё продолжалась. Те, что служили в армии и бились с врагами крепкими молодыми людьми, постарели и согнулись, а война всё не прекращалась ни на море, ни на суше. Неудивительно, что люди привыкли считать такое положение дел нормальным и думали, что мир — это что-то противоестественное. В течение этого долгого времени мы воевали с голландцами, испанцами, турками, американцами, уругвайцами, так что, казалось, в этой всеобщей войне не было родственных или совсем не состоящих между собой в родстве наций, которые не были бы вовлечены в борьбу. Но главным образом мы воевали с французами, ибо во главе их стоял великий военачальник, которого мы ненавидели, но в то же время боялись и восхищались им.

Его могли изображать на картинах, воспевать в песнях или представлять самозванцем, но я скажу вам одно: этого человека боялись так, будто над всей Европой нависла грозная туча: было время, когда ночью, завидев огонь на берегу, все женщины падали на колени, а все мужчины хватались за ружья. Он всегда оставался победителем — и этим наводил на всех такой ужас. Казалось, что не он подчиняется судьбе, а она ему. Сначала он объявился на северном берегу, у него было сто пятьдесят тысяч человек войска — всё старые и brave солдаты — и суда для переправы. И тогда, как вы помните, треть взрослого населения нашей родины взялась за оружие, и наш маленький одноглазый и однорукий военачальник уничтожил их флот. В Европе оставалась всего одна страна, в которой могли свободно говорить и мыслить — наша.

На холме, около устья Твида, был приготовлен костёр для сигнального огня, — он был сложен из брёвен и смоляных бочек. Я хорошо помню, как каждую ночь, напрягая зрение, вглядывался в темноту и ждал, не загорится ли этот костёр. В ту пору мне было всего восемь лет, но в этом возрасте ребёнок уже понимает, что значит война, и мне казалось, что судьба моей родины зависит от меня и от моей бдительности. И вот как-то раз ночью я вдруг увидел, что на сторожевом холме загорелся огонёк. Язык пламени был ясно виден в темноте. Я помню, как тёр себе глаза, щипал себя и стучал костяшками пальцев по каменному подоконнику, дабы убедиться, что всё это происходит наяву. Затем пламя разгорелось сильнее, и я увидел на воде красную дрожащую полосу; я бросился к отцу с криком, что французы переплыли канал и что в устье Твида горит сигнальный огонь. Отец разговаривал в это время с мистером Митчелом, студентом-юристом из Эдинбургского университета, и я

точно теперь вижу, как он выбил золу из своей трубки об угол камина и посмотрел на меня сквозь очки в роговой оправе.

— Да ты не напутал, Джек? — спросил он.

— Умереть на месте! — ответил я, задыхаясь.

Протянув руку, отец взял со стола «Библию» и, положив её себе на колени, раскрыл, как будто намереваясь прочесть нам что-нибудь, но вдруг захлопнул её и поспешно вышел на улицу. Мы, то есть студент-юрист и я, шли за ним следом до ворот, выходящих на большую дорогу. Отсюда были видны красное пламя огромного сигнального огня и другой огонь поменьше, горевший к северу от нас, в Эйтоне. К нам присоединилась мать, которая принесла два пледа, чтобы защитить нас от холода, и мы простояли у ворот до утра; говорили мы очень мало и шёпотом. Движение по дороге не прекращалось всю ночь, потому что многие фермеры из нашей местности записались в бервикские полки добровольцев и теперь мчались во весь опор на смотр. Некоторые из них перед отъездом пропустили на прощание стакан-другой, и мне никогда не забыть одного из них, который промчался мимо на большой белой лошади, размахивая огромной заржавевшей саблей. Пронсясь мимо нас, они кричали, что горит северный Бервикский сигнальный огонь и, судя по всему, тревога идёт из Эдинбургской крепости. Некоторые скакали галопом в другом направлении — это были курьеры, посланные в Эдинбург, сын лендлорда, мастер Клейтон — помощник шерифа, и другие. В числе прочих был человек благородного сложения, довольно полный, на саврасой лошади: подъехав к нашим воротам, он спросил что-то насчёт дороги. Он снял с головы шляпу, чтобы освежиться, и я увидел удлинённое лицо, добрые глаза и высокий выпуклый лоб, окаймлённый прядями рыжих волос.

— Я полагаю, это ложная тревога, — сказал он. — Может быть, мне разумнее было остаться на месте; но теперь, проделав такой путь, я позавтракаю вместе с полком.

Он пришпорил лошадь и умчался вниз по склону.

— Я хорошо его знаю, — сказал студент, указывая на него кивком головы. — Он эдинбургский адвокат и мастерски пишет стихи. Его зовут Вальтер Скотт.

В то время никто из нас не слышал этого имени; но вскоре после того оно прогремело по всей Шотландии, и мы не раз вспоминали, как в эту ужасную ночь он спрашивал у нас дорогу.

На рассвете мы совсем успокоились. Было пасмурно и холодно, и мать пошла домой, чтобы заварить нам чаю; вдруг на дороге показался кабриолет, в котором сидели доктор Хорскрофт из Эйтона и его сын Джим. Воротник коричневого докторского пальто был поднят вверх и закрывал доктору уши; он был, повидимому, в самом мрачном настроении. А случилось вот что: Джим, которому было всего пятнадцать лет, как только поднялась тревога, отправился в Бервик, захватив с собой новенькое отцовское ружьё. Отец догонял его всю ночь, и теперь Джим сидел в кабриолете пленником, а сзади него торчал ствол украденного ружья. Вид у него был такой же угрюмый, как и у его отца; он засунул руки в карманы, насупил брови и выпятил нижнюю губу.

— Всё это выдумки! — закричал громким голосом доктор, проезжая мимо нас. — Не было никакого десанта, а все дураки в Шотландии зачем-то ринулись сами не знают куда.

Услышав такие слова, Джим огрызнулся, а отец двинул его по голове кулаком так, что бедняга ударился подбородком о грудь. Мой отец покачал головой, потому что он любил Джима; потом мы все пошли в дом, валясь с ног от усталости: у нас слипались глаза, но на душе было так легко, как после этого бывало со мной всего раз или два за всю жизнь.

Впрочем, всё это почти не имеет никакого отношения к тому, о чём я хочу рассказать моим читателям; просто если у человека хорошая память, а умения мало, то к одной мысли у него прицепляется целый хвост других. Впрочем, теперь, вспоминая о случившемся тогда, я вижу, что всё это имело некоторое отношение к моему рассказу: дело в том, что доктор Хорскрофт так рассердился на своего сына, что отправил его в Бервикскую школу, а так как мой отец давно хотел послать меня туда же, то и он воспользовался этим случаем.

Но прежде, чем рассказать об этом заведении, вернусь к тому, с чего бы я должен был начать, и дам вам некоторое понятие о себе — кто я такой, потому что, может быть, книга моя дойдёт и до тех, кто живёт за пограничной областью и никогда не слышал о Колдерах из Вест-Инча.

Вест-Инч! Название это звучит очень громко, но обозначало оно отнюдь не красивое

имение с хорошим домом. Вест-Инч состоял из обширного овечьего выгона с выщипанной травой, по которому свободно гулял ветер и который местами спускался до самого морского берега; человек, живущий умеренно, должен был здесь работать не покладая рук только для того, чтобы заплатить поземельный налог и есть по воскресеньям масло вместо патоки. Посредине стоял серый каменный дом, крытый черепицей, позади которого находился скотный двор, а над дверной притолокой была высечена на камне цифра 1703. Здесь более ста лет жили наши предки, которые наконец, несмотря на свою бедность, заняли видное место среди местных жителей, потому что в деревне старый йомен порой пользуется большим уважением, чем лендлорд.

Наш дом в Вест-Инче был замечателен в одном отношении: землемеры и другие сведущие люди вычислили, что пограничная линия между двумя странами проходит как раз посредине его и разделяет одну из спален на две половины — английскую и шотландскую. А кровать, на которой я всегда спал, была поставлена так, что моя голова приходилась на север от пограничной линии, а ноги — на юг от неё. Мои приятели говорят, что если бы кровать была поставлена иначе, у меня не было бы таких рыжих волос и мой ум не отличался бы такой обстоятельностью. Сам же я знаю только одно: не раз и не два, когда мой шотландский ум не мог придумать, как избежать опасности, меня выручали здоровые, крепкие английские ноги. Однако в школе меня часто дразнили «половиной напополам», или «Великобританией», а иногда «английским флагом». Когда происходило сражение между шотландскими и английскими мальчиками, одна сторона била меня по ногам, а другая отвешивала затрешины, а затем обе стороны принимались хохотать, как будто тут было что-то смешное.

Поначалу я не прижился в Бервикской школе. Старшим учителем у нас был Бертуйстл, а младшим Адамс, но я не любил ни того, ни другого. Я был робок и вял от природы, не умел расположить к себе учителей и завести товарищей. По прямой от Бервика до Вест-Инча девять миль, а по дороге — одиннадцать с половиной, и я тосковал, потому что было далеко от матери. В этом возрасте мальчики говорят, что не нуждаются в ласках матери, но как грустно делается, когда тебя поймают на слове! Наконец я не мог больше этого выносить и решился бежать из школы. Однако в самую последнюю минуту мне удалось заслужить похвалу всех и каждого, начиная от старшего учителя и кончая последним слугой, после чего жизнь в школе сделалась для меня лёгкой и приятной; а всё это благодаря тому, что я случайно упал из окна второго этажа.

Вот как это случилось. Однажды вечером меня ударил ногой Нед Бертон, первый забияка, и эта обида в соединении с другими огорчениями переполнила чашу моих страданий. В эту ночь я, спрятав заплаканное лицо под одеяло, поклялся, что следующее утро встречу если не в Вест-Инче, то на дороге к нему. Наша спальня была на втором этаже, но я отлично умел лазить, и у меня не кружилась голова на большой высоте. Мне ничего не стоило, привязав к ноге верёвку, спуститься с крыши высотой в тридцать пять футов. Поэтому мне нечего было бояться, что я не выберусь из спальни. Я дождался, когда ученики перестали кашлять и ворочаться: это ожидание показалось мне целой вечностью. Наконец все заснули; тогда я потихоньку встал с постели, кое-как оделся, взял сапоги в руку и подошёл на цыпочках к окну. Отворив окно, я выглянул наружу. Подо мной был сад, а рядом — толстый сук груши, который ничего не стоило достать рукой. Для ловкого мальчика он мог служить отличной лестницей. Из сада же оставалось перелезть через стену, пять футов вышины, и тогда меня отделяло бы от дома одно только расстояние. Крепко ухватившись одной рукой за сук, я уперся коленом и другой рукой в подоконник и хотел уже вылезти из окна, как вдруг остановился и словно окаменел. Из-за стены на меня смотрело чьё-то лицо. Я застыл на месте, увидев, до чего оно бледно и неподвижно. Оно было освещено луной, глаза медленно двигались, озираясь вокруг, но я был скрыт от них листвой грушёвого дерева. Затем лицо поднялось вверх, точно от толчка, показались шея, плечи и колени мужчины. Сев на стену, он с большим усилием поднял вслед за собой мальчика, одинакового со мною роста, который время от времени тяжело вздыхал, как будто глотая слёзы. Мужчина встряхнул его и вполголоса выругался, после чего оба они спустились со стены в сад. Я всё стоял, поставив одну ногу на сук, а другую на подоконник, не смея шевельнуться, чтобы не привлечь к себе их внимание, но мне было слышно, как они крадутся в тени здания. Вдруг прямо у меня под ногами раздалось какое-то царапанье, а затем резкий звон падающего стекла.

— Готово, — шёпотом сказал мужчина. — Теперь пролезешь.
— Но края режутся! — воскликнул мальчик слабым дрожащим голосом.
Мужчина так выругался, что меня продрал мороз по коже.
— А ну, полезай, щенок! — рявкнул он, — Не то...
Я не видел, что он сделал, но вслед за тем послышался крик боли.
— Лезу! Лезу! — закричал мальчик.

А больше я уже ничего не слышал, потому что у меня вдруг закружилась голова и моя пятка соскользнула с сука. Я испустил ужасный крик и всей тяжестью своего тела, в котором было девяносто пять фунтов, рухнул прямо на согнутую спину вора. Если вы спросите меня, почему я это сделал, я отвечу вам, что и сам до сих пор не знаю толком, было ли это простой случайностью или же умыслом. Весьма возможно, я и собирался поступить таким образом, а случай устроил остальное. Вор выставил вперёд голову и наклонился, стараясь пропихнуть мальчика в маленькое окошко, тут-то я и упал на него, на то место, где шея соединяется с хребтом. Он издал какой-то свист, упал ничком и покатился по траве, стуча пятками. Его маленький спутник пустился при лунном свете бежать со всех ног и в один миг перелез через стену. Что же касается меня, то я сидел на земле, орал благим матом и тёр рукою одну из ног: её как будто бы стянули раскалённым докрасна обручем.

Само собою, в сад сбежались все обитатели школы, начиная с главного учителя и кончая последним конюхом, с лампами и фонарями. Дело вскоре выяснилось; вора положили на ставень и унесли из сада, меня же с большой торжественностью доставили в особенную спальню, где кость мне вправил хирург Парди, младший из двух братьев, носивших эту фамилию. Что касается вора, у него отнялись ноги, и доктора не могли сказать утвердительно, будет он владеть ими или нет. Но закон не стал ждать их окончательного решения, потому что через шесть недель после Карлайлской сессии суда он был повешен. Оказалось, что это был самый отчаянный преступник в Северной Англии, совершивший три убийства, и вообще за ним было столько преступлений, что его стоило бы повесить не один раз, а десять.

Рассказывая о своём отрочестве, я не могу не упомянуть об этом случае, так как тогда он был самым важным событием в моей жизни. Больше я не буду отклоняться от главного предмета; как подумаю, сколько мне нужно всего сказать, аж страшно делается: когда человек рассказывает только о своей жизни, то и это отнимает у него кучу времени; но когда он принимал участие в таких важных событиях, о каких я буду говорить, то задача и вовсе делается непосильной, особенно с непривычки. Но, слава Богу, у меня такая же хорошая память, как и раньше, и я постараюсь поведать вам решительно обо всём.

После истории с вором я подружился с Джимом Хорскрофтом, сыном доктора. Он с первого дня поступления в школу был самым смелым в драках и всего через час после приезда перебросил Бертон, который до него считался самым сильным из учеников, через классную доску. Джим всегда отличался крепкими мускулами и широкой костью и даже в то время был широкоплеч и высок, много не разговаривал, давал волю рукам и очень любил стоять, прислонясь к стене и глубоко засунув руки в карманы брюк. Я даже помню, что он шутики ради держал во рту сбоку соломинку, именно так, как впоследствии держал трубку. Каким героем он казался нам тогда!

Мы были не больше как маленькие дикари и, подобно дикарям, чувствовали уважение к силе. Был у нас Том Карндел из Эпплбоя, который писал алкаические стихи так легко, будто бы с детства только и знал, что всякие пентаметры и гекзаметры, но никто из учеников не обращал на Тома ни малейшего внимания. Был ещё Вилли Ирншоу, который знал решительно все даты, начиная с убийства Авеля, так что к нему обращались за справкой даже учителя, но у этого мальчика была узкая грудь, хотя он и был высок ростом. И что же, разве помогло ему знание дат, когда Джек Симонс из младшего класса гнал его по всему коридору ремнём с пряжкой на конце. С Джимом Хорскрофтом так не поступали. Какие рассказы о его силе передавали мы друг другу шёпотом! Как он проломил кулаком филёнку дубовой двери в комнате отдыха, а когда в бейсбольном матче Долговязый Мерридю унёс мяч, он схватил Мерридю с мячом, поднял вверх и, минуя всех соперников, добежал до цели. Нам казалось ни с чем несообразным, чтобы такой человек, как он, стал ломать себе голову из-за каких-то там спондеев и дактилей или непременно знал, кто подписал Великую Хартию. Когда он сказал при всём классе, что её подписал король Альфред, то мы, маленькие, подумали, что, по

всей вероятности, так оно и есть и что уж наверное Джим знает лучше, чем тот, кто написал учебник. Ну так вот, случай с вором и обратил на меня его внимание, он погладил меня по голове и сказал, что я храбрый чертёнок, и я по крайней мере неделю не чуял под собой ног от гордости. Целых два года мы были с ним очень дружны, и хотя в сердцах или не подумав он часто обижал меня, я любил его как брата и так плакал, что слёз набралось бы с целый чернильный пузырь, когда он уехал от нас в Эдинбург, чтобы там изучать профессию своего отца. Я после него пробыл в школе ещё пять лет и под конец тоже сделался самым сильным учеником: я был крепким, как китовый ус, хотя что касается веса и мускулов, я уступал моему знаменитому предшественнику. Я вышел из школы Бертуйстла в год юбилея и после того три года прожил дома, разводя овец. Но корабли на море и армии на суше всё ещё сражались, и на нашу страну падала грозная тень Бонапарта. Мог ли я знать, что и мне также доведётся поспособствовать тому, чтобы тень эта перестала пугать наш народ?

Глава Вторая **КУЗИНА ЭДИ ИЗ АЙМАУСА**

За несколько лет до рассказанных мною происшествий, когда я был ещё маленьким мальчиком, к нам приехала погостить недель на пять единственная дочь брата моего отца. Вилли Колдер, поселившийся в Аймаусе, плёл рыбачьи сети и этим плетением добывал больше, чем мы в Вест-Инче, где на песчаной почве рос один лишь вереск. Его дочь, Эди Колдер, приехала в гости в хорошеньком красном платье и шляпке, которая стоила пять шиллингов, с чемоданом, наполненным вещами, на которые моя мать смотрела с большим удивлением. Нам казалось странным, что эта девочка тратит так много денег: она дала извозчику столько, сколько он с неё запросил, и прибавила ещё два пенса. Она пила имбирное пиво, как мы воду, и требовала, чтобы в чай ей клали сахару, а с хлебом подавали масло, точно она была англичанкой.

Я тогда не обращал большого внимания на девочек, потому что не понимал, на что они могут быть годны. В школе мы не придавали им никакого значения; впрочем, ученики постарше думали несколько иначе. Мы, малыши, все были одинакового мнения: какая может быть польза от существа, которое не умеет драться, постоянно сплетничает, а если запустить в него камнем, начинает трястись, точно тряпка под ветром? А ещё они напускают на себя такую важность, точно отец и мать в одном лице, и пристают со всякими глупостями вроде: «Джимми, у тебя виден палец из сапога», или: «Ступай домой, грязный мальчишка, и умойся», — так что на них делается противно смотреть.

Поэтому, когда вышеупомянутая девочка поселилась в Вест-Инче, я не особенно обрадовался. Мне тогда исполнилось двенадцать лет (это было на праздник), а ей — одиннадцать; она была худенькой девочкой, довольно высокой, с чёрными глазами и очень смешными манерами. Она всегда смотрела перед собой, разинув рот, будто видела что-то удивительное; но когда я становился позади неё и смотрел в ту же сторону, куда глядела и она, то не видел ничего, кроме поилки для овец, или навозной кучи, или же отцовского нижнего белья, висящего на жерди для просушки. А если она видела поляну, поросшую вереском или папоротником, или какие-нибудь самые обыкновенные вещи в этом же роде, то начинала сентиментальничать, как будто бы это поразило её. Вскрикивала: «Как мило! Как чудесно!» — как будто бы перед ней была нарисованная картина. Она не любила никаких игр, и хотя я заставлял её играть в пятнашки и в другие игры, с ней было совсем неинтересно, потому что я мог поймать её в три прыжка, а ей никогда не удавалось поймать меня, а когда она бежала, то махала руками и топала, как десяток мальчиков. Когда я говорил, что она ни на что не годна и что отец зря воспитывает её таким образом, она принималась плакать и говорила, что я грубый мальчик и что она нынче же вечером уедет домой и во всю жизнь не простит меня. Но через пять минут она совершенно забывала свою обиду. Странно, что она любила меня больше, чем я её, никогда не оставляла меня в покое, ходила за мной по пятам и говорила «А, так вот ты где!», как будто мы встретились случайно. Впрочем, в ней было кое-

что и хорошее: она иногда давала мне пенни, так что однажды у меня в кармане собралось целых четыре пенса. А всего лучше было то, что она умела рассказывать разные истории. Так как она страшно боялась лягушек, то я обыкновенно приносил лягушку и говорил, что засуну ей лягушку за платье, если она не расскажет мне что-нибудь. Уловка всегда удавалась, и она начинала рассказывать; ей стоило только начать, а уж дальше она говорила как по писаному. У меня захватывало дух, когда я слушал о её приключениях. В Аймаус приезжал какой-то варварский пират, который опять приедет через пять лет на корабле, наполненном золотом, и женится на ней; а потом там был странствующий рыцарь, который дал ей кольцо и сказал, что выкупит его, когда придёт время. Она показывала мне кольцо, очень похожее на те, что были пришиты к пологу моей кровати, но она утверждала, что её кольцо из чистого золота. Я спрашивал у неё, что же сделает рыцарь, если встретится с варварским пиратом, и она говорила в ответ, что он снесёт ему с плеч голову. Я никак не мог понять, что такого находили в ней все эти люди. Ещё она говорила, что её провожал в Вест-Инч переодетый принц. Я спросил, как же она узнала, что это принц, а она ответила: «Потому что он был переодет». В другой раз она сказала, что её отец придумывает загадку, а когда придумает, то напечатает в газетах, и тот, кто её отгадает, получит половину его состояния и руку его дочери. Я сказал на это, что хорошо умею отгадывать загадки и что она должна прислать её мне, когда та будет придумана. Она ответила, что загадка будет напечатана в «Бервикской газете», и пожелала узнать, что я сделаю с ней, когда получу её руку. Я ответил на это, что продам её с аукциона за столько, сколько за неё дадут; в этот вечер она больше не стала ничего рассказывать, потому что была чем-то очень обижена.

Пока кухня Эди гостила у нас, Джима Хорскрофта не было дома, но он вернулся на той неделе, когда она уехала, и, помню, я очень удивился, когда он стал о ней расспрашивать. Он спросил у меня, хороша ли она собою, а когда я ответил, что я этого не заметил, он засмеялся, назвал меня кротом и сказал, что придёт время, когда у меня откроются глаза. Впрочем, вскоре он занялся другими делами, а что касается меня, то я не вспоминал об Эди до тех пор, пока она не взяла в свои руки мою жизнь и не стала вертеть ею так же, как я верчу это перо.

Это было в 1813 году, после того как мне исполнилось восемнадцать лет и я вышел из школы: на моей верхней губе уже показалось волосков с сорок, и была надежда, что их вырастет ещё больше. Со мной произошла перемена: игры уже не занимали меня так, как прежде, вместо этого я подолгу лежал на освещённых солнцем склонах холмов, разинув рот и смотря во все глаза, совершенно так, как это делала прежде кухня Эди. Прежде мне было довольно того, что я бегаю быстрее и прыгаю выше соседа по школьной скамье, это наполняло смыслом всю мою жизнь; теперь всё это казалось совсем неважным: я всё о чём-то грустил, глядя вверх на высокий небесный свод и вниз на поверхность синего моря, и чувствовал, что мне чего-то недостаёт, но не мог выразить, чего именно. И, кроме того, я сделался очень вспыльчивым: у меня, повидимому, были расстроены нервы, и когда моя мать спрашивала, что такое со мной, или отец говорил, что пора заняться делом, я отвечал так резко, что сам впоследствии сожалел об этом. Ах! У человека может быть не одна жена, он может иметь несколько детей, но у него никогда не будет другой матери, и поэтому пусть он обращается с ней нежно, пока может.

Однажды, вернувшись домой от овец, я увидел, что отец сидит с письмом в руке; такое случалось очень редко, разве только в тех случаях, когда фактор писал, что пора платить поземельный налог. Я подошёл и увидел, что отец плачет. Я стоял и смотрел на него во все глаза: я всегда думал, что мужчине это не подобает. Я и сейчас его вижу очень ясно: на его загорелой щеке была глубокая морщина, через которую слёзы не могли перелиться, поэтому они текли вкось к ушам и оттуда падали на лист бумаги. Около него сидела мать и гладила его руки, как гладила по спине кошку, когда хотела её успокоить.

— Да, Дженни, — сказал он, — не стало бедного Вилли. Это письмо от его поверенного. Смерть была внезапная, иначе нас известили бы раньше. Поверенный пишет, что у него был карбункул и кровоизлияние в мозг.

— Ах, теперь его страдания прекратились, — сказала мать.

Отец обтёр уши постланной на стол скатертью.

— То, что он скопил, он оставил своей дочери, — сказал он, — и если только она не переменялась, то она скорёхонько всё истратит. Ты помнишь, что она говорила о слабом чае,

когда жила у нас, а ведь чай стоит семь шиллингов за фунт.

Мать покачала головой и посмотрела на окорока ветчины, свисающие с потолка.

— Поверенный не пишет, сколько именно оставил покойный, только говорит, что ей хватит с избытком. Он пишет также, что она приедет сюда и будет жить с нами, потому что таково его предсмертное желание.

— Пускай платит за своё содержание! — закричала резким тоном мать. Меня огорчило, что она в такое время заговорила о деньгах, но не позаботься она об этом, через год мы были бы выброшены на большую дорогу.

— Да, она будет платить и приедет к нам сегодня же. Послушай, Джек, сын мой, поезжай-ка ты в Эйтон и дожись там вечернего дилижанса. В нём приедет твоя кузина Эди, и ты привезёшь её в Вест-Инч.

В четверть шестого я запряг старого Джонни в нашу телегу, у которой был недавно выкрашен задок и в которой мы ездили только по праздникам. Дилижанс прибыл чуть раньше, и я, глупый деревенский парень, не принимая в расчёт того, что прошло несколько лет, искал в толпе, стоящей перед постоялым двором, худенькую девочку, в юбочке до колен. Пока я толкался и вытягивал шею, как журавль, меня вдруг кто-то тронул за локоть, и я увидел на подножке даму в чёрном; я понял, что это и есть моя кузина Эди. Я понял, говорю, но если бы она меня не тронула, я прошёл бы мимо двадцать раз и ни за что не узнал бы её. Честное слово, если бы Джим Хорскрофт спросил у меня теперь, хорошенькая она или нет, я сумел бы ему ответить! Она была смуглая, гораздо смуглее девушек в нашей пограничной области, с лёгким румянцем, пробивающимся сквозь смуглый цвет кожи, подобно яркому тону в нижней части лепестков чайной розы. У неё были пунцовые губы, выражающие доброту и твёрдость; и затем я заметил плутовской и насмешливый огонёк, который таился в глубине её больших чёрных глаз, показываясь на минуту и опять скрываясь. Она обошлась со мной так, будто бы я достался ей по наследству: величаво и покровительственно протянула мне руку. Она была, как я уже сказал, в чёрном: платье на ней было какого-то удивительного фасона, чёрная вуаль откинута назад.

— Ах, Джек, — сказала она, жеманясь на английский манер, — этому она научилась в пансионе. — Нет, нет, мы теперь уже не маленькие.

Эти слова она произнесла, потому что я самым неуклюжим образом приблизил к ней своё глупое загорелое лицо, чтобы поцеловать её, как тогда, когда виделся с ней последний раз.

— Влезьте поскорее наверх, голубчик, и дайте шиллинг кондуктору, он был необыкновенно учтив со мной всю дорогу.

Я покраснел до ушей, потому что у меня в кармане была только одна четырёхпенсовая серебряная монета. Никогда я не ощущал свою бедность так сильно, как в ту минуту. Но она сразу поняла, в чём дело, и мигом всунула мне в руку кожаный кошелек с серебряным замочком. Я заплатил кондуктору и хотел отдать кошелек назад, но она пожелала, чтобы он остался у меня.

— Вы будете моим кассиром, Джек, — сказала она со смехом. — Это ваш экипаж? Какой смешной! Где же мне сесть?

— На сиденье, — отвечал я.

— А как на него забраться?

— Поставьте ногу на ступицу колеса, я вам помогу.

Я вскочил в телегу и взял в свою руку обе её маленькие ручки в перчатках. Когда она взбиралась наверх, я почувствовал на своём лице её дыхание, душистое и тёплое, и казалось, что всё, что было смутного и беспокойного у меня на душе, отлетело в одну минуту. Я почувствовал, что за эту одну минуту я возмужал и сделался совсем другим человеком.

Лошадь, наверное, едва успела махнуть хвостом, — времени прошло не больше, — а между тем со мной что-то произошло, упала некая преграда, и я зажил новой, более зрелой жизнью. Всё это я ощутил в один миг, но так как я был робок и необщителен, то только оправил для неё сиденье. Она следила глазами за дилижансом, который, гремя колёсами, покатила назад в Бервик, и вдруг начала махать платком.

— Он снял шляпу, — сказала она. — Должно быть, он офицер. Очень изящный мужчина. Может быть, вы его заметили? Джентльмен, который занимал место в имперiale, очень

красивый, в коричневом пальто.

Я покачал головой, и радость уступила место глупой злобе.

— Ах, я никогда больше не увижу его! Эти зелёные склоны холмов и серая выходящая лентой дорога — всё, как и прежде. Да и в вас, Джек, я не вижу большой перемены. Кажется, только манеры у вас стали получше. Ведь вы не будете больше пускать мне за спину лягушек, не будете? Я начинаю дрожать при одной только мысли об этом.

— Мы сделаем всё, чтобы вам хорошо жилось в Вест-Инче, — сказал я, помахивая бичом.

— Вы такие добрые, право, что приняли к себе бедную, одинокую девушку, — сказала она.

— Это — любезность с вашей стороны, что вы едете к нам, кузина Эди, — проговорил я, заикаясь. — Но я боюсь, вам покажется у нас скучно.

— Ведь у вас тут мало развлечений, да, Джек? Кажется, у вас почти нет соседей-мужчин, ведь так?

— Да, разве что майор Элиот, который живёт в Корримюре. Он иногда приходит к нам по вечерам. Он храбрый старый служака, был ранен пулей в колено, когда служил под началом Веллингтона.

— Ах, когда я говорю о мужчинах, Джек, это вовсе не значит, что я говорю о стариках, раненных в колено. Я говорю о людях нашего с вами возраста, с которыми можно было бы познакомиться. Да, кстати, — кажется, у этого старого ворчуна доктора был сын?

— Да. Джим Хорскрофт, мой закадычный друг.

— А что, он живёт дома?

— Нет, но скоро вернётся. Сейчас он в Эдинбурге, он там учится.

— Ну так мы будем проводить время вдвоём, до тех пор, пока он не вернётся. Но я очень устала и хотела бы поскорее доехать до Вест-Инча.

Я заставил старика Джонни приналечь, и через час после этого разговора она уже сидела за ужином; моя мать поставила на стол не только масло, но даже хрустальную тарелку с вареньем из крыжовника; тарелка эта очень красиво блестела при свете свечи.

Я видел, что и родители мои так же, как я, поражены происшедшей с ней переменой, хотя у них это выражалось иначе.

Моя мать так поразила тому, что у неё на шее надето что-то из перьев, что называла её не просто Эди, а мисс Колдер, так что наконец моя кузина, у которой были такие милые, грациозные манеры, стала поднимать вверх указательный пальчик всякий раз, как слышала это. После ужина, когда она пошла спать, мои родители только и говорили о том, какой у неё вид и как она воспитана.

— Впрочем, надо сказать, — заметил мой отец, — что-то не видно, чтобы она особенно горевала.

И только тут я вспомнил, что с тех пор как я с ней встретился, она не сказала ни слова о своей утрате.

Глава Третья **ТЕНЬ НА МОРЕ**

В скором времени кузина Эди сделалась в Вест-Инче королевой, а мы все, начиная с отца — её покорными подданными. Когда мать сказала, что её содержание обойдётся не дороже четырёх шиллингов в неделю, Эди, по своей доброй воле, назначила плату в семь шиллингов и шесть пенсов. Ей отдали комнату, выходящую на юг, где было всего больше солнца и окно оббито жимолостью; чтобы обставить её, она привезла из Бервика восхитительные вещи. Она ездила туда два раза в неделю, но наша телега показалась ей неподходящей, так что она нанимала двухколёсный фэтон у Энгуса Уайтхеда, ферма которого стояла за холмом. И она почти всякий раз привозила подарки: деревянную трубку отцу, шотландский плед матери, какую-нибудь книгу мне, медный ошейник для Роба — нашей

овчарки. Кажется, не было на свете женщины щедрее её.

Но самым лучшим подарком для нас было её присутствие. Благодаря ему даже окрестности приняли для меня иной вид: с того дня как она приехала, солнце светило ярче, склоны холмов казались зеленее и воздух приятнее. Наша жизнь уже не была однообразною, как прежде: мы удостоились общества такой замечательной девушки, и старый мрачный серый дом казался мне совсем другим с тех пор, как она прошла по циновке, лежащей у входной двери. Не лицо её, хотя оно было привлекательным, и не фигура, хотя я не видывал девушки, которая могла бы сравняться с ней статью, но её ум, её оригинальное обращение, в котором проглядывала насмешка, её новая для нас манера говорить, гордо везти за собой шлейф и вскидывать голову, заставляли почувствовать себя простой землёй под её ногами; но вдруг её быстрый, вызывающий на откровенность взгляд и доброе слово опять ставили вас на один уровень с нею. Впрочем, не совсем на один уровень. Мне всегда казалось, что она стоит выше меня и ушла далеко вперёд. Я мог убеждать самого себя, бранить себя и делать что мне угодно, но не мог заставить себя думать, что в наших жилах течёт одна и та же кровь и что она всего лишь деревенская девушка, так же как я — всего лишь деревенский парень. Чем больше я любил её, тем больше я её боялся, и она поняла, что я боюсь её, раньше, чем распознала мою любовь. Когда я был не с ней, я находился в тревожном состоянии, а когда был с ней, то дрожал всё время, потому что боялся надоесть ей своими нескладными речами или чем-нибудь оскорбить её. Если бы я тогда лучше знал женщин, то не стал бы так мучиться.

— Вы очень переменились, Джек, и стали совсем не таким, как прежде, — сказала она как-то раз, искоса поглядывая на меня из-под своих чёрных ресниц.

— А когда мы с вами встретились, то вы сказали, что я не очень переменился, — заметил я.

— Ах! Тогда я говорила о том, что вы не очень переменились на вид, а теперь говорю о вашей манере держать себя. Прежде вы обращались со мной так грубо, так повелительно, всё хотели делать по-своему, точно маленький мужчина. Я помню ваши всклокоченные волосы и плутовские глаза. А теперь вы такой кроткий, такой скромный и говорите так тихо.

— С годами человек привыкает держать себя как следует, — заметил я.

— Ах, да, но скажу вам, Джек, что в прежнем виде вы нравились мне гораздо больше.

Я посмотрел на неё с удивлением: я думал, что она не может мне простить того, как я обращался с ней. Я решительно не мог понять, как человеку в здравом уме это могло нравиться. Я вспомнил, что когда она читала, сидя у входной двери, я выходил во двор с хлыстом из орешника, на конце которого было шесть маленьких глиняных шариков, и бросал в неё этими шариками, чем доводил её до слёз. Потом я вспомнил, как поймал угря в ручейке в Корримюре и с ним гонялся за ней, пока наконец она с криком не прибежала к моей матери и не спряталась под её фартук; отец ударил меня по уху уполовником, что сшибло меня с ног, и я вместе с угрём покатился под кухонный шкаф для посуды. И этого ей теперь недостаёт. Всё равно она больше ничего такого не увидит, потому что у меня скорее отсохнет рука, чем я стану так поступать. Но только теперь я стал понимать эту странность женского характера, а также то, что мужчина не должен рассуждать о женщине, только наблюдать и стараться понять её.

Вскоре у нас с ней установились известные отношения: она поняла, что может делать что угодно и как угодно, может распоряжаться мной точно так же, как я распоряжался старым Робом. Думаете, я был глуп, что позволил вскружить себе голову? Может быть, я действительно был глуп, но при этом вы должны помнить, что раньше я совсем не видал женщин, а теперь нам часто приходилось быть вместе. Кроме того, она была не из простых женщин, и нужно иметь очень крепкую голову, чтобы она её не вскружила.

Да вот хоть бы майор Элиот, человек, который схоронил трёх жён и участвовал в двенадцати настоящих сражениях, — и его Эди могла обернуть кругом своего пальчика, точно мокрую тряпку, — она, девушка, только что вышедшая из пансиона. Я встретил его, когда он шёл, прихрамывая, из Вест-Инча, в первый раз после того как она приехала, с румянцем на щеках и блестящими глазами, так что казался лет на десять моложе. Он закручивал свои седые усы до самых глаз и так гордо выступал здоровой ногой, точно музыкант, играющий на духовом инструменте. Бог знает, что она сказала ему, но только её слова подействовали на его кровь точно старое вино.

— Я шёл к тебе, парень, — сказал он, — но, как видишь, не застал. Впрочем, я приходил не задаром, потому что имел возможность увидеть *la belle cousine**. Прелестная, очаровательная молодая особа, скажу тебе, парень.

Он выражался очень правильно и точно, и любил иногда вернуть в свою речь какое-нибудь французское слово, потому что в бытность свою на континенте немножко научился этому языку. Он так и продолжал бы говорить о кузине Эди, но я увидал, что из кармана у него торчит уголок газеты, и понял, что он, по своему обыкновению, приходил к нам сообщить последние новости: мы, живя в Вест-Инче, почти ни о чём не слыхали.

— Что новенького, майор? — спросил я.

Он вытащил из кармана газету и помахал ею.

— Союзники одержали большую победу, сын мой. Думаю, Наполеон не сможет долго сопротивляться. Саксонцы оттеснили его, и он был совершенно разбит при Лейпциге. Веллингтон перешёл Пиринеи, и полки Грэма скоро будут в Болонье.

Я подбросил вверх свою шляпу.

— Значит, войне скоро конец! — воскликнул я.

— Да и пора, — сказал он, строго кивнув. — Это была кровопролитная война. Ну, теперь уже не стоит говорить о том, какой план был у меня в голове относительно тебя.

— Какой план?

— Да вот какой, мой милый: у тебя тут нет настоящего дела, а так как теперь колено у меня стало лучше разгибаться, я надеялся опять поступить на службу в действующую армию. Я думал, что и ты мог бы пойти в солдаты и послужить под моим начальством.

При одной мысли об этом у меня сильно забило сердце.

— Как бы я этого хотел! — воскликнул я.

— Но ведь пройдёт не меньше шести месяцев, прежде чем я буду в состоянии сесть на корабль, а почём знать, может быть, Бони* к тому времени будет уже где-нибудь в заточении.

* Бони — уменьшительное от «Бонапарт», так англичане пренебрежительно называли французского императора Наполеона. (Л.Г.)

— А что скажет моя мать? — спросил я. — Она меня ни за что не отпустит.

— Ах, да теперь её и спрашивать не нужно, — ответил он и пошёл, прихрамывая, своей дорогой.

Я сел на землю среди вереска и, подперев подбородок рукой, задумался, глядя вслед майору, который шагал вперёд в своём старом коричневом платье и сером пледе, конец которого развевался по ветру, выбирая место, где удобнее идти вверх по холму. Здесь, в Вест-Инче, где я обречён оставаться до тех пор, пока не займу место отца, — жалкая жизнь: перед моими глазами вечно будут та же пустошь, тот же ручей, те же овцы и тот же серый дом. Но там, за синим морем! Там настоящая жизнь для мужчины. Вот майор — он человек не молодой, искалеченный и усталый, но и он думает о том, чтобы опять поступить на службу, а я, юноша в полной силе, трачу понапрасну время на склонах этих холмов.

Яркий румянец стыда залил мне лицо, и я вскочил с места, горя нетерпением поскорее уехать отсюда и жить как подобает мужчине. Я раздумывал об этом целых два дня, и вот на третий день случилось нечто такое, что заставило меня принять решение, которое потом, правда, рассеялось, точно дым в воздухе.

После полудня я пошёл погулять с кузиной Эди и Робом: мы спустились по склону холма до самого морского берега. То было поздней осенью и вереск завял и окрасился в бронзовый цвет, но солнце всё ещё светило ярко, было тепло, и по временам дул тёплый южный ветерок, от которого поверхность моря покрывалась рябью с белыми волнистыми линиями. Я нарвал папоротников, чтобы Эди могла прилечь, и вот она лежала, как и всегда, с беспечным видом, весёлая и довольная: я не встречал больше никого, кто так наслаждался бы теплом и светом, как она; я присел на кучку травы, а Роб положил мне голову на колени; мы сидели совершенно одни в этом диком месте, но даже и здесь нас настигла тень находившегося за морем великого человека, который красными буквами начертал своё имя на

* твою очаровательную кузину (франц.)

карте Европы.

По морю плыл степенный чёрный купеческий корабль, направлявшийся, вероятно, в Лит. У него были длинные реи, и он шёл на всех парусах. В другом направлении, с северо-востока, шли два больших, неуклюжих, похожих на люгеры судна, каждое с высокою мачтой и большим четырёхугольным серым парусом. Что могло быть прекраснее вида трёх судов, плывущих по морю в такую прекрасную погоду! Но вдруг на одном, а потом и на втором показались огонь от выстрела и клуб синего дыма, с корабля послышалась пушечная пальба. В один миг ад заменил собою рай, явив ненависть, жестокосердие и жажду крови.

Услышав выстрелы, мы вскочили на ноги, и Эди, которая дрожала, как осиновый лист, схватила меня за руку.

— Они сражаются, Джек, — воскликнула она. — Что это за люди? Кто они?

У меня при пушечных выстрелах сильно забилося сердце, и я, задышавшись, едва смог ответить:

— Это два французских капера, Эди. Французы называют их *chasse-marées*^{*}, а вон там наш купеческий корабль, и они захватят его — умереть мне на этом месте; потому что, майор говорил, на них всегда бывают пушки большого калибра, а матросов, как сельдей в бочонке. Отчего этот глупый корабль не плывёт назад к молу в устье Твида?

Но корабль и не думал спускать паруса — он, тяжело зарываясь в воду, продолжал плыть дальше, что было глупо с его стороны: внезапно чёрное ядро ударило в верхний конец его бизань-реи, сбив вниз флаг. Затем последовали выстрелы небольших корабельных пушек и громкая пальба больших каронад с кормы капера. Через минуту все три судна сошлись вместе, и купеческий корабль метался, подобно оленю, в бёдра которого вцепились зубами два волка. Все три силуэта слились в одно чёрное пятно с неясными очертаниями, окутанное дымом, из которого торчали, точно щетина, мачты и беспрестанно выскакивали красные огоньки; шла такая страшная пальба из пушек большого и мелкого калибра, что после у меня в течение нескольких недель гул стоял в ушах. Битый час облако, содержащее в себе сущий ад, медленно двигалось по воде, а мы, с замершими сердцами, не спускали глаз с флага, стараясь разглядеть, всё ли он на своём месте. И вот корабль, такой же гордый, как прежде, поплыл дальше своим путём; а когда рассеялся дым, то мы увидели, что один из люгеров тащится по воде, точно утка с подбитыми крыльями, а экипаж другого спешит перебраться в шлюпки прежде, чем он затонет.

В продолжение этого часа я ничего не видел и не слышал, кроме битвы. У меня снесло ветром шляпу, но я этого не заметил. Теперь, с сердцем, преисполненным радости, я повернулся к кухне Эди и увидел её такою, какой видел шесть лет тому назад. У неё были те же удивлённые, застывшие глаза и разинутый рот, как и когда она была ещё девочкой, и она так крепко сжала свои маленькие ручки, что костяшки стали похожи на слоновую кость.

— Ах, этот капитан! — воскликнула она, обращаясь к вересковой пустоши. — Какой сильный и решительный мужчина! Какая женщина не стала бы гордиться таким мужем!

— Да, он храбро сражался! — воскликнул я с восторгом.

Она посмотрела на меня так, будто совсем позабыла о моём присутствии.

— Я отдала бы целый год жизни за то, чтобы встретить такого человека, — промолвила она. — Но что значит жить в деревне! Тут только и видишь людей, которые ни на что не способны.

Уж не знаю, хотела она обидеть меня или нет, хотя за этим у неё, бывало, дело не станет: но каково бы ни было её намерение, её слова задели меня за живое.

— Очень хорошо, кухня Эди, — сказал я, стараясь говорить спокойным тоном. — Этим всё сказано. Сегодня же вечером я отправляюсь в Бервик и запишусь в вольноопределяющиеся.

— Как, Джек! Вы будете солдатом?

— Да, если вы думаете, что всякий, кто живёт в деревне, — трус.

— О, вы будете очень красивы в красном мундире, Джек, и вы делаетесь гораздо лучше, когда выходите из себя. Я хотела бы, чтобы у вас всегда так сверкали глаза, потому что это

^{*} *Chasse-marée* — быстроходный рыбачий трёхмачтовый баркас (*франц.*). Капер — судно, владельцы которого, с разрешения собственного правительства, занимались в море захватом торговых судов, принадлежащих враждебным своей стране державам. (*П.Г.*)

придаёт вам мужественный вид. Но я уверена, что вы шутите, когда говорите, что поступите на военную службу.

— Вот я вам покажу, шучу я или нет.

После этих слов я со всех ног побежал по пустоши и ворвался в кухню, где отец и мать сидели по обе стороны печи.

— Мама, — крикнул я, — я иду записываться в солдаты!

Если бы я сказал, что собираюсь сделаться вором, они посмотрели бы на меня точно такими же глазами, потому что в те времена из среды скромных и кротких деревенских жителей только паршивые овцы уходили в военное стадо. Но, честное слово, эти самые паршивые овцы оказали своей родине не одну важную услугу. Моя мать подняла руки в митенках к глазам, а отец почернел, как торф.

— Что такое, Джек? Ты с ума сошёл? — спросил отец.

— Сошёл я с ума или нет, но только я ухожу.

— Когда так, я не дам тебе благословения.

— Ну так я уйду без него!

При этих словах мать вскрикнула и обхватила меня руками за шею. Я увидел её руки, костлявые, загрубелые от работы, которую ей приходилось делать для того, чтобы вырастить меня, и это подействовало на меня сильнее всяких слов. Моё сердце было полно нежности к ней, но моя воля была тверда, как камень. Я посадил её опять на стул, поцеловал и побежал в свою комнату, чтобы собрать вещи. Становилось уже темно, а мне предстояло идти далеко, поэтому, связав кое-что в узелок, я поспешил выйти из дома. Когда я выходил через заднюю дверь, кто-то притронулся к моему плечу: в темноте стояла Эди.

— Глупый мальчик, — сказала она, — неужели вы и в самом деле уйдёте?

— Уйду? Увидите.

— Но ведь ваш отец против, да и мать тоже.

— Я знаю.

— Так зачем же вы уходите?

— Вам-то, кажется, следовало бы знать.

— Скажите, зачем?

— Потому что вы меня заставляете!

— Я не хочу, чтобы вы уходили, Джек.

— Вы сами сказали. Вы сказали, что те, кто живёт в деревне, ни на что не способны. Вы всегда так говорите. Вы думаете обо мне не больше, чем о голубях в голубятне. Вы считаете меня ничтожеством. Я докажу, что я не таков.

Я высказал ей всё, что наболело в душе. Она покраснела и посмотрела на меня по своему обыкновению, странным, полунасмешливым и полусердитым взглядом. — О, я думаю о вас так мало? — спросила она. — И по этой причине вы уходите из дома? Когда так, Джек, то останетесь ли вы, если я... если я буду ласкова с вами?

Мы стояли лицом к лицу, очень близко друг к другу, и в одну минуту дело было сделано. Я схватил её в объятия и целовал, целовал без конца, целовал губы, щёки, глаза, прижимал её к своему сердцу и шептал ей, что она для меня всё на свете, что я не могу жить без неё. Она ничего не говорила, но прошло немало времени, прежде чем она отвернула от меня своё лицо, и когда она оттолкнула меня, то сделала это не очень сильно.

— Да, вы опять стали таким же грубым и дерзким, как прежде, — сказала она, приглаживая обеими руками волосы. — Вы на мне всё смяли, Джек; я никогда не думала, что вы такой смелый!

Но я больше не боялся её, кровь во мне кипела от любви; которая сделалась в десять раз горячее, чем прежде. Я снова схватил её в свои объятия и поцеловал, как будто бы имел на это право.

— Теперь вы моя, — воскликнул я. — Я не пойду в Бервик, я останусь здесь и женюсь на вас.

Но когда я сказал, что женюсь на ней, она засмеялась.

— Глупый мальчик! Глупый мальчик! — проговорила она, когда я опять попытался обнять её, сделала грациозный реверанс и убежала в дом.

Глава Четвёртая ВЫБОР ДЖИМА

После этого начались десять недель, похожие на сон, оне представляются мне сном и теперь, когда я вспоминаю о них. Я могу наскучить вам, если стану рассказывать, что происходило между нами; но какое огромное значение имело для меня всё это в то время! Её своеволие, её постоянно меняющееся настроение, то весёлое, то мрачное, как луг, над которым проносятся облака, её беспричинный гнев и сейчас же вслед за тем раскаяние, — всё это наполняло мою душу то радостью, то печалью: в этом была вся моя жизнь, всё остальное не имело никакого значения. Но каковы бы ни были мои чувства, я ощущал в глубине сердца какую-то тревогу, в которой и сам не отдавал себе отчёта: мне казалось, что я похож на человека, который хочет схватить радугу, и что настоящая Эди Колдер, хотя она и была рядом, на самом деле находится на недостижимом для меня расстоянии. Это потому, что её было трудно понять, по крайней мере, мне, тупоумному деревенскому парню. Когда я говорил ей о моих планах на будущее, о том, что если бы мы взяли в аренду весь Корримюр, то могли бы получать не меньше ста фунтов лишнего дохода, и тогда можно было бы устроить гостиную в Вест-Инче и красиво убраться для неё, когда мы обвенчаемся, то она надувала губки и опускала глаза, как будто бы у неё не хватало терпения выслушать меня. А когда я предавался мечтам о том, чем могу сделаться впоследствии, что, может быть, я отыщу бумагу, которая послужит доказательством, что я — наследник какого-нибудь лорда, или что я, не поступая на службу, о чём она не хотела и слышать, стану знаменитым воином и моё имя будет у всех на устах, то она делалась весёлой, как майский день. Я старался поддерживать эту иллюзию насколько мог, но вдруг у меня вырывалось какое-нибудь несчастное слово, которое показывало, что я не более как Джек Колдер из Вест-Инча, и она снова надувала губки, выказывая этим своё презрение. И таким образом мы шли с ней вперёд: она — по воздуху, а я — по земле, и что-нибудь непременно должно было разлучить нас. Это случилось после Рождества, но зима была не холодная, и подморозило лишь настолько, что можно было без опаски ходить по торфяным болотам. Как-то утром, когда было довольно свежо, Эди рано ушла из дома и вернулась назад очень взволнованная.

— Что, Джек, вернулся домой ваш приятель, сын доктора? — спросила она.

— Я слышал, его ждут.

— Ах, так, значит, это его я встретила на пустоши?

— Как! Вы встретили Джима Хорскрофта?

— Я уверена, что это был он. Замечательно красивый мужчина — герой, с кудрявыми чёрными волосами, коротким прямым носом и серыми глазами. У него плечи, как у статуи, а что касается роста, то, думаю, ваша голова, Джек, будет только до булавки в его галстук.

— До его уха, Эди, — поправил я с негодованием. — Да, это был Джим. Скажите ещё, не торчала ли у него изо рта коричневая деревянная трубка?

— Да, он курил. Он был одет в серое, и у него громкий, басистый голос.

— О! Так вы говорили с ним! — сказал я.

Она немножко покраснела, так как проговорилась.

— Там, где я шла, земля была не совсем тверда, и он сказал, чтобы я была осторожней, — ответила она.

— А, должно быть, это действительно был мой милый старый приятель Джим, — заметил я. — Он уже давно был бы доктором, если бы у него ум был так же силен, как рука. Да вот он сам, честное слово.

Я увидел его из окна в кухне и выбежал во двор с недоеденной овсяной лепёшкой, чтобы поздороваться с ним. Он также бросился навстречу с протянутыми руками и сияющими глазами.

— Джек! — закричал он. — Я так рад, что вижу тебя опять. Старый друг лучше новых двух.

Тут он вдруг замолчал и, разинув рот, уставился через моё плечо. Я обернулся: в дверях стояла Эди с весёлой плутовской улыбкой на лице. Как я гордился ею, да и самим собою тоже!

— Это моя кухня, мисс Эди Колдер, Джим, — сказал я.

— А вы часто гуляете до завтрака, мистер Хорскрофт? — спросила она всё с той же плутовской улыбкой.

— Да, — отвечал он, пристально глядя на неё.

— И я тоже часто бываю на пустоши, — сказала она. — Но вы не очень-то радушно принимаете вашего приятеля, Джек. Если вы не будете его угощать, то я должна буду занять ваше место, чтобы поддержать честь Вест-Инча.

Через минуту мы присоединились к старикам, и Джиму тоже налили тарелку супа; он почти не говорил, но сидел с ложкой в руке, не спуская глаз с кухни Эди. Она всё время бросала на него быстрые взгляды; мне казалось, что её забавляла его робость и что она старалась его ободрить.

— Джек рассказывал мне, что вы учитесь для того, чтобы сделаться доктором, — сказала она. — Должно быть, это очень трудно и требует много времени.

— Да, много времени, — ответил печальным тоном Джим. — Но я всё-таки стараюсь добиться своего.

— Ах, какой вы молодец! Вы человек настойчивый. Вы видите цель и идёте к ней, и ничто не может вас остановить.

— Право, мне нечем похвалиться, — сказал он. — Многие из студентов, которые начинали вместе со мной, уже давно обзавелись практикой, а я всё ещё студент.

— Вы говорите так из скромности, мистер Хорскрофт. Говорят, что мужественные люди всегда бывают скромными. Но вы обязательно достигнете цели; какая это прекрасная карьера — подавать исцеление, поднимать с одра страдальцев, иметь своей единственной целью благо человечества.

Услышав такие слова, честный Джим заёрзал на стуле.

— Боюсь, у меня нет таких высоких мотивов, мисс Колдер, — сказал он. — Я учусь для того, чтобы зарабатывать кусок хлеба и взять на себя практику отца. Если я одной рукой подаю исцеление, то другую протягиваю для того, чтобы получить крону.

— Какой вы откровенный и правдивый человек! — воскликнула она.

Таким образом они вели между собой разговор и дальше, причём она украшала его всевозможными добродетелями и поворачивала его слова так, чтобы его расхвалить — хорошо знаю эту её манеру. Он ещё не успел кончить разговора, а я уже видел, что у него голова идёт кругом от её красоты и ласковых слов. Я был проникнут гордостью, думая, что он составил такое высокое мнение о моей родственнице.

— Не правда ли, она хороша собой, Джим? — Я не мог удержаться, чтобы не сказать этого, когда мы с ним стояли во дворе у входной двери, и он, прежде чем отправиться домой, раскуривал свою трубку.

— Только ли?! — воскликнул он. — Да я никогда не видал ничего подобного!

— Мы с ней скоро обвенчаемся.

Трубка выпала у него изо рта, и он уставился на меня во все глаза. Затем он подобрал трубку и пошёл домой, не сказав ни слова. Я думал, что он, может быть, вернётся, но он не вернулся: я видел, как он бредёт вверх по склону холма, опустив голову на грудь.

Но я не мог о нём позабыть, потому что кухня Эди засыпала меня вопросами о том, каков он был мальчиком, о его силе, с какими женщинами он был знаком; её расспросам не было конца. В тот же вечер я услышал о нём ещё раз, причём отзывы были далеко не такие лестные. Мой отец, вернувшись домой, много говорил о бедном Джиме. После полудня он был мертвецки пьян; затем ходил на берег в Вестхаус и дрался с кулачным бойцом-цыганом, причём думали, что его противник не переживёт ночи. Мой отец встретил Джима на большой дороге; тот был мрачен, как туча, и готов оскорбить всякого, кто проходил мимо.

— Ну и дела! — сказал старик. — Хороша будет у него практика, если он начнёт ломать кости.

Кухня Эди смеялась надо всем, а я смеялся потому, что смеялась она; на самом деле мне было совсем не смешно. На третий день после этого я поднимался на холм в Корримюре по овечьей тропе и вдруг вижу, что вниз спускается не кто иной, как сам Джим. Но это был уже не тот большой ростом, добродушный человек, который два дня тому назад ел суп вместе с нами. На нём не было ни воротничка, ни галстука, жилет у него был расстёгнут, волосы

всклокочены, а лицо всё в пятнах,— как у человека, который был сильно пьян накануне. В руках он держал ясеневую палку, которой сбивал головки дрока, росшего по обе стороны тропинки.

— А, это ты, Джим! — сказал я.

Он посмотрел на меня взглядом, какой я часто видел у него в школе, когда он сильно злился и знал, что виноват, но только ни за что не хотел показать этого. Он не сказал ни слова, быстро прошёл мимо меня по узкой тропинке и зашагал дальше, махая своей ясеневой палкой и обивая ею кусты.

Нет, я не сердился на него! Я был огорчён, очень огорчён, и больше ничего. Само собой разумеется, я не был настолько слеп, чтобы не видеть, в чём тут дело. Он влюбился в Эди и не мог выносить того, что она будет принадлежать мне. Бедняга, ну что он мог с собой поделать? Может быть, и я на его месте был бы в таком же состоянии. Когда-то я бы и не поверил, что девушка может так вскружить голову сильному мужчине, но теперь я был опытнее в этом отношении.

Целых две недели я совсем не видал Джима Хорскрофта, но вот наконец наступил тот четверг, в который совершился переворот в моей жизни. Я проснулся рано и в радостном настроении. Накануне Эди была со мною ласковее, чем обыкновенно, и я заснул с мыслью, что, может быть, мне удалось наконец схватить радугу и что Эди без всяких иллюзий и мечтаний полюбила простодушного, грубого Джека Колдера из Вест-Инча. Эта мысль не выходила у меня из головы, и в сердце у меня точно щебетали птички. А затем я вспомнил, что если поспешу, то ещё застаю её дома, потому что она, по своему обыкновению, уходила с восходом солнца.

Но я опоздал. Когда я подошёл к двери её комнаты, она была полуотворена и внутри никого не было. «Ну, — подумал я, — по крайней мере, я могу встретить её и вместо с ней вернуться домой». С вершины Корримюрского холма видны все окрестности. И вот, захватив палку, я пошёл в этом направлении. День был ясный, но холодный, и я помню, что слышал громкий шум прибоя, хотя в наших местах уже несколько дней совсем не было ветра. Я шёл зигзагами по крутой тропинке, дыша свежим утренним воздухом и напевая вполголоса песенку, пока не добрался, немного запыхавшись, до поросшей вереском вершины. Посмотрев вниз на длинный склон противоположной стороны, я увидел, как и ожидал, кухню Эди; но я увидел и Джима Хорскрофта, который шёл рядом с нею.

Они были недалеко от меня, но так заняты друг другом, что совсем меня не заметили. Она шла медленно, шаловливо закинув свою грациозную головку с той манерой, которая была мне хорошо известна, отвернувшись от него и время от времени перекидываясь с ним словом. Он шагал рядом с ней, глядя на неё сверху вниз и наклонив голову, увлечённый разговором, который, казалось, был серьёзным. Затем он что-то сказал, она ласково положила свою руку на его, а он, расставив ноги, поднял её на воздух и несколько раз поцеловал. Увидя это, я не смог ни закричать, ни двинуться с места; сердце моё точно налилось свинцом, лицо застыло, и я не спускал с них глаз. Я видел, что она положила ему руку на плечо и принимала его поцелуи так охотно, как никогда не принимала их от меня.

Потом он опустил её на землю, и я понял, что они прощаются; пройди они ещё шагов сто, их можно было бы увидеть из окон верхнего этажа нашего дома. Она пошла прочь медленными шагами и раз или два помахала ему, а он стоял и смотрел ей вслед. Я подождал, пока она не скрылась из виду, и затем пошёл вниз, но он был так занят, что не заметил меня, даже когда я приблизился на расстояние протянутой руки. Встретившись со мной глазами, он сделал попытку улыбнуться.

— А, Джек, — сказал он, — что-то ты рано сегодня!

— Я видел вас! — проговорил я: у меня так пересохло в горле, что я едва дышал.

— Видел? — сказал он и потихоньку засвистал. — Ну, ей-Богу же, Джек, меня это не огорчает. Я имел намерение прийти сегодня же в Вест-Инч и объясниться с тобой. Может, так вышло даже лучше.

— Хорош друг, нечего сказать! — возмутился я.

— Послушай, Джек, будь рассудителен, — сказал он, засовывая руки в карманы и покачиваясь из стороны в сторону. — Дай мне объяснить тебе положение дел. Посмотри мне в глаза, и ты увидишь, что я не лгу. Вот как всё случилось. Я встретил Эди, то есть мисс Колдер,

прежде чем пришёл к вам тогда утром, и тогда по некоторым признакам счёл её совершенно свободной; думая, что это действительно так, я решил, что она будет моей. Затем ты сказал, что она не свободна, и это стало для меня жестоким ударом. Я вышел из себя, несколько дней безумствовал и хорошо ещё, что не попал в Бервикскую тюрьму. Затем я случайно встретил её опять — ей-Богу, Джек, это было случайно, — и когда я заговорил о тебе, она засмеялась. «Он мне только двоюродный брат, не более», — сказала она, а что же до того, что она будто не свободна или ты для неё больше чем друг, то это — одна только глупая болтовня. Как видишь, Джек, я вовсе не так виноват, как ты думал, тем более что она обещала дать тебе понять своим обращением, что ты ошибаешься, полагая, что имеешь на неё права. Ты, вероятно, заметил, что в продолжение этих двух недель она почти ни слова не сказала с тобой.

Я горько засмеялся.

— Да не далее как вчера вечером, — отвечал я, — она сказала мне, что я — единственный человек на свете, которого она могла бы полюбить.

Джим Хорскрофт протянул дрожащую руку, положил её на моё плечо, близко придвинул ко мне своё лицо и посмотрел мне в самые глаза.

— Джек Колдер, — сказал он, — я знаю, что ты никогда не лгал. Уж не хочешь ли ты отплатить мне обманом за обман? Говори правду, нас никто не слышит.

— Это — святая истина, — сказал я.

Он стоял и смотрел на меня: его лицо выражало сильную внутреннюю борьбу. Прошло по крайней мере две минуты прежде, чем он заговорил.

— Послушай, Джек, — сказал он, — эта женщина дурачит нас обоих. Слышишь, она дурачит нас обоих! В Вест-Инче она любит тебя, на склоне холма — меня, а между тем в её дьявольском сердце нет ни крошечки любви ни к одному из нас. Подадим друг другу руку, дружище, и проучим эту негодяйку!

Но для меня это было чересчур. Я не мог проклинать её в своём сердце, а ещё менее того — стоять и слушать, как её проклинает другой, пусть даже это был мой старый приятель.

— Не бранись! — закричал я.

— Мне тошно от твоих кротких речей! Я буду называть её так, как она того заслуживает.

— Вот как? — рявкнул я, стаскивая с себя сюртук. — Послушай, Джим Хорскрофт, если ты скажешь ещё хоть слово против неё, я вобью твои слова тебе в горло, будь ты даже ростом с Бервикский замок. Только попробуй, и увидишь!

Он сдёрнул, было, сюртук до локтей, но затем не спеша натянул его обратно.

— Не будь таким глупцом, Джек! — сказал он. — В человеке редко бывает четыре стоуна* и пять фунтов. Два старых друга не должны ссориться из-за такой... ну, хорошо, больше я ничего не скажу. Ну её, ей-Богу, пусть заведёт хоть десять любовников.

Я оглянулся, а она стояла рядом на расстоянии каких-нибудь двадцати ярдов, спокойная и невозмутимая, между тем как мы разгорячились и были точно в лихорадке.

— Я уже дошла почти до дома, — сказала она, — но увидела, что вы, мальчики, о чём-то спорите между собой, вот я и вернулась, чтобы узнать, в чём дело.

Хорскрофт бросился вперёд и схватил её за кисть руки. Посмотрев ему в лицо, она взвизгнула, а он подтащил её к тому месту, где стоял я.

— Ну, Джек, довольно ломать комедию, — сказал он. — Вот она. Не спросить ли нам у неё, которого из нас она любит? Она не сможет лгать теперь, когда мы тут оба вместе.

— Я согласен на это, — отвечал я.

— И я тоже. Если она пойдёт к тебе, то клянусь, что больше никогда и не взгляну на неё. Сделаешь ли ты то же самое и для меня?

— Да, сделаю.

— Хорошо же, слушайте, вы! Оба мы — честные люди, друзья между собой и никогда друг другу не лжём. Нам известно ваше двуличие. Я знаю, что вы сказали вчера вечером. Вы слышите? Так вот, — говорите прямо и откровенно! Мы стоим тут перед вами; скажите — и делу конец. Кто из нас двоих — Джек или я?

Вы, может быть, подумаете, что эта женщина не знала, куда деться от стыда? Ничуть не бывало — её глаза блестели от удовольствия, и я могу побиться об заклад, что это была лучшая

* Стоун — единица измерения веса, принятая в англоязычных странах: 1 стоун = 6,35 кг. (П.Г.)

минута в её жизни. Она смотрела на нас попеременно, то на того, то на другого, лицо её было освещено утренним солнцем, поднявшимся ещё не высоко, и она ещё никогда не казалась мне такой привлекательной. Я уверен, что и Джим думал то же самое, потому что он выпустил её руку из своей, и суровые черты его лица смягчились.

— Ну, Эди, который же из нас? — спросил он.

— Шалуны-мальчишки, которые ссорятся из-за этого? — воскликнула она. — Кузен Джек, вы знаете, какое нежное чувство я питаю к вам.

— Раз так, то идите к нему! — сказал Хорскрофт.

— Но я не люблю никого, кроме Джима. Я никого не люблю так, как Джима.

Она прижалась к нему и спрятала лицо у него на груди.

— Ты видишь, Джек, — сказал он, глядя на меня через её плечо.

Я оставил их и вернулся в Вест-Инч, но уже не тем человеком, каким вышел из него утром.

Глава Пятая ЧЕЛОВЕК, ПРИБЫВШИЙ ИЗ-ЗА МОРЯ

Я не из тех, кто постоянно жалуется, что им изменило счастье. Если дела нельзя поправить, вряд ли стоит снова упоминать о нём. У меня долго болело сердце; по правде сказать, когда я вспоминаю об этом, мне и теперь делается немножко больно, хотя прошло уже столько лет и я счастливо живу с женой. Я старался держать себя мужественно, и сразу надо сказать, я поступил так, как обещал в этот день на склоне холма. Я был для неё братом, не больше, хотя бывали минуты, когда мне стоило большого труда сдерживать себя, потому что даже и теперь она иногда приходила ко мне со своими вкрадчивыми манерами и рассказывала, как груб с ней Джим и как она счастлива, когда я с ней ласков, и всё это только потому, что изменчивость и лукавство были у неё в крови.

Но по большей части Джим и она были счастливы вместе. По всей окрестности распространился слух, что они поженятся, как только он получит учёную степень, и он приезжал в Вест-Инч четыре раза в неделю, по вечерам, чтобы побыть с ней. Мои родные были довольны этим, и я старался показать, что мне это тоже приятно.

Пожалуй, в первое время между нами была некоторая холодность: мы относились друг к другу уже не с тем доверием, какое бывает между старыми школьными товарищами. Но затем, когда прошло острое горе, я нашёл, что он поступил честно, и по справедливости я не могу на него сердиться. Таким образом мы остались в дружеских отношениях; что же касается до неё, то он позабыл весь свой гнев и готов был целовать следы, оставленные её башмаками в грязи. Мы с ним вдвоём подолгу гуляли, и об одной из этих прогулок я хочу вам рассказать.

Мы прошли всю Бремстонскую пустошь, за те сосны, что защищают дом майора Элиота от морского ветра. Весна в этом году наступила ранняя, и в конце апреля деревья уже совсем оделись листвой. Было тепло, как в летний день, а потому нас очень удивило то, что на лужайке перед дверью в дом майора был разведён большой огонь. Горела целая половина сосны, и языки пламени поднимались вверх до окон спальни. Мы с Джимом в удивлении уставились на пламя, но мы удивились ещё больше, когда из дома вышел сам майор, с большой четвертной бутылкой в руке; за ним шла его старая сестра, которая вела у него хозяйство, и две служанки, и все они четверо принялись приплясывать вокруг огня. Майор был смирным, кротким человеком — это было известно всей округе, а тут он, точно старый леший, прыгал, прихрамывая, вокруг огня и махал бутылкой с вином над головой. Мы бросились бежать к нему, и, завидев нас, он принялся махать ещё сильнее.

— Мир! — вопил он во всё горло. — Ура, друзья мои! Мир!

Услыхав эти слова, мы тоже принялись приплясывать и кричать, потому что все очень устали от войны, и трудно было поверить, что исчезла тень, которая так давно нависала над нами. Мы даже не сразу в это поверили, но майор осмелял наши сомнения.

— Да, да, это правда! — закричал он, остановившись и опустив руку. — Союзники вошли

в Париж, Бони сбежал, и его народ присягнул в верности Людовику XVIII!

— А что будет с императором? — спросил я. — Поощалят ли его?

— Поговаривают, что его нужно отослать на остров Эльбу, там от него вреда не будет. Что до его военачальников, то между ними есть такие, от которых нельзя отделаться так легко. В течение последних двадцати лет были совершены подвиги, которых нельзя забыть. Надо бы свести кое-какие старые счёты, но теперь — мир, мир!

И он опять принялся прыгать со своей бутылкой вокруг костра.

Мы побыли некоторое время с майором, а затем пошли на взморье, разговаривая между собой об этом важном известии и о том, что может от него произойти. Джим знал не много, а я ещё меньше его, но что мы знали, мы сложили в одно целое и говорили о том, что теперь упадут цены, что вернутся на родину наши храбрые солдаты, что корабли смогут спокойно плыть, куда им нужно, что мы уничтожим на берегу все сигнальные огни, потому что теперь уже нет врага, которого мы боялись. Так мы болтали, идя по гладкому твёрдому песку и глядя вдаль на Северное море. Джим, который шагал рядом со мной, такой здоровый и бодрый, и не подозревал, что достиг высшей точки своей жизни и что с этого часа всё у него пойдёт под откос.

Над морем висел лёгкий туман; ранним утром туман был гуще, а теперь разрядился от солнца. Посмотрев на море, мы вдруг увидели, что из тумана показался парус небольшой лодки, которая, раскачиваясь, приближалась к земле. В ней сидел только один человек, и она вертелась в разные стороны, как будто бы сидевший в ней и сам не знал, причалить к берегу или нет. Наконец, может быть ободрённый нашим присутствием, он подплыл прямо к нам, и песок закрипел под килем у самых наших ног.

Человек спустил парус, выскочил из лодки и втащил корму на берег.

— Великобритания, полагаю? — спросил он, быстро повернувшись и глядя нам прямо в лицо. Он был немного повыше среднего роста, но страшно худой. У него были пронизательные, близко посаженные глаза, между которыми выдавался длинный острый нос, а под ним торчали, как щетина, усы каштанового цвета, жёсткие и прямые, как у кошки. Он был хорошо одет — в коричневой паре с медными пуговицами и в высоких сапогах, которые заскорузли и потеряли глянец от морской воды. Лицо и руки были у него смуглые, так что его можно было счесть за испанца, но, когда он, кланяясь нам, снял шляпу, мы увидели, что верхняя часть лба была у него совершенно белой, остальное же лицо просто обветрилось. Он смотрел то на одного, то на другого из нас, и в его серых глазах мелькало что-то такое, чего я не видывал прежде. Вы могли прочесть в них вопрос, но казалось, что за этим вопросом кроется угроза, как будто бы отвечать следовало по приказу, а не из любезности.

— Великобритания? — спросил он снова, нетерпеливо топнув ногой в песок.

— Да, — сказал я, а Джим расхохотался.

— Англия? Шотландия?

— Здесь Шотландия, а вон за теми деревьями — Англия.

— Ага! Теперь я знаю, куда попал. Я плыл в тумане без компаса почти целых три дня и думал, что никогда больше не ступлю на твёрдую землю.

Он говорил по-английски довольно бегло, но иногда употреблял иностранные обороты.

— Откуда вы? — спросил Джим.

— Я с корабля, который потерпел крушение, — отвечал он коротко. — Какой это город, вон там?

— Это Бервик.

— А! Ладно, я должен отдохнуть, прежде чем отправлюсь дальше.

Он повернулся и пошёл к лодке, но поскользнулся и непременно упал бы, если бы не ухватился за её нос. Затем он сел на борт и стал озираться. Лицо его покраснелось, глаза сверкали, как у дикого зверя.

— *Voltigeurs de la Garde!** — закричал он голосом, похожим на звук трубы. — *Voltigeurs de la Garde!*

Он помахал шляпой над головой, затем бросился лицом в песок и остался лежать неподвижно.

* Гвардейские стрелки! (*франц.*)

Мы с Джимом Хорскрофтом в недоумении уставились друг на друга. Всё нам казалось странным: и появление этого человека, и его вопросы, и, наконец, его неожиданная выходка. Взяв за плечи, мы перевернули его на спину. Он остался лежать, нос его и усы торчали попрежнему, но губы совсем побелели, от его дыхания не пошевелинулось бы и перо.

— Он умирает, Джим! — вскричал я.

— Да, от голода и жажды. В лодке нет ни капли воды и ни крошки хлеба. Может, что-нибудь найдётся в этом мешке?

Он вскочил в лодку и вытащил оттуда чёрный кожаный мешок; кроме этого мешка да ещё широкого плаща синего цвета, в лодке не было ничего. Мешок был завязан, но Джим раскрыл его в одну минуту. Он был до половины наполнен золотыми монетами.

Ни один из нас никогда не видел столько денег — даже десятой части. Тут были сотни монет — и все блестящие новенькие английские соверены. Мы так заинтересовались деньгами, что совсем позабыли о том, кому они принадлежали, но вдруг мы услышали стон, который заставил нас вспомнить о нём. Его губы ещё больше посинели, нижняя челюсть отвалилась. Теперь стал виден его раскрытый рот с рядом белых зубов, похожих на зубы волка.

— Господи! Да он умирает! — воскликнул Джим. — Джек, беги к ручью и зачерпни шляпой воды. Да поскорее, а то он умрёт. А я тем временем раздену его.

Я пустился бежать со всех ног и через минуту вернулся назад с полной шляпой воды. Джим расстегнул сюртук и рубашку незнакомца, мы облили водой его лицо и грудь и с трудом влили несколько капель в рот. Это произвело хорошее действие. Он раз или два глубоко вздохнул, приподнялся и сел, протирая глаза, как человек, проснувшийся от глубокого сна. Но мы с Джимом смотрели ему не в лицо, а на обнажённую грудь. На ней были видны два широких красных шрама, один под ключицей, другой посередине груди ближе к правому боку. Кожа его, вплоть до самой загорелой шеи, была замечательно бела, и на ней ещё ярче выделялись красные пятна. Подойдя сзади, я заметил, что в одном месте шрам есть и на спине. Несмотря на неопытность, я догадался, что это значило. Он был ранен в грудь двумя пулями — одна прошла навылет, а другая так и осталась в теле.

Вдруг он, пошатываясь, встал и запахнул на себе рубашку, бросив на нас быстрый подозрительный взгляд.

— Что я делал? — спросил он. — Я сам себя не помнил. Если я сказал чего, не обращайтесь внимания. Что, я кричал что-нибудь?

— Да, перед тем как упасть.

— Что же я кричал?

Я передал ему его слова, хотя для меня они были лишены смысла. Он пристально посмотрел на нас обоих и пожал плечами.

— Это слова одной песни, — сказал он. — Ну, теперь вопрос в том, что мне делать. Я не думал, что так ослабел. Где вы достали воды?

Я указал ему на ручей, и он, шатаясь, пошёл к нему. Он лёг ничком и пил очень долго, — я думал, что он никогда не кончит. Вытянув, точно лошадь, свою длинную худую шею, он громко глотал. Наконец, глубоко вздохнув, он поднялся на ноги и отёр усы руками.

— Теперь мне лучше, — сказал он. — Нет ли у вас чего-нибудь поесть?

Перед уходом я сунул в карман два куса лепёшки из овсяной муки; он положил их в рот, разжевал и проглотил. Затем он распрямил плечи, выпятил грудь и ладонями погладил себя по рёбрам.

— Право, я чрезвычайно обязан вам, — сказал он. — Вы были очень добры к незнакомому человеку. А, вы сумели развязать мой мешок.

— Когда вам сделалось дурно, мы подумали, нет ли там вина или виски.

— А! У меня в нём только — как вы называете это? — деньги на чёрный день. Небольшая сумма, но я могу спокойно жить на неё до тех пор, пока не найду себе какого-нибудь дела. А здесь, как мне кажется, можно жить спокойно. Я попал в тихое место; здесь, наверно, и жандарма встретишь только в городе.

— Но вы не сказали нам, кто вы такой, откуда и какова ваша профессия, — заявил напрямик Джим.

Незнакомец смерил его с головы до ног испытующим взглядом.

— Вы годились бы в гренадёры во фланговую роту, честное слово, — сказал он. — Что же

касается ваших вопросов, то я обиделся бы, если бы услышал их не от вас, а от кого-нибудь другого. Вы имеете право знать, что я за человек, потому что вы так радушно меня приняли. Меня зовут Бонавентур Делапп. По профессии я солдат и путешествую; я приехал из Дюнкерка, название этого города написано на лодке.

— А я думал, что вы потерпели кораблекрушение! — сказал я.

Он посмотрел мне прямо в глаза, как честный человек.

— Это правда, — сказал он, — корабль плыл из Дюнкерка, и это одна из его шлюпок. Экипаж пересел в баркас, а корабль пошёл ко дну так быстро, что я не успел ничего захватить с собой. Это было в понедельник.

— А сегодня четверг. Значит, целых три дня у вас куса во рту не было?

— Да, это очень долго, — сказал он. — Раньше я дважды оказывался в таком положении, но не дольше чем на два дня. Ну, я оставлю здесь шлюпку и поищу себе приют в одном из этих серых домиков на склоне холма. А зачем горит вон тот большой огонь?

— Там живёт один из наших соседей, который был на военной службе и сражался с французами. Он празднует заключение мира.

— О, так у вас есть сосед, который был военным! Я рад этому, потому что и я тоже участвовал в сражениях.

Он погрузился, и брови над его пронизательными глазами нахмурились.

— Ведь вы — француз, не правда ли? — спросил я, когда мы все трое поднимались вверх по холму; он нёс в руке свой чёрный мешок, длинный синий плащ свешивался с его плеча.

— Как вам сказать? Я из Эльзаса, а в Эльзасе живут скорее немцы, чем французы. Что касается меня, я видел так много стран, что везде чувствую себя как дома. Я очень много путешествовал. Как вы думаете, где я могу найти пристанище?

После этого события прошло целых тридцать пять лет, но даже и теперь я могу передать, какое впечатление произвёл тогда на меня этот странный человек. Я не доверял ему, но вместе с тем он меня обворожил, ибо в его осанке, взгляде и разговоре было что-то такое, чего я никогда не встречал прежде. Джим Хорскрофт был красив собой, а майор Элиот — храбрый вояка, но им обоим недоставало того, что было в этом путешественнике: быстрого, живого взгляда, блеска в глазах, какого-то изящества, которое нельзя выразить словами. А кроме того, мы спасли его, когда он лежал бездыханный на песке, а человек всегда питает нежное чувство к тому, кому помог в беде.

— Если вы захотите пойти со мной, — сказал я, — то я могу поручиться, что найду вам место, где можно пожить день или два, а за это время вы сумеете устроиться по своему желанию.

Сняв шляпу, он необыкновенно грациозно поклонился мне. Но Джим Хорскрофт, дёрнув меня за рукав, отвёл в сторону.

— Ты с ума сошёл, Джек, — сказал он мне на ухо. — Этот человек искатель приключений. К чему ты связываешься с ним?

Однако трудно найти человека упрямее меня; если меня толкают назад, я обязательно делаю шаг вперёд.

— Он — иностранец, — сказал я, — и помочь ему — наша обязанность.

— Ты пожалеешь об этом, — сказал Джим.

— Может, и пожалею.

— Если ты не думаешь о себе, подумай о своей кухне.

— Эди может и сама о себе позаботиться.

— Ну так, чёрт бы тебя побрал, делай как знаешь! — крикнул он, вспыхнув. И, не простившись с нами, он зашагал к дому своего отца.

Бонавентур Делапп с улыбкой взглянул на меня.

— Я так и думал, что не нравлюсь ему, — сказал он. — Сколько я понимаю, вы поссорились из-за того, что вы ведёте меня к себе в дом. Что же он думает обо мне? Может быть, что золото у меня в мешке — краденое?

— Молчите, я ничего не знаю и ни о чём не думаю. У нас принято накормить странника, проходящего мимо нашего дома, и дать ему ночлег.

Высоко подняв голову, в полной уверенности, что я делаю что-то очень хорошее и даже не подозревая, что к югу от Эдинбурга нет человека глупее меня, я гордо выступал по дороге,

а рядом со мной шёл мой новый знакомый.

Глава Шестая СТРАНСТВУЮЩИЙ ОРЁЛ

Повидимому, мой отец был того же мнения, что и Джим Хорскрофт, потому что он не очень радушно встретил незнакомого гостя и подозрительно осмотрел его с головы до ног. Но он всё-таки поставил перед ним блюдо селёдок в уксусе, и я заметил, что он стал ещё суровее, когда тот съел девять селёдок за раз: нам полагалось по две селедки на каждого. Когда Бонавентур Делапп кончил свой ужин, у него начали слипаться глаза, потому что, повидимому, он не только не ел, но и не спал все эти три дня. Комната, в которую я его провёл, имела довольно жалкий вид, но, несмотря на это, он бросился на постель и, завернувшись в свой синий плащ, моментально заснул. Он очень громко храпел, а так как моя комната была рядом с его, я не мог ни на минуту забыть о том, что у нас в доме находится незнакомый человек.

Когда на другой день поутру я сошёл вниз, то увидел, что он встал раньше меня и сидит напротив моего отца у стола в кухне; их головы почти соприкасались, и между ними лежал столбик золотых монет. Когда я вошёл в комнату, отец поднял голову и посмотрел на меня: в его глазах светилась алчность, чего я никогда не замечал прежде. Он поспешно схватил деньги и спрятал их в карман.

— Очень хорошо, мистер, — сказал он, — комната за вами, будете платить каждый месяц третьего числа.

— Ах, вот и мой приятель, с которым я познакомился прежде чем с вами! — воскликнул Делапп и протянул мне руку с улыбкой, хотя и ласковой, но в ней чувствовалось что-то покровительственное: так человек улыбается собаке. — Теперь я совсем оправился, благодаря тому, что прекрасно поужинал и хорошо спал ночью. Ах, голод отнимает у человека мужество, — главным образом голод, а затем холод.

— Да, это правда, — сказал мой отец. — Раз в метель я пробыл на пустоши тридцать шесть часов и знаю, каково это.

— Я видел однажды, как три тысячи человек умерли от голода, — заметил Делапп, протягивая руки к огню. — Они худели день ото дня и становились всё более и более похожими на обезьян; они подходили к краям понтонов, на которых мы их держали, и поднимали вой от ярости и от боли. Первые дни их вой слышен был по всему городу, но через неделю наши часовые, стоявшие на берегу, уже их не слышали, так они ослабели.

— И они все умерли! — воскликнул я.

— Они выдержали очень долго. Это были австрийские гренадёры из корпуса Старовица, видные собою, крепкие люди, такого же роста, как ваш приятель, которого я видел вчера; но когда город был взят, их осталось в живых только четыреста человек, и один человек мог поднять троих зараз, как будто это были маленькие обезьянки. На них жалко было смотреть. Ах, друг мой, познакомьте меня с мадам и мадемуазель.

В это время в кухню вошли моя мать и Эди. Он не видел их накануне вечером, а когда я посмотрел на него теперь, то едва удержался от смеха, потому что вместо того, чтобы просто кивнуть головой, как было принято у нас, в Шотландии, он согнул спину, словно форель, которая хочет нырнуть, шаркнул ногой и пресмешно прижал руку к сердцу. Моя мать с недоумением смотрела на него; она думала, что он над ней смеётся; но кузина Эди сейчас же ответила ему тем же, точно это была какая-то игра: она присела так низко, что я подумал: «Она ни за что не сможет встать, так и сядет на пол посреди кухни». Но ничуть не бывало: она поднялась легко, как пух, а затем мы подвинули к столу стулья и принялись за булки с молоком и похлёбку.

Надо было только дивиться тому, как этот человек умел обращаться с женщинами. Если бы мы, то есть я и Джим Хорскрофт, вели себя так, как он, все решили бы, что мы дурачимся, и девушки смеялись бы над нами; но у него это как будто бы гармонировало с выражением

лица и манерой говорить, так что наконец мы к этому привыкли; если он обращался к моей матери или к кузине Эди — а он охотно говорил с ними, — то всегда с поклоном и со взглядом, выражавшим, что оне едва ли удостоят выслушать то, что он хочет сказать, а когда оне отвечали ему, то его лицо принимало такое выражение, как будто бы всякое их слово было сокровищем, которое нужно беречь и всегда хранить в памяти. И несмотря на всё это, даже и тогда, когда он унижался перед женщинами, в его взгляде всегда светила особая гордость, как будто бы он хотел показать, что это только с ними он обращается так мягко и что при случае он может быть суровым. Что касается моей матери, то она удивительно смягчилась в своём обращении с ним и рассказала ему решительно всё о своём дяде, который был доктором в Карлайле и самым видным лицом из родственников с её стороны. Она рассказала ему также и о смерти моего брата Роба. Я никогда не слышал, чтобы она говорила об этом с кем-нибудь прежде, и мне показалось, что у него слёзы выступили на глазах, — у него, который видел, как умерли от голода три тысячи человек! Что касается Эди, то она говорила мало, только время от времени поглядывала на нашего гостя, и раз или два он очень пристально посмотрел на неё. Когда он после завтрака ушёл в свою комнату, отец вынул из кармана восемь золотых монет и положил их на стол.

— Что скажешь, Марта? — спросил он.

— Ты, должно быть, продал двух чёрных баранов.

— Нет, это — месячная плата за комнату и стол, которую я получил от знакомого Джека, и через четыре недели мы опять получим столько же.

Услышав это, моя мать покачала головой.

— Два фунта стерлингов в неделю — это очень много, — сказала она, мы не должны брать такую высокую плату с джентльмена, который попал в беду.

— Молчи! — закричал отец. — Он в состоянии заплатить такие деньги, — у него есть мешок, набитый золотом. А потом, он сам предложил такую цену.

— Эти деньги не принесут добра, — сказала она.

— Да он, жена, вскружил тебе голову своей иностранной манерой говорить! — воскликнул отец.

— Да, хорошо было бы, если бы мужчины-шотландцы немножко поучились у него ласковому обращению, — отозвалась мать; я первый раз в жизни слышал, чтобы она так говорила с отцом.

Вскоре после этого наш гость сошёл вниз и спросил, не пойду ли я с ним погулять. Когда мы шли по солнцу, он вынул маленький крестик из красных камней. Я в жизни не видел такой красивой вещицы.

— Это рубины, — сказал он, — я купил этот крестик в Туделе, в Испании. Таких крестиков было у меня два, но другой я отдал одной девушке-литвинке. Прошу вас, возьмите его на память в знак моей благодарности. Из него можно сделать булавку для галстука.

Я мог только поблагодарить его за подарок, потому что у меня ещё никогда не было такой дорогой вещи.

— Я иду на верхнее пастбище считать ягнят. Хотите, пойдёте со мной, оттуда можно посмотреть окрестности.

С минуту он раздумывал, затем покачал головой.

— Мне нужно как можно скорее написать несколько писем. Боюсь, сегодня утром мне лучше остаться дома.

Я до полудня считал овец по берегам реки, и легко догадаться, что у меня не выходил из головы этот странный человек, которого случай привёл в наш дом. Где он приобрёл такую осанку, такую манеру повелевать и этот надменный грозный взгляд? А как много он испытал в своей жизни, хотя не придавал этому большого значения! Видимо, у него была совершенно удивительная, наполненная приключениями жизнь! Он был ласков и учтив с нами, но, несмотря на это, я не мог заглушить в себе недоверие к нему. Может быть, Джим Хорскрофт был прав, а я сделал ошибку, когда привёл его в Вест-Инч.

Когда я вернулся домой, он имел такой вид, будто с малых лет привык к сидячей жизни. Он сидел у огня в деревянном кресле с чёрной кошкой на коленях. Растопырив пальцы, он держал на них моток шерсти, которую моя мать проворно наматывала на клубок. Около него сидела кузина Эди, и я увидел по её глазам, что она плакала.

— Что случилось, Эди? — спросил я. — Что вас так огорчило?

— Ах, у мадемуазель, как у всех добрых и правдивых женщин, нежное сердце, — сказал он. — Я не думал, что это так растрогает её, иначе не стал бы говорить. Я рассказывал о том, какие мучения претерпевали некоторые полки, когда переходили через горы Гвадарама зимой 1808 года. Скверное дело, потому что это были отличные солдаты и на прекрасных лошадях. Трудно поверить, что ветер может сдуть людей в пропасть, но было так скользко, а держаться не за что. Поэтому в пехотных ротах солдаты сцепились друг с другом оружием, это их и спасло, но когда я взял одного артиллериста за руку, она отвалилась, потому что была отморожена три дня тому назад.

Я стоял и с удивлением смотрел на него.

— Старые гренадёры, которые уже были не так проворны, как прежде, не могли не отставать; а если они отставали, их ловили крестьяне, которые распинали их на дверях амбаров, ногами вверх, а под головой разводили огонь: жаль было смотреть на этих славных старых служак. А потому, когда они не могли идти дальше, они поступали вот как: садились на землю и читали молитвы, кто сидел в седле, а кто на своём ранце; затем они снимали с себя сапоги и носки и опирались подбородком на дуло ружья. После этого нажимали большим пальцем ноги курок — паф! — и всё было кончено, — этим славным гренадёрам уже не нужно было идти дальше. О, как трудно было подниматься по Гвадарамским горам!

— Какая же это была армия? — спросил я.

— О, я служил в стольких армиях, что часто путаю одну с другой. Да, я немало повоевал. Кстати, я видал, как дерутся ваши шотландцы, из них выходят очень стойкие пехотинцы, но, насмотревшись на них, я думал, что здесь все у вас носят — как вы их называете? — юбки?

— Кильты, но их носят только в горах.

— Ах! В горах? Однако я вижу там какого-то человека. Может, это тот самый, про которого ваш отец говорил, что он отнесёт мои письма на почту?

— Да, это работник фермера Сайдхеда. Отдать ему ваши письма?

— Он будет лучше беречь их, если получит из ваших рук.

Он вынул письма из кармана и подал их мне. Я вышел из дома и дорогой случайно взглянул на адрес того, которое лежало сверху. На конверте крупным и разборчивым почерком было написано:

«Его Величеству Шведскому королю.

Стокгольм».

Я очень мало знал по-французски, но эти слова понял. Какой это орёл залетел в наше скромное гнездо?

Глава Седьмая **СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ В КОРРИМЮРЕ**

Мне самому показалось бы скучным, и я уверен, что наскучило бы и вам, если бы я вздумал рассказывать, как шла у нас жизнь после того, как этот человек поселился в доме, или о том, как он мало-помалу заслужил расположение всех членов семьи. Что касается женщин, это случилось очень скоро; но вскоре он расположил в свою пользу также и моего отца, что было совсем не легко, и даже Джима Хорскрофта. На самом деле мы были в сравнении с ним только два больших мальчика, потому что он везде побывал и всё видел; и по вечерам он, говоря неправильным английским языком, «заставлял нас забывать», что мы сидим в нашей простой кухне, откуда ничего не видно, кроме овечьего выгона, и переносил нас ко дворам разных государств, в лагеря, на поля сражений, и показывал нам все чудеса, которые делаются на свете. Сначала Хорскрофт был довольно груб с ним, но Делапп, благодаря своему такту и непринуждённому обращению, сумел поладить с ним и наконец совершенно покорило его сердце; Джим сидит, бывало, держа в своей руке руку кузины Эди, и оба они, позабыв обо

всём, слушают, что рассказывает Делапп. Я не буду передавать вам всего этого, но даже и теперь, через много лет, я могу проследить, как он, в продолжение недель и месяцев, своими словами и поступками переделал нас на свой лад.

Прежде всего он подарил моему отцу шлюпку, в которой приплыл, оставляя за собой право взять её обратно в случае, если она ему понадобится. Так как осенью в этом году косяки сельди шли мимо берега, а мой дядя ещё при жизни подарил нам целый комплект прекрасных сетей, то благодаря подарку незнакомца мы выручили немало денег. Иногда Делапп отправлялся на шлюпке в море совершенно один; однажды летом он целый день плавал вдоль берега, и я видел, что он, опустив весло в воду, останавливается и бросает в море навязанный на верёвку камень. Я не мог понять, для чего он это делает, пока он сам не разъяснил, в чём дело.

— У меня страсть изучать всё, что относится к войне, — сказал он, — и я всегда пользуюсь удобным случаем. Я думал о том, трудно ли будет командиру какого-нибудь армейского корпуса высадить на этом берегу десант.

— Нетрудно, если только не будет дуть восточный ветер.

— Ах! Совершенно верно, если только не будет дуть восточный ветер. А что, вы измеряли глубину в этом месте?

— Нет.

— Корабли, конечно, придётся оставить в море, но здесь довольно воды, чтобы сорокапушечный фрегат мог подойти на расстояние ружейного выстрела. Насажайте в шлюпки побольше стрелков, разверните их за этими песчаными холмами, затем отправляйтесь ещё за стрелками, стреляйте картечью над их головами с фрегата. Тогда получится! Тогда получится!

У него ошетинились усы, он сделался ещё больше похож на кошку, и, судя по тому, как блестели у него глаза, и я понял, что мечты унесли его далеко.

— Вы забываете, что на берегу будут наши солдаты, — сказал я с негодованием.

— Да уж конечно! — воскликнул он. — Разумеется, в сражении должны быть две стороны. Давайте развивать наш план. Сколько людей вы в состоянии выставить? Ну, скажем — двадцать, тридцать тысяч. Несколько полков хороших солдат, остальное — пуф! Новобранцы, мирные жители с оружием. Как вы называете их? — волонтеры.

— Это всё храбрые люди! — закричал я.

— О, да, очень храбрые люди, но глупые. Ah, mon Dieu!* Они невероятно глупы. Я хочу сказать, что глупы не они одни, но вообще все новобранцы. Они боятся того, что будут бояться и не примут никаких мер предосторожности. Видал я всё это! Я видел в Испании, как батальон новобранцев бросился в атаку на батарею, на которой было десять орудий. Они бросились так храбро! И вдруг склон холма, с вершины которого я смотрел, сделался похожим... как вы называете это по-английски?.. На пирог с малиновым вареньем. Куда делся наш прекрасный батальон новобранцев? Затем другой батальон вновь набранных солдат попытался овладеть батареей; они бросились все сразу со страшным криком. Но что может сделать крик против картечи? Все солдаты второго батальона полегли на склоне холма. Затем взять батарею было приказано гвардейским пехотным стрелкам; в их наступлении не было ничего красивого; они шли вроссыпь, без всякого крика, и ни один из них не был убит; стрелки шли по одному, а за ними следовали кучками резервы; через десять минут пушки замолчали, и испанские артиллеристы были изрублены в куски. Воевать нужно учиться, мой друг, точно так же как и разводить овец.

— Ну, нет! — сказал я, не желая, чтобы меня переспорил иностранец. — Если бы у нас было тридцать человек солдат на линии вон тех холмов, вы бы поблагодарили Бога за то, что у вас за спиной есть на море шлюпки.

— На линии холмов? — повторил он, сверкнув глазами и окинув взглядом весь их ряд. — Да, если бы ваш полководец знал своё дело, левый фланг у него был бы там, где стоит ваш дом, центр — в Корримюре, а правый — около дома доктора, и он выстроил бы во фронте плотные ряды стрелков. Само собой разумеется, его кавалерия старалась бы уничтожить нас по мере того, как мы выстраивались бы на берегу. Но если бы нам всё-таки удалось

* О, Боже мой! (франц.)

выстроиться, мы знали бы, что делать. Тут есть слабый пункт, вон там, в незащищённом месте. Я стал бы стрелять в него из пушек, затем развернул бы свою кавалерию, пустил пехоту большими колоннами, и это крыло было бы уничтожено. Скажите, Джек, где были бы ваши волонтёры?

— Они шли бы по пятам за вашим арьергардом, — сказал я, причём оба мы от души расхохотались, чем обыкновенно и кончались наши споры. Когда он вёл подобные разговоры, иногда я думал, что он шутит, но подчас не был в этом уверен.

Я хорошо помню, что как-то раз летним вечером, сидя в кухне с моим отцом, Джимом и со мной — женщины уже ушли спать, — он завёл разговор о Шотландии и её отношении к Англии.

— У вас прежде был свой король, и законы издавались для вас в Эдинбурге, — сказал он. — Теперь же всё идёт из Лондона; разве это не наполняет вашу душу гневом и отчаянием?

Джим вынул трубку изо рта.

— Это мы поставили короля над англичанами, и если кто и должен быть недоволен, так это люди, живущие по ту сторону границы.

Очевидно, иностранец не ожидал такого ответа и ненадолго замолчал.

— Но ведь ваши законы составляются там, и в этом, конечно, нет ничего хорошего, — сказал он наконец.

— Разумеется, было бы лучше, если бы парламент собирался опять в Эдинбурге, — сказал мой отец, — но я так занят своими овцами, что у меня нет времени думать о таких вещах.

— Это молодым людям, как вы двое, нужно подумать об этом, — сказал Делапп. — Когда страну притесняют, дело молодёжи — отомстить за неё.

— Да, англичане иногда слишком много себе позволяют, — сказал Джим.

— А если найдётся достаточно людей, которые разделяют это мнение, почему не составить из них полки и не итти прямо на Лондон? — воскликнул Делапп.

— Это была бы чудесная прогулка, — сказал я со смехом. — Но кто бы нас повёл?

Он вскочил с места, поклонился и, по своему смешному обыкновению, приложил руку к сердцу.

— Если вы позволите мне иметь эту честь! — воскликнул он. А потом, видя, что все мы смеёмся, и сам стал смеяться, но я уверен, что на самом деле он и не думал шутить.

Ни я, ни Джим никак не могли догадаться, сколько ему лет. Иногда нам казалось, что это уже пожилой человек, который моложав на вид. Его каштановые жёсткие волосы, которые он носил коротко остриженными, не нужно было стричь на макушке, где они поредели, и сквозь них просвечивала плешь. Его лицо было покрыто сетью пересекающихся в разных направлениях морщин и сильно потемнело, как я уже упоминал выше. Но стан у него был гибкий, как у мальчика, и вместе с тем он был крепок, как китовый ус, — он целый день бродил по холмам или плавал по морю и нисколько не уставал. Вообще мы полагали, что ему около сорока или сорока пяти лет, хотя трудно было поверить, что в таком возрасте у него столько энергии. Однажды мы разговорились о летах, и тут он удивил нас. Я сказал, что мне только что исполнилось двадцать лет, а Джим сказал, что ему — двадцать семь.

— Значит, я самый старший из нас троих, — сказал Делапп.

Мы засмеялись над этим: по-нашему выходило, что он почти годится нам в отцы.

— Но я немногим старше, — сказал он, подняв брови дугой. — В декабре мне исполнилось двадцать девять.

Это заявление, даже более, чем все его разговоры, убедило нас, что жизнь у этого человека была незаурядная. Увидев, что мы удивились, он засмеялся.

— Я жил! Я жил! — воскликнул он. — Я не тратил понапрасну дни и ночи. Я командовал ротой в битве, где сражались пять народов, когда мне было только четырнадцать лет. Я заставил одного короля побледнеть, шепнув ему на ухо несколько слов, когда был двадцатилетним юношей. Я участвовал в государственном перевороте и возвёл нового короля на трон одного великого государства. Mon Dieu! Я пожил на свете!

Вот и всё, что мы смогли узнать о его прошлой жизни, и он только покачивал головой и смеялся, когда мы старались выпытать у него ещё что-нибудь. Иногда нам казалось, что он просто ловкий обманщик, потому что зачем было скитаться без дела в Бервикшире человеку с

таким прошлым и с такими талантами? Но вскоре один эпизод доказал нам, что его прошлая жизнь принадлежала истории. Вы помните, что неподалёку от нас жил отставной майор, побывавший на континенте, тот самый, который плясал вокруг костра со своей сестрой и двумя служанками. Он отправился в Лондон хлопотать о своей пенсии и о вспомоществовании, потому что был ранен, а также и о том, чтобы достать себе какое-нибудь занятие, и домой вернулся только поздней осенью. В один из первых дней после приезда он пришёл повидаться с нами и тут в первый раз увидал Делаппа. Никогда я не видел такого удивлённого лица, какое было тогда у майора, он долго и пристально смотрел на нашего приятеля, не говоря ни слова. Делапп, в свою очередь, также пристально смотрел на него, но по глазам иностранца было видно, что он его не узнал.

— Я не знаю, кто вы, сэр, — сказал он наконец, — но вы так смотрите на меня, будто видали меня прежде.

— Да я и видал, — ответил майор.

— Не припомню.

— Но я побожусь, что видел вас.

— А где?

— В деревне Асторга, в восьмом году.

Делапп вздрогнул и опять пристально посмотрел на нашего соседа.

— Mon Dieu! Какая встреча! — воскликнул он. — А, вы были английским парламентарём? Я очень хорошо помню вас, сэр, — я говорю правду. Позвольте мне сказать вам два слова на ухо. — Он отвёл майора в сторону и с четверть часа говорил с ним по-французски, жестикулируя и что-то объясняя, между тем как майор время от времени утвердительно кивал своей седой головой. Наконец они, повидимому, пришли к какому-то соглашению, и я слышал, как майор несколько раз повторил: «Parole d'honneur»*, а затем: «Fortune de la guerre»**, — это я понял, потому что у Бертуистла хорошо преподавали языки. После этого я заметил, что майор никогда не говорил так бесцеремонно с нашим постояльцем, как говорили с ним мы, всегда кланялся, когда обращался к нему, и обходился с ним с большим уважением, что нас удивляло. Я не раз спрашивал майора, что он знает, но он всегда старался как-нибудь отшутиться, и я не мог добиться от него никакого ответа.

Это лето Джим Хорскрофт прожил дома, но поздно осенью снова отправился в Эдинбург на зимние занятия: он намеревался работать очень прилежно и, если удастся, получить весной учёную степень. Он сказал, что останется в городе и на Рождество. Выходит, они с кузиной Эди должны были распрощаться надолго; он имел намерение открыть практику и жениться на ней, как только получит диплом. Я никогда не видал, чтобы мужчина так нежно любил женщину, да и она любила его по-своему, потому что во всей Шотландии не нашлось бы мужчины красивее его. Но когда речь заходила о свадьбе, мне казалось, она расстраивалась при мысли, что все её великолепные мечты окончатся тем, что она сделается женой деревенского доктора. Но как бы то ни было, ей приходилось выбирать только между Джимом и мной, и из двоих она выбрала лучшего.

Конечно, был ещё и Делапп, но мы всегда чувствовали, что он человек совсем другого сорта, а потому он не шёл в счёт. В то время я не знал хорошенько, нравится ли он Эди или нет. Пока Джим был дома, они не обращали друг на друга почти никакого внимания. Но когда он уехал, они чаще стали бывать вместе, что было вполне понятно, так как раньше Джим отнимал у неё много времени. Раз или два она говорила со мной о Делаппе в тот смысле, что он ей не нравится, и тем не менее она беспокоилась, когда его не было вечером; и надо сказать, никто не любил слушать его разговоры и не задавал ему столько вопросов, как она. Она заставляла его описывать платья, которые носят королевы, и ковры, по которым оне ходят, спрашивала, есть ли у них в волосах шпильки и много ли у них перьев на шляпах, и я только дивился, как он мог найти на всё это ответ. А между тем ответ у него всегда был готов; он с такой охотой и так быстро отвечал ей и так старался её развлечь, что я только удивлялся, почему он ей не нравится.

Прошли лето, осень и большая часть зимы, а мы попрежнему жили очень счастливо вместе. Наступил 1815 год, а великий император всё ещё томился на Эльбе, и посланники всех

* Слово чести (франц.)

** Военная удача. Здесь: превратности войны. (франц.)

государств спорили в Вене о том, что делать со шкурой затравленного льва. А мы в нашем дальнем уголке Европы не оставляли наших скромных мирных занятий, ходили за овцами, посещали бервикские ярмарки, а по вечерам болтали, сидя у камина, в котором ярко пылал торф. Мы никогда не думали, что то, что делают все эти высокопоставленные и могущественные люди, может иметь какое-то отношение к нам; а что касается войны, все решили, что гигантская тень бонапартистской угрозы никогда уже не упадёт на нашу страну и что если только союзники не поссорятся между собой, то по всей Европе в течение пятидесяти лет не раздастся ни одного выстрела.

При всём том произошёл один случай, который вырисовывается в моей памяти со всеми подробностями. Было это приблизительно в феврале месяце вышеупомянутого года, и я хочу рассказать об этом прежде, чем пойду дальше.

Я уверен, вы знаете, какой вид имеют находящиеся на границе сторожевые укрепления. Это четырёхугольные башни, выстроенные вдоль пограничной линии для того, чтобы служить местом убежища во время нашествия. Когда Перси со своим войском переходил границу, народ загонял скот во двор башни, запирали большие ворота и зажигал огонь в жаровне на вершине, и наконец огни доходили до Каммермурских холмов, и таким образом известие передавалось в Пентланд и в Эдинбург. Само собой разумеется, теперь все эти башни покосились и обрушиваются, диким птицам очень удобно вить в них гнёзда. В Корримюрской сторожевой башне я нашёл много прекрасных яиц для своей коллекции. Однажды меня отправили далеко за холмы, с поручением к семейству Ледло Амстронга, которое живёт в двух милях от нас по ту сторону Эйтона. В пять часов, незадолго до захода солнца, я шёл по тропинке по склону холма; прямо передо мной виднелась остроконечная крыша Вест-Инча, а слева высилась старая сторожевая башня. Я повернулся и посмотрел на башню: она казалась очень красивой, так как вся была освещена красноватым светом заходящего солнца, а за нею до горизонта простиралось синее море. Я стал её разглядывать, и вдруг увидел, что в одном из отверстий стены мелькнуло человеческое лицо.

Я стоял, гадая, что бы такое это могло значить: что мог делать человек в этом месте? Птицы ещё не начинали вить гнёзд — слишком рано. Это было так странно, что я решил разузнать, в чём дело, а потому, несмотря на усталость, свернул с тропинки и направился к башне, стараясь идти как можно скорее. Вокруг всё до самой стены заросло травой, так что моих шагов не было слышно. Я дошёл до обрушившейся арки — прежде здесь были ворота. Заглянув в башню, я увидел, что там стоит Бонавентур Делапп и смотрит из того самого отверстия, в котором я видел лицо. Он стоял вполоборота, и я сейчас же понял, что он совсем не замечает меня, а смотрит во все глаза в том направлении, где находится Вест-Инч. Я сделал ещё несколько шагов вперёд, у меня под ногами захрустел щебень, и тут он вздрогнул, обернулся и посмотрел мне прямо в глаза.

Этого человека ничем нельзя было сконфузить; он нисколько не изменился в лице, как будто бы ждал меня давным-давно, хотя что-то в его глазах говорило, что он дорого бы дал, чтобы я опять пошёл своей дорогой вниз по склону холма.

— Э! — сказал я. — Что вы тут делаете?

— И я могу предложить вам тот же вопрос.

— Я пришёл сюда потому, что увидал в окне ваше лицо.

— А я потому, что, как вы вероятно заметили, очень интересуюсь всем, что имеет отношение к военному делу, и, разумеется, в числе прочего меня интересуют и укрепления. Извините меня, дорогой мой Джек, я вас оставляю на минуту. — И с этими словами он вдруг выскочил в отверстие в стене, как будто бы для того, чтобы скрыться от меня.

Но меня разбирало любопытство, и я не мог удовольствоваться его объяснениями. Я выбежал из башни, чтобы посмотреть, что он делает. Он стоял на открытом месте и отчаянно махал рукой, как бы подавая кому-то сигнал.

— Что вы делаете? — закричал я, побежал к нему и стал с ним рядом, чтобы увидеть, кому он подаёт знак.

— Вы слишком много себе позволяете, сэр, — заявил он в ярости. — Я никогда не думал, что вы дойдёте до этого. Порядочный человек волен поступать так, как считает нужным, и вы не должны за ним подглядывать. Если вы хотите, чтобы мы с вами остались друзьями, вы не станете вмешиваться в мои дела.

— Я не люблю тайных дел, — сказал я, — да и мой отец тоже.
— Ваш отец может говорить сам за себя, и тут нет никакой тайны, — ответил он коротко.
— Вы просто вообразили себе, что здесь кроется какая-то тайна. Я не выношу таких глупых выдумок.

Он повернулся спиной, даже не кивнув мне, и быстро пошёл по направлению к Вест-Инчу. Я пошёл вслед за ним в самом мрачном настроении: у меня было предчувствие, что вскоре случится какое-то несчастье, хотя я и не мог объяснить, что значило всё то, что я видел. Я стал ломать себе голову, для чего приходил сюда этот таинственный незнакомец, который так долго живёт у нас. Кого он поджидал в сторожевой башне? Не был ли он шпионом, и, может быть, какой-нибудь другой шпион, его собрат по ремеслу, приходил туда, чтобы переговорить с ним? Но всё это нелепо. Что можно высмотреть в Бервикшире? А кроме того, майор Элиот знал, кто он такой, и если бы он был дурным человеком, майор не стал бы оказывать ему такого уважения.

Только я додумался до этого, как вдруг кто-то весело окликнул меня: это был сам майор, который шёл от своего дома вниз по холму со своим бульдогом Боундером, которого он вёл на сворке. Это была свирепая собака, наделавшая немало бед в окрестности, но майор очень любил её и никогда не выходил без неё из дома, хотя водил её на привязи — на довольно толстом ремённом поводке. И вот, пока я ждал, чтобы майор подошёл поближе, он споткнулся, зацепившись хромой ногой за ветку дикого тёрна; стараясь удержать равновесие, он выпустил из рук сворку, и проклятая собака сейчас же стрелой пустилась вниз по холму, прямо ко мне. Скажу вам откровенно, я перепугался, потому что под рукой не было ни палки, ни камня, а я знал, как свиреп этот пёс. Оставшийся сзади майор громко кричал, но собака, видимо, думала, что он науськивает её, и бешено мчалась вперёд. Я знал её кличку и подумал, что это может мне помочь, а потому, когда она подбежала ко мне с ошетилившейся шерстью и налитыми кровью глазами, я во всё горло завопил: «Боундер! Боундер!» Это произвело желаемое действие: собака, рыча, пронеслась мимо меня и помчалась по тропинке по следам Бонавентура Делаппа.

Услышав крик, он обернулся и, повидимому, сразу понял, в чём дело, но шага не прибавил. Я очень испугался за него, потому что Боундер никогда не видел его прежде, и со всех ног бросился вперёд, чтобы оттащить от него пса. Когда тот подбежал к Делаппу и увидел указательный и большой палец его протянутой назад руки, его бешенство почему-то утихло, он завертел своим куцым хвостом и облапил Делаппа за колени.

— Так это ваша собака, майор? — спросил Делапп, когда к нему подошёл, прихрамывая, хозяин. — Какое славное животное, какая чудесная, красивая собака.

Майор тяжело дышал, потому что пробежал всё расстояние почти так же быстро, как и я.

— Я боялся, что он вас укусит, — говорил, задыхаясь, майор.

— Та, та, та! — воскликнул Делапп. — Да он совсем смирный: я очень люблю собак. Но я рад, что встретился с вами, майор, потому что вот этому юному джентльмену, которому я так обязан, пришло в голову, что я шпион. Не правда ли, Джек?

Меня так смутили его слова, что я не мог сказать ни слова в ответ, только покраснел и смотрел исподлобья, — ведь я был неуклюжий деревенский парень.

— Вы знаете меня, майор, — сказал Делапп, — и, уверен, скажете ему, что этого не может быть.

— Нет, нет, Джек! Конечно, не может! Этого, конечно, не может быть! — воскликнул майор.

— Благодарю вас, — сказал Делапп. — Вы меня знаете и будете ко мне справедливы. Ну, а как вы поживаете? Надеюсь, вашему колену лучше и вам скоро опять дадут полк?

— Я чувствую себя сносно, — отвечал майор, — но мне дадут место только в том случае, если начнётся война, а покуда я жив, войны уже больше не будет.

— О, вы так думаете! — сказал с улыбкой Делапп. — Что ж, nous verrons!* Это мы ещё увидим, мой друг!

Он проворно снял шляпу и, быстро повернувшись, пошёл по направлению к Вест-Инчу.

* Посмотрим (франц.)

Майор стоял в раздумье и смотрел ему вслед, а затем спросил, почему я подумал, что он шпион. И когда я рассказал ему обо всём, он ничего не ответил, только покачал головой с таким видом, будто его что-то тревожило.

Глава Восьмая ПРИБЫТИЕ КАТЕРА

После этого происшествия в сторожевой башне я уже не мог относиться к нашему постояльцу так, как прежде. Я не забывал, что он держит от меня что-то в тайне, или, выражаясь точнее, что он сам остаётся для меня загадкой, так как он всегда накидывал завесу на своё прошлое. И когда эта завеса случайно приподнималась, мы видели за ней кровопролитие, насилие и разные ужасы. Самый вид его тела был ужасен. Как-то раз летом я купался с ним и увидел, что у него на всём теле рубцы от ран. Не говоря уже о семи или восьми шрамах, у него были искривлены ребра с одной стороны и оторвана часть одной из икр. Увидев на моём лице удивление, он, по своей привычке, весело рассмеялся.

— Казаки! Казаки! — сказал он, проводя рукой по своим рубцам. — А рёбра переломаны артиллерийской фурой. Плохо, когда через тебя переезжает пушка. Кавалерия в этом смысле не страшна. Как бы быстро ни скакала лошадь, она выбирает дорогу. Как-то раз я лежал на земле, надо мной пронеслось полтораста кирасиров и русские гусары из Гродно, а я нисколько не пострадал. Но от пушек приходится туго.

— А икра? — спросил я.

— Ба! А это меня покусали волки, — сказал он. — Удивительная была история. И меня и лошадь подстрелили, лошадь была убита, а я лежал на земле со сломанными фурой рёбрами. Ну и холодно же было! Земля — точно железо, раненым помогать некому, они замёрзли и приняли такой вид, что просто смех! Я тоже чувствовал, что замерзаю — что же оставалось делать? Я взял свою саблю, вскрыл брюхо мёртвой лошади и устроил себе в ней убежище, чтобы можно было лечь, оставив только отверстие для рта. Sapristi!* Там было довольно тепло. Вот только там не доставало места для меня всего, и мои ступни и часть ног высывались наружу. Ночью, пока я спал, пришли волки, чтобы есть лошадь, вот они немножко пощипали и меня; после этого я был настороже с пистолетами и больше им не пришлось полакомиться мной. Я прожил так целых десять дней, и мне было очень тепло и уютно.

— Десять дней! — воскликнул я. — А чем же вы питались?

— Как чем? Я ел лошадиное мясо, значит, ха-ха, у меня были квартира и стол, как вы это называете. Но, разумеется, у меня хватило ума есть ноги, поскольку в туловище я жил. Вокруг валялось много убитых, и я собрал все их фляги с водой, — стало быть, у меня было всё, чего ни пожелаешь. На одиннадцатый день мимо проезжал патруль лёгкой кавалерии, и всё кончилось благополучно.

В подобных разговорах, приводить которые я не считаю нужным, он давал некоторое понятие о самом себе и проливал свет на своё прошлое. Впрочем, приближался день, когда мы узнали о нём всё, а как это случилось, — я попытаюсь теперь рассказать.

Зима была холодная, но в марте показались первые признаки весны, целую неделю светило солнце и ветер дул с юга. Седьмого числа должен был приехать из Эдинбурга Джим Хорскрофт, потому что, хотя занятия закончились первого, ему ещё предстояло сдать экзамены. Шестого мы с Эди гуляли по морскому берегу, и я не говорил ни о чём другом, как только о моём друге, потому что на самом деле в то время, кроме него, у меня не было друга одних со мной лет. Эди больше молчала, что случалось с ней редко, и с улыбкой выслушивала всё, что я говорил.

— Бедняжка Джим! — сказала она раз или два про себя. — Бедняжка Джим!

— А если он выдержит экзамен, — сказал я, — то, конечно, он откроет практику, будет

* Чорт возьми! (франц.)

жить отдельно от отца, а мы потеряем нашу Эди.

Я старался говорить об этом в шутовском и весёлом тоне, но слова не шли у меня с языка.

— Бедняжка Джим! — снова повторила она, и при этом слёзы навернулись ей на глаза. — И Джек тоже бедняжка! — прибавила она, всовывая свою руку в мою. — Ведь и вы когда-то немножко любили меня, не правда ли, Джек? О, какой там на море хорошенький кораблик!

В море показался катер приблизительно в тридцать тонн водоизмещением, очень быстрый на ходу, судя по уклону мачт и очертаниям кормы. Он шёл с юга под кливером, фок-зейлем и гротом; но как раз, когда мы смотрели на него, все его белые паруса свернулись подобно крыльям чайки, и мы видели, как расплескалась вода от якоря, пущенного прямо под бушпритом. Катер был менее чем в четверти мили от берега, — так близко, что я мог разглядеть высокого человека в остроконечной шапочке, который стоял на палубе, приложив к глазу подзорную трубу, которой он водил взад-вперёд, осматривая берег.

— Что им здесь нужно? — спросила Эди.

— Это богатые англичане из Лондона, — отвечал я, потому что мы, жители пограничных графств, всегда давали такое объяснение тому, чего не могли понять. Около часу мы смотрели на это великолепное судно, а затем, так как солнце зашло за тучу и стало холодно, вернулись в Вест-Инч.

Если подходить к ферме с фасада, нужно пройти через сад, в котором очень мало деревьев, и из него можно выйти через калитку на большую дорогу; это та самая калитка, у которой мы стояли в ту ночь, когда горели сигнальные огни и Вальтер Скотт проехал мимо в Эдинбург. Направо от калитки, со стороны сада, был грот, устроенный, как говорили, много лет тому назад матерью моего отца. Она сложила его из ноздреватых камней и морских раковин, а в трещинах выросли мох и папоротники. Когда мы вошли в калитку, первое, что бросилось мне в глаза, была эта груда камней: на самой её вершине белело засунутое в трещину письмо. Я шагнул, было, вперёд, чтобы посмотреть, что это за письмо, но Эди опередила меня и, вытащив его из трещины, сунула себе в карман.

— Это мне, — сказала она со смехом.

Я остановился и так посмотрел на неё, что она перестала смеяться.

— От кого это, Эди? — спросил я.

Она надула губы и ничего не ответила.

— От кого это? — закричал я. — Неужели вы так же изменили Джиму, как изменили мне?

— Какой вы грубый, Джек! — воскликнула она. — Кто дал вам право вмешиваться в дела, которые вас не касаются?

— Это письмо может быть только от одного человека! — воскликнул я. — От Делаппа.

— А что, если вы угадали, Джек?

Хладнокровие этой женщины удивляло и в то же время бесило меня.

— Вы признаётесь в этом! — закричал я. — Неужели же у вас совсем нет никакого стыда?

— А почему я не могу получать писем от этого джентльмена?

— Потому что это позорно.

— А почему это позорно?

— Потому что он — чужой вам человек.

— Напротив, — отвечала она, — он мой муж.

Глава Девятая ЧТО ПРОИЗОШЛО В ВЕСТ-ИНЧЕ

Я отлично помню эту минуту. Я слышал от других, что от сильного, неожиданного удара иногда притупляются чувства. Со мной было не так. Наоборот, я видел, слышал и соображал гораздо отчётливее, чем прежде. Я помню, что мне бросился в глаза выпуклый кусочек мрамора, величиной с мою ладонь, который был вставлен в один из серых камней грота, и я даже полюбовался его жилками нежного цвета, но, должно быть, у меня был какой-то

особенный взгляд, потому что кухня Эди вскрикнула и побежала в дом. Я вошёл за ней и постучал в окошко её комнаты, так как видел, что она там.

— Уходите, Джек, уходите! — закричала она. — Вы будете меня бранить! Я не хочу, чтобы меня бранили! Я не отворю окна! Уходите!

Но я продолжал стучать.

— Мне нужно переговорить с вами.

— О чём? — спросила она, подняв окно на три дюйма. — Как только вы начнёте браниться, я закрою окно.

— Вы в самом деле вышли замуж, Эди?

— Да, я вышла замуж.

— Кто вас венчал?

— Патер Бреннан в римско-католической церкви, в Бервике.

— Но ведь вы — пресвитерианка?

— Он хотел, чтобы мы венчались в католической церкви.

— Когда это было?

— В среду на прошлой неделе.

Тут я вспомнил, что в этот день она уезжала в Бервик, а Делапп отправился на дальнюю прогулку и, по его словам, гулял между холмами.

— А как же Джим?

— О, Джим простит мне это!

— Вы разобьёте ему сердце и искалечите его жизнь.

— Нет, нет, он простит мне.

— Он убьёт Делаппа! О, Эди, как вы могли навлечь на нас такой позор и несчастье?

— Ах, вы начинаете браниться! — воскликнула она и закрыла окно.

Я подождал некоторое время и затем опять постучал — мне нужно было расспросить её о многом; но она ничего не отвечала, и мне казалось, что я слышу её рыдания. Наконец я оставил это и хотел, было, войти в дом, потому что почти совсем стемнело, но тут услышал, как стукнула калитка. Это пришёл сам Делапп.

Когда он шёл по дорожке, то мне показалось, что он или сошёл с ума, или пьян.

Он приплясывал, щёлкал пальцами, а глаза его блестели, как блуждающие огни.

— Voltigeurs! — закричал он. — Voltigeurs de la Garde! — точно так же, как кричал тогда, когда лежал в беспамятстве, а затем вдруг воскликнул: — En avant, en avant!*

Он шёл к дому, махая над головой тростью. Он сразу остановился, когда увидел, что я смотрю на него, и, надо думать, ему сделалось стыдно.

— Эй, Джек! — закричал он. — А я думал, что тут никого нет. Я нынче в самом весёлом настроении, как говорите вы, англичане.

— Оно и видно, — сказал я напрямик по своему обыкновению, — только зря вы так веселитесь: ведь мой друг, Джим Хорскрофт, вернётся завтра домой.

— А, завтра? Но я не понимаю, отчего же мне не веселиться?

— Потому что, насколько я его знаю, он убьёт вас.

— Та, та, та! — воскликнул Делапп. — Я вижу, вам известно, что мы обвенчались. Вам об этом сказала Эди. Джим может делать что ему угодно.

— Хорошо вы отплатили нам за то, что мы приняли вас к себе!

— Мой добрый друг, — сказал он, — я действительно хорошо отплатил вам, как вы говорите. Я женился на Эди потому, что она не годится для здешней жизни; благодаря этому браку вы через меня породнились с благородной фамилией. Однако нынче вечером мне нужно написать несколько писем, а об остальном мы можем переговорить завтра, когда приедет ваш друг Джим.

И с этими словами он подошёл к двери.

— Так вот кого вы поджидали в сторожевой башне! — крикнул я ему вслед, потому что мне вдруг всё сделалось ясно.

— Ну, Джек, вы становитесь грубы, — сказал он насмешливым тоном. Через минуту я услышал, что он затворил дверь в своей комнате и щёлкнул ключом.

* Вперёд! вперёд! (франц.)

Я подумал, что больше уже не увижусь с ним в этот день, но через несколько минут после этого он пришёл в кухню, где я сидел вместе со стариками.

— Мадам, — сказал он с поклоном, приложив руку к сердцу по своему смешному обыкновению, — вы были очень добры ко мне, и воспоминание об этом я навсегда сохраню в своём сердце. Я даже не воображал себе, что буду так счастлив в этой тихой деревне. Прошу вас принять от меня на память эту вещицу, которую я считаю за честь поднести вам, а также и вы, сэр, примите от меня небольшой подарок.

Он положил два маленьких бумажных свёртка перед стариками, которые сидели, опершись на локти, и затем, отвесив три поклона матери, вышел из комнаты.

Одним из его подарков оказалась брошка с зелёным камнем посередине, окружённым блестящими белыми камушками, которых было около дюжины. Мы никогда не видели ничего подобного и даже не знали, как такие штуки называются. Но потом нам сказали в Бервике, что большой камень называется изумрудом, а маленькие — бриллиантами, и что они стоят дороже всех ягнят, которые родились у нас этой весной. Много лет прошло с тех пор, как умерла моя дорогая мать, но эта брошка блестит на шее моей старшей дочери, когда она идёт в гости, и всякий раз, глядя на неё, я вижу перед собой длинный худой нос и кошачьи усы человека, который когда-то жил у нас в Вест-Инче. Что касается отца, то он получил в подарок прекрасные золотые часы и к ним два футляра, и теперь сидел с гордым видом, держа их на ладони и прислушиваясь к тиканью. Трудно сказать, кто был больше доволен, мать или отец, и они только и говорили, что о подарках Делаппа.

— Кроме того, он подарил вам и кое-что ещё, — сказал я наконец.

— Что же, Джек? — спросил отец.

— Мужа для кузины Эди, — ответил я.

Сначала они подумали, что я брежу, а когда убедились, что это правда, то очень обрадовались и возгордились, как будто бы я сказал им, что она вышла замуж за лорда. Бедный Джим с его пристрастием к вину и кулачным боям не пользовался хорошей репутацией, и моя мать часто говорила, что из этого брака не выйдет ничего путного. А Делапп, насколько мы его знали, был человеком солидным, сдержанным и богатым. Что же до того, что брак был тайным, то тайные браки были тогда в Шотландии обычным делом — тогда ведь только и нужно было сказать несколько слов, чтобы сделаться мужем и женой; поэтому никто не обращал на это особо большого внимания. Словом, старики были так довольны, будто им сообщили об уменьшении поземельного налога; но мне всё-таки было больно: мне казалось, что с моим другом поступили жестоко, и я знал, что он не скоро примирится с этим.

Глава Десятая ТЕНЬ НАВИСАЕТ СНОВА

На следующее утро я проснулся с тяжёлым чувством на душе: я знал, что скоро приедет Джим и что этот день принесёт с собой горе. Но сколько именно горя принёс этот день и как после переменилась жизнь каждого из нас, этого я не мог вообразить себе даже в самом мрачном настроении. Впрочем, позвольте мне рассказать вам всё по порядку.

В этот день мне нужно было встать рано, потому что овец выгнали в первый раз на пастбище, и мы с отцом должны были на рассвете отправиться на пустошь. Когда я вышел в коридор, мне в лицо пахнул ветер: входная дверь была открыта настежь, и в утренних сумерках можно было разглядеть отворённую дверь внутри дома. И в комнате Эди, и в комнате Делаппа двери были распахнуты. Тут я сразу понял, что означали подарки, сделанные накануне вечером. Это было прощание.

Когда я заглянул в комнату кузины Эди, мне сделалось горько. Только подумать, что ради какого-то пришельца она покинула нас, не сказав ни одного ласкового слова на прощание! Да и он тоже! Я боялся даже думать, что произойдёт, когда Джим встретится с ним; то, что он решил удрать от Джима, казалось трусостью с его стороны. Я был рассержен, оскорблён, и мне было больно; и вот я вышел из дома, не сказав ни слова отцу, и поднялся по

холму на пастбище, чтобы освежить пылавшее лицо.

Поднявшись в Корримюр, я в последний раз увидел издали кузину Эди. Маленький катер всё ещё стоял там, где бросил якорь, но к нему плыло от берега гребное судно. Я видел, что на его корме развевается красный лоскут, и узнал красный платок кузины. Я видел, как судно подплыло к катеру, и сидевшие в нём люди поднялись на палубу. Затем катер снялся с якоря, снова распустил белые крылья и вышел в открытое море. Я ещё мог видеть красное пятнышко на палубе и Делаппа, который стоял рядом с кузиной. И они могли видеть меня, потому что моя фигура вырисовывалась на фоне неба, и они долго махали руками, но наконец перестали, видя, что я им не отвечаю. Я стоял со сложенными на груди руками, пока катер не сделался белым пятном, тающим в утреннем тумане.

Наступило время завтрака, и суп был подан на стол раньше, чем я вернулся домой, но мне совсем не хотелось есть. Старики выслушали новости довольно хладнокровно, хотя моя мать сильно порицала Эди, тем более что она никогда не любила одна другую; а в последнее время ещё меньше, чем прежде.

— Вон там лежит письмо от него, — сказал отец, указывая на запечатанную записку, которая лежала на столе. — Оно было оставлено в его комнате. Прочитай-ка его нам.

Они его так и не распечатали, потому что, сказать правду, ни тот ни другая не умели читать по писаному, хотя неплохо разбирали то, что напечатано хорошим крупным шрифтом.

На записке был крупным почерком выведен адрес: «Добрым людям, живущим в Вест-Инче». Вот что было в этой записке, которая теперь, когда я пишу, лежит передо мной. Она вся в пятнах, и чернила совсем выцвели.

«Друзья мои! Я не подумал бы оставить вас так неожиданно, если бы дело зависело от меня лично. Долг и честь опять призывают меня к моим старым товарищам. Вы, без сомнения, в самом скором времени поймёте это. Я беру с собой и вашу Эди, свою жену, и, может быть, когда-нибудь, в мирное время, вы опять увидите нас обоих в Вест-Инче. А пока примите уверения в моём искреннем расположении и будьте уверены, что я никогда не забуду тех месяцев, которые я прожил у вас так спокойно, когда не прожил бы большие недели, попади я в плен к союзникам. Когда-нибудь вы узнаете, почему так случилось.

Ваши

*Бонавентур де Лиссак,
гвардии полковник и адъютант
Его Величества Императора Наполеона».*

Когда я дошёл до этих слов, написанных под его фамилией, то присвистнул, потому что я уже давно решил в уме, что наш постоялец должен быть одним из тех удивительных солдат, о которых мы так много слышали и которые, за исключением нашей столицы, брали все столичные города в Европе, но я всё-таки не думал, что под нашей крышей живёт адъютант самого Наполеона и полковник его гвардии.

— Значит, его настоящая фамилия де Лиссак, а не Делапп, — сказал я. — Но как бы то ни было, хотя он и полковник, хорошо, что он убрался отсюда прежде, чем Джим наложил на него свою руку. И он успел вовремя, — прибавил я, выглянув из окна кухни, — потому что вот и Джим, лёгок на помине.

Я подбежал к двери, чтобы встретить его, сознавая в то же время, что я бы дорого дал за то, чтобы он остался в Эдинбурге. Он бежал к дому, махая над головой какой-то бумагой, и я подумал, что, может быть, это письмо от Эди и что ему всё известно. Но когда он подбежал ближе, я увидал, что это кусок плотной желтоватой бумаги, которая хрустела, когда он махал ею, и что в глазах его светится счастье.

— Ура, Джек! — громко закричал он. — Где Эди? Где Эди?

— Что это такое, дружище? — спросил я.

— Где Эди?

— Что это у тебя?

— Мой диплом, Джек. Теперь я могу лечить когда захочу. Всё сошло хорошо. Я хочу показать его Эди.

— Самое лучшее, что ты можешь сделать, это совсем забыть об Эди, — сказал я.

Я никогда в жизни не видал, чтобы человек так стремительно менялся в лице.

— Как! Что ты хочешь этим сказать, Джек Колдер? — запинаясь проговорил он.

Говоря это, он выпустил из рук свой драгоценный диплом, который упал за изгородь, долетел до куста вереска и затрепетал там на ветру; но Джим даже и не посмотрел на него. Он глядел на меня в упор, и я видел, что его глаза загорелись зловещим огнём.

— Она недостойна тебя, — сказал я.

Он схватил меня за плечо.

— Что ты сделал? — прошептал он. — Это твоя шутка? Где она?

— Она убежала с французом, который жил здесь.

Я всё придумывал, как бы мне сказать ему это помягче, но так как я совсем не умел лгать, то не смог придумать ничего лучше этого.

— О! — сказал он и остался стоять, кивая головой и глядя на меня, но я прекрасно понимал, что он не видит меня и едва держится на ногах. Так простоял он с минуту или больше, сжав кулаки и всё кивая головой. Затем он точно с трудом что-то проглотил и сказал странным, резким и хриплым голосом:

— Когда это случилось?

— Нынче утром.

— Они были обвенчаны?

— Да.

Он ухватился за дверной косяк, чтобы удержаться на ногах.

— Она ничего не велела мне передать?

— Она сказала, что просит тебя простить её.

— Пусть пропаду я пропадом в тот день, когда сделаю это! Куда же они поехали?

— Надо думать, во Францию.

— Кажется, его фамилия Делапп?

— Его настоящая фамилия де Лиссак, и он — лицо важное, полковник гвардии Бони.

— Ах! Он, должно быть, едет в Париж. Хорошо! Хорошо!

— Держись! — закричал я. — Отец, отец! Дай виски!

Под Джимом подогнулись колени, но он успел справиться с собой прежде, чем старик прибежал с бутылкой.

— Унесите виски, — сказал он.

— Выпейте, мистер Хорскрофт, — закричал отец, суя ему в руки бутылку. — Это подкрепит вас.

Джим схватил бутылку и перебросил её через изгородь.

— Это хорошо для тех, кто хочет забыться, — сказал он, — но я буду помнить.

— Да простит вам Бог, что вы понапрасну разбили бутылку! — громко воскликнул мой отец.

— И чуть не размозжили голову офицеру пехотного полка его величества! — добавил старый майор Элиот, голова которого показалась над изгородью. — Я не прочь выпить рюмочку после утренней прогулки, но когда около моего уха со свистом пролетает целая бутылка, — это уж слишком. Но что такое у вас случилось, что вы все стоите, точно на похоронах?

Я в нескольких словах рассказал ему о нашем горе, между тем как Джим с бледным лицом и нахмуренными бровями застыл, прислонившись к дверному косяку. Когда я кончил, то и у майора был такой же печальный вид, как у нас, потому что он очень любил как Джима, так и Эди.

— Фи! Фи! — сказал он. — У меня были кое-какие подозрения после той истории в сторожевой башне. Все французы таковы. Они не могут оставить женщин в покое. Но, по крайней мере, де Лиссак женился на ней, и это может служить нам утешением. Но теперь не время думать о наших личных огорчениях, опять поднялась вся Европа, и похоже, нужно снова ждать двадцатилетней войны.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я.

— Да как же, ведь Наполеон вернулся с острова Эльбы, и его войска собрались к нему, а Людовик спасся бегством. Я слышал эту новость нынче утром в Бервике.

— Господи! — воскликнул мой отец. — Нам опять придётся воевать, а это уже так надоело.

— Да, мы думали, что совсем избавились от тени, но вот она — опять показалась. Веллингтон получил приказание из Вены идти в Голландию, так как полагают, что Наполеон нападёт с той стороны. Ну, это известие не предвещает ничего хорошего. Я получил уведомление о том, что должен присоединиться к 71-му полку в чине старшего майора.

Услышав такие слова, я пожал руку нашему доброму соседу: я знал, как огорчало его то, что он калека и никому на свете не нужен.

— Я должен отправиться в свой полк как можно скорее, через месяц мы будем на континенте, а после этого не пройдёт, может быть, и месяца, как мы окажемся в Париже.

— Коли так, то клянусь, что и я тоже пойду с вами, майор! — воскликнул Джим Хорскрофт. — Мне не стыдно будет взять в руки ружьё, если только вы поставите меня лицом к лицу с этим французом.

— Молодой человек, для меня лестно, что вы будете служить под моим началом, — сказал майор. — Что же касается де Лиссака, то где будет император, там будет и он.

— Вы знаете этого человека? — сказал я. — Что вы можете сказать нам о нём?

— Лучшего офицера, чем он, не найдёшь во всей французской армии. Говорят, что он мог быть маршалом, но пожелал остаться с императором. Я виделся с ним за два дня перед битвой при Корунне, когда был послан парламентёром для переговоров о наших раненых. Он был тогда с Сультом. Когда я увидел его здесь, то сейчас же узнал.

— И я его узнаю, когда опять увижу! — сказал Джим Хорскрофт всё с таким же мрачным видом, как и прежде.

И тут мне вдруг стало ясно, как бессодержательна и бесцельна будет моя жизнь здесь в то время, как этот калека, наш приятель, и товарищ моего детства будут сражаться в передних рядах действующей армии. И я с быстротой молнии принял решение.

— Я тоже пойду с вами, майор! — воскликнул я.

— Джек! Джек! — вскричал отец, ломая руки. Джим не сказал ни слова, но обнял меня рукой и крепко прижал к себе. Глаза майора заблестели, и он помахал своей тростью.

— Похоже, со мной два славных новобранца, — сказал он. — Когда так, то нечего терять время: вы оба должны быть готовы к отходу вечернего дилижанса.

Всё это случилось в один день, а между тем часто бывает, что годы проходят за годами без всякой перемены. Как много уместилось в эти двадцать четыре часа! Де Лиссак уехал, Эди тоже уехала, Наполеон вырвался на свободу, вспыхнула война, Джим Хорскрофт потерял всё, что было ему дорого; мы отправились вместе с ним сражаться с французами. Всё это случилось точно во сне. И, наконец, вечером в этот день я пошёл садиться в дилижанс и, оглянувшись назад, увидел серые постройки фермы и две небольшие чёрные фигуры: мою мать, которая закрыла лицо шерстяным платком, и отца, который махал пастушьим посохом, желая мне доброго пути.

Глава Одиннадцатая

БИТВА НАРОДОВ

Теперь я подхожу к периоду моей жизни, при мысли о котором у меня и сейчас захватывает дух, и я жалею, что взялся рассказывать об этом, потому что я люблю, чтобы события шли медленно, в порядке, одно за другим, подобно тому, как овцы идут с пастбища. Так всегда было в Вест-Инче. Но когда нам довелось выйти на более обширное жизненное поприще, события, подобно маленьким соломинкам, которые медленно плывут по какой-нибудь канаве и вдруг попадут на простор и закружатся в водовороте большой реки, стали следовать одно за другим так быстро, что мне трудно описать их простыми словами. Почему всё так случилось, вы можете прочесть в исторических книгах, и потому я об этом говорить не буду, а скажу только о том, что видел своими глазами и слышал своими ушами. Полк, в который назначили нашего приятеля, был 71-й полк шотландской лёгкой пехоты, где солдаты носили красные мундиры и панталоны, а его интендантский склад находился в городе Глазго, куда мы и отправились все втроём в дилижансе; майор был очень весел и без конца

рассказывал истории о герцоге Веллингтоне и о континенте, а Джим сидел в углу со сжатыми губами и сложенными на груди руками, и я знал, что он мысленно убивает де Лиссака по меньшей мере по три раза за час. Я мог видеть это, потому что у него вдруг вспыхивали глаза и он крепко схватывался за что-нибудь рукой. Что касается меня, то я сам не знал, радоваться мне или печалиться, потому что ничто не может заменить родного дома, и хотя я и старался казаться твёрдым, но всё-таки было грустно думать о том, что целая половина Шотландии отделяет меня от матери.

В Глазго мы приехали на другой день, и майор повёл нас в интендантский склад, где какой-то солдат с тремя нашивками на рукаве и множеством ленточек, спускавшихся с фуражки, улыбнулся во весь рот, увидя Джима, и три раза обошёл вокруг него, чтобы лучше его разглядеть, точно Джим был Карлайлским замком. После этого он подошёл ко мне, ткнул меня в рёбра, пощупал мои мускулы и остался мной почти так же доволен, как и Джимом.

— Отменные солдаты, майор, отменные, — повторил он. — Будь у нас тысяча таких молодцов, мы могли бы отразить самых лучших гвардейцев Бонапарта.

— А как новобранцы в строю? — спросил майор.

— Плохо, — сказал солдат, — но сумеют выучиться. Самые лучшие воины отправлены в Америку, и у нас в полку всё ополченцы да новобранцы.

— Тьфу ты! — сказал майор. — А против нас вся старая гвардия. Вы двое можете прийти ко мне, если вам будет что-нибудь нужно.

С этими словами он, кивнув головой, ушёл, и тут мы начали понимать, что майор, наш командир, совсем не похож на того майора, который случайно оказался нашим соседом по деревне.

Ну хорошо, к чему надоедать вам всеми этими подробностями? Я испортил бы хорошо очинённое гусиное перо, если бы стал описывать всё, что делали мы, то есть Джим и я, на интендантском складе в Глазго, как познакомились с нашими начальниками и товарищами, а они с нами. Вскоре получено было известие о том, что высокопоставленные лица, которые собрались в Вене и разрезали Европу на части, как будто бы она была бараньей ногой, все разъехались — каждый к себе на родину, и что все солдаты и лошади их армий посланы против Франции. Мы слышали также и о том, что в Париже прошли большие смотры и манёвры, что Веллингтон находится в Нидерландах и что нам и пруссакам придётся выдержать первый удар. Правительство отправило к нему подкрепление на кораблях и делало это очень спешно, так что все порты на восточном берегу были загромождены пушками, лошадьми и боевыми припасами. Третьего июня и мы получили приказ выступить в поход, и вечером в тот же день сели на корабль в Лите, а вечером на следующий день прибыли в Остенде. Я в первый раз в жизни видел чужую страну, то же самое можно сказать и о большинстве моих товарищей, потому что мы только что поступили на военную службу. Мне кажется, что я ещё и теперь вижу перед собой синие воды, линию пенящегося прибоя, жёлтое взморье и странные ветряные мельницы, махавшие своими крыльями — пройди всю Шотландию с одного конца до другого, нигде такого не увидишь. Город был чистый, содержался в большом порядке, но жители были низкорослые, невзрачные, и у них нельзя было купить ни эля, ни овсяных лепёшек.

Отсюда мы отправились в место, которое называется Брюгге, а после этого в Гент, где соединились с 52-м и 95-м полками — они принадлежали к одной с нами бригаде. Гент замечателен своими церквями и каменными зданиями, и надо сказать правду, что из всех городов, в которых пришлось нам побывать, это был единственный город, где церкви лучше, чем в Глазго. Отсюда мы пошли дальше в Ат; это деревушка на речке, или скорее на ручейке, который называется Дендер. Тут нас расквартировали по большей части в палатках, потому что была прекрасная солнечная погода, и по всей бригаде начались учения с утра до вечера. Нашим главным начальником был генерал Адамс, а полковника звали Рейнел: оба они были прекрасными, закалёнными в боях воинами; но что ободряло нас всего более, это то, что мы находились под командой герцога, а его имя действовало на нас как призыв сигнального рожка. Сам он с главной частью армии находился в Брюсселе, но мы знали, что увидим его в том случае, если понадобится его присутствие.

Я никогда не видел столько англичан и, признаться, испытывал к ним некоторое презрение, с каким всегда относятся к англичанам шотландцы, живущие близ границы. Но

солдаты тех двух полков, которые соединились с нами, были отменными бойцами. В 52-м полку числилась в строю тысяча человек, и среди них было много старых солдат, которые побывали на Пиринейском полуострове. Они, по большей части, были из Оксфордшира. 95-й был полк карабинеров, которые носили тёмно-зелёные мундиры вместо красных. Заряжая свои карабины, они зачем-то завёртывали пулю в пропитанную салом тряпку и затем забивали её деревянным молотком, но стреляли при этом дальше и правильнее, чем мы. В то время вся эта часть Бельгии была наполнена британскими войсками: у Энгийена стояла гвардия, а в стороне от нас — кавалерийские полки. Веллингтону было необходимо развернуть все свои силы, потому что Бони находился под защитой своих крепостей, и трудно было сказать, с какой стороны он появится, но уж наверняка там, где его совсем не ожидают. С одной стороны, он мог отрезать нас от моря и, таким образом, от Англии; с другой стороны, он не мог занять положение между пруссаками и нами. Но герцог был не глупее его: он собрал вокруг кавалерийские и лёгкие полки, наподобие паутины большого паука, так что в ту же минуту, когда французы переступили бы границу, он мог расставить всех солдат на надлежащих местах.

Что касается меня, то мне жилось в Ате очень хорошо; люди тут были очень добрые и простые. Фермер, на полях которого был разбит наш лагерь, стал нашим большим приятелем. В свободное от учений время мы выстроили ему деревянную ригу, и не раз мы с Джебом Стоном, чьё место в строю было прямо за мной, развешивали для просушки его мокрое бельё: казалось, ничто так не напоминало нам обоим о доме, как запах этого сырого белья. Я часто вспоминаю об этом добром человеке и о его жене; не знаю, живы ли они до сих пор, — надо думать, что они уже умерли, потому что и в то время были очень пожилыми людьми. Иногда вместе с нами к нему приходил и Джим, который сидел со всеми в большой фламандской кухне и курил, но как мало он был похож на прежнего Джима! Он всегда отличался суровостью, но теперь горе превратило его в камень, я никогда не видал улыбки на его лице, и он редко говорил со мной. Он думал только об одном — как отомстить де Лиссаку за то, что тот отнял у него Эди; он сидел по целым часам, опершись подбородком на руки, сверкая глазами и хмурясь, всецело занятый одной этой мыслью. Сначала это казалось солдатам потешным, и они насмехались над ним, но, узнав его покорооче, поняли, что с ним шутки плохи, и оставили свои насмешки.

Мы вставали очень рано, и как только начинала заниматься заря, были уже под ружьём. Однажды утром — это было 16 июня — мы только что выстроились, и генерал Адамс подъехал отдать какой-то приказ полковнику Рейнелу, они находились на расстоянии длины ружья от меня: и вдруг оба устремили взгляд на Брюссельскую дорогу. Никто из нас не смел пошевелить головой, но глаза всех солдат устремились в ту же сторону, и мы увидели, что по дороге со всей скоростью, на какую способна его серая в яблоках лошадь, скачет офицер с кокардой генеральского адъютанта. Склонив голову над гривой, он хлестал её по шее поводом, как будто от этого зависела его жизнь.

— Смотрите, Рейнел! — сказал генерал. — Похоже на то, что начинается дело. Что вы об этом думаете?

Оба они поскакали галопом вперёд, и Адамс вскрыл поданный ему гонцом конверт, в котором лежала депеша. Конверт ещё не успел упасть на землю, а он уже повернул лошадь и помчался обратно, махая письмом над головой, точно это была сабля.

— Разойдись! — кричал он. — Общий смотр и через полчаса выступление в поход!

Вслед за этим началась страшная суматоха, все передавали друг другу новость. Накануне Наполеон перешёл границу, оттеснил пруссаков, прошёл довольно большое расстояние вглубь страны и теперь находился на востоке от нас со стопятидесяти тысячным войском. Мы бросились собирать вещи и завтракать, а через час выступили и навсегда оставили за собой Ат и Дендер. Нужно было спешить, потому что пруссаки не прислали Веллингтону никаких известий о том, что происходило, и хотя, как только до него дошёл слух, он сразу выступил из Брюсселя, идти на помощь пруссакам было уже поздно.

Было ясное тёплое утро, бригада двигалась по широкой Бельгийской дороге, и пыль поднималась клубами вверх, как дым от батареи. Мы не раз благословили человека, который посадил тополя по обе стороны дороги, потому что их тень была для нас лучше питья. Справа и слева от нашей имелось ещё две дороги, одна очень близко, а другая на расстоянии мили

или больше. По ближайшей дороге двигалась пехотная колонна, и между нами происходило, так сказать, состязание в скорости. Колонна эта была окутана таким облаком пыли, что мы видели только стволы ружей и медвежьи шапки, которые мелькали то там, то сям, а над этим облаком возвышались голова и плечи ехавшего верхом офицера и развевались знамёна. Это была гвардейская бригада, но мы не знали, какая именно, потому что вместе с нами шли в поход две такие бригады. На дальней дороге также клубилась пыль, а сквозь неё мелькало по временам что-то блестящее, подобно множеству серебряных бус, нанизанных на нитку, и вместе с ветром до нас долетала необыкновенная музыка — грохот, бряцанье и звон металла. Сам я никогда не догадался бы, что это значит, но наши капралы и сержанты были опытные вояки, и один из них со своей алебардой шёл рядом со мной; это был человек, который мог всё объяснить и дать совет.

— Это — тяжёлая кавалерия, — сказал он. — Видишь две блестящих линии? Это значит, что они в шлемах и латах. Там идут «Королевские», они же «Эннискиленские». Слышишь их барабаны и литавры? Французская тяжёлая кавалерия превосходит нас силами. У них десять человек против одного нашего, и все хорошие солдаты. Нужно будет стрелять им прямо в лицо или в лошадей. Помни об этом, когда их увидишь, а иначе четырёхфутовая сабля проткнёт тебе печень, и это послужит тебе хорошим уроком. Чу! Что это, опять старая музыка?

Где-то на востоке от нас послышался грохот канонады; она звучала глухо и хрипло, подобно рычанию кровожадного зверя, который замышляет лишить людей жизни. В эту самую минуту послышался позади крик: «Эй! Эй! Эй!» — и кто-то прокричал громовым голосом: «Пропустите пушки!» Оглянувшись назад я увидел, что находившиеся в арьергарде роты вдруг раздались и скатились по обе стороны в ров, и шестёрка лошадей буланой масти, запряжённых попарно, с громом втащила в образовавшийся проход двенадцатифунтовую пушку, которая со скрипом катилась за ними. За ней показалась другая пушка, затем ещё, — всего их было двадцать четыре; оне проследовали мимо нас с оглушительным шумом и стуком; солдаты в синих мундирах сидели на пушках и фургонах; возницы бранились; бичи свистели в воздухе, у лошадей развевались по ветру гривы, швабры и вёдра бренчали, и воздух был наполнен грохотом и звоном цепей. Изо рвов слышался какой-то рёв, — артиллеристы громко кричали; и вот уже впереди нас катится какое-то серое яблоко, в котором мелькают десятка два касок. Мы опять сомкнули ряды. Между тем грохот впереди нас ещё усилился.

— Там три батареи, — объяснил сержант. — Батареи Буля и Уэббера Смита, а третья — новая. Пушки здесь проезжали прежде этих, потому что вот следы девятифунтовой, а все остальные — двенадцатифунтовые. Если хочешь попасть в цель, то стреляй из двенадцатифунтовой, потому что девятифунтовая сделает из человека кашу, а двенадцатифунтовая скосит его, как морковную ботву.

И затем он стал рассказывать об ужасных ранах, которые видел своими глазами, так что у меня застыла в жилах кровь; натри я тогда лицо пеплом из трубки, оно и то не стало бы белее.

— Ничего, ещё и не так побледнеешь, как попадёт в брюхо целая пригоршня картечи, — сказал сержант.

Тут я увидел, что некоторые из старых солдат смеются, и понял, что этот человек хочет нас напугать, а потому и сам начал смеяться, только нельзя сказать, чтобы это был весёлый смех.

Солнце было у нас почти над головами, когда мы остановились в маленьком местечке, которое называется Галь. Тут нашёлся старый колодец с помпой, я накачал себе целый кивер воды, и она показалась мне вкуснее всякого шотландского эля. Мимо нас опять проехали пушки и Вивианские гусары — три полка: это были ловкие молодцы на хороших лошадях каурой масти, так что на них было приятно смотреть.

Грохот пушек всё нарастал, и мои нервы были потрясены точно так же, как когда я вместе с Эди наблюдал бой купеческого корабля с каперскими судами. Грохот сделался очень громким, и мне представлялось, что за ближним лесом идёт сражение, но мой приятель сержант лучше меня знал, что к чему.

— Это от нас за двенадцать, а может быть, и за пятнадцать миль, — сказал он. — Генерал

знает, что мы не нужны. Это уж точно, иначе мы не сделали бы привала в Гале.

То, что он сказал, оказалось верным, потому что через минуту подъехал полковник с приказом поставить ружья в козлы и расположиться здесь биваком. Мы простояли целый день, мимо нас шли английская, голландская и ганноверская кавалерия, пехота и пушки. Адская музыка продолжалась весь день, её звуки иногда возвышались до грома, а иногда понижались до рокота, и наконец около восьми вечера она совсем прекратилась. Вы можете себе представить, как нам хотелось узнать, что всё это значило; однако мы были уверены, что герцог всё сделает к лучшему, и поэтому, вооружившись терпением, ожидали, что будет дальше.

На следующий день утром бригада оставалась в Гале, но около полудня приехал от герцога ординарец. Мы опять выступили и наконец дошли до маленькой деревушки, которая называлась вроде Брен. Тут мы остановились и сделали это вовремя, потому что вдруг разразилась гроза, и проливной дождь превратил все дороги и поля в болото. Мы укрылись от дождя в ригах, и тут нашли двух заплутавших солдат — одного из шотландского полка, носившего кильты, а другого из немецкого полка; то, что они рассказывали, было так же ужасно, как и погода.

Накануне этого дня Бони совершенно разбил пруссаков, а наши товарищи поневоле должны были защищаться от Нея и наконец отбили его. Теперь вряд ли кому интересно про это слушать, но тогда мы стеной обступили этих двух солдат в риге, толкались и продавливались вперёд, чтобы поймать хоть слово из того, что они говорили, и к тем, которые слышали, приставали в свою очередь те, кому не повезло. Мы то смеялись, то радостно вопили, то стонали, внимая рассказу о том, как встретил 44-й полк кавалерию, как обратились в бегство голландцы с бельгийцами, как уланы замкнули в своё каре императорских «Чёрных Стражей» и затем перебили их всех поодиночке. Радостней всего было слышать, что уланы смяли 69-й полк и взяли одно из знамён. В заключение мы узнали, что герцог отступает, чтобы соединиться с пруссаками и что будто он опять займёт свою позицию и даст большое сражение на том самом месте, где мы остановились. Скоро мы убедились в том, что этот слух верен: к вечеру погода разгулялась, и мы все вышли на вершину холма посмотреть, что творится вокруг. Вокруг простирались пастбища и ржаные поля, наполовину зелёные и наполовину пожелтевшие; рожь была по плечо человеку. Нельзя было представить себе более мирной сцены; везде, куда ни кинь взгляд, за низкими волнообразными холмами, покрытыми рожью, вздымались над тополями колокольни деревенских церквей. Но как раз посередине этой прекрасной картины длинной вереницей шли люди. Одни были в красном, другие в зелёном, те в синем, а эти в чёрном. Они рассыпались по равнине и занимали все дороги; один конец колонны был так близко к нам, что мы могли бы покричать им, когда они приставили свои ружья к склону холма, а другой конец, насколько мы могли видеть, терялся вдали в лесах. А на других дорогах мы видели запряжённых цугом измученных лошадей, тусклый блеск пушек и солдат, из последних сил хлопотавших о том, чтобы колёса не увязли в глубокой грязи. Пока мы стояли, полк за полком, бригада за бригадой занимали позиции на поле, и солнце ещё не зашло, а уже мы находились на линии, состоящей более чем из шестидесяти тысяч человек и преграждавшей Наполеону дорогу в Брюссель. Но полил дождь, и мы, солдаты 71-го полка, бросились опять в нашу ригу: нам повезло куда больше, чем большинству наших товарищей, которые лежали в грязи, а над ними до самого рассвета бушевала гроза.

Глава Двенадцатая

ТЕНЬ НА ЗЕМЛЕ

На другой день утром всё ещё моросил дождь. По небу неслись тёмные облака, дул сырой холодный ветер. Открыв глаза, я с удивлением подумал, что ведь нынче должен буду участвовать в сражении; правда, никто из нас не представлял себе, что это сражение будет таким, каким оно оказалось на самом деле. Едва занялась заря, мы уже были на ногах и

совершенно готовы: отворив ворота риги, мы услышали, что где-то вдали играет странная, но очень приятная музыка. Мы стояли группами, прислушиваясь к ней. Это была красивая, не предвещавшая ничего грозного и грустного музыка. Но наш сержант, увидев, что она нам очень понравилась, засмеялся.

— Это французская полковая музыка, — объяснил он, — Выходите-ка из риги, авось увидите то, чего, может быть, некоторым никогда уж не придётся увидеть.

Мы вышли на двор — музыка всё ещё отдавалась в наших ушах — и поднялись на холмик за ригой. Внизу у откоса стояла маленькая ферма с черепичной крышей, обнесённая изгородью и с прилегающим к ней яблоневым садом. Её окружали солдаты в красных мундирах и высоких меховых шапках, которые работали как пчёлы: они пробивали отверстия в стене и укрепляли двери.

— Это лёгкие гвардейские роты, — сказал сержант. — Оне будут удерживать эту ферму до тех пор, пока хоть один из них будет в состоянии пошевелить пальцем. А теперь посмотрите вон туда, и вы увидите огни во французском лагере.

Мы посмотрели и увидели за долиной на невысоком холме множество желтоватых огненных точек и чёрный дым, медленно поднимавшийся кверху в сыром воздухе. Там, по ту сторону долины, находилась другая ферма, и мы увидели, что около неё на небольшом холме вдруг появилась группа верховых, которые пристально смотрели на нас. Позади было около дюжины гусар, а впереди пять человек. Трое из них в касках, один с длинным прямым красным пером на шляпе, а последний — в низенькой фуражке.

— Ну, ей-Богу же! — воскликнул сержант. — Это они! Это Бони! Вон тот, на серой лошади. Да, бьюсь об заклад на месячное жалованье, что это он!

Я напрягал зрение, чтобы увидеть человека, гигантская тень которого, покрывавшая всю Европу в продолжение двадцати пяти лет, упала также и на нашу захолустную ферму и отвлекла нас — меня, Эди и Джима — от той жизни, которую вели до нас наши предки. Насколько я мог разглядеть, это был коренастый, широкоплечий человек, он держал подозрительную трубу у глаз, широко расставив локти. Я всё ещё пристально смотрел на него, когда услышал близко от себя чьё-то дыхание. Это был Джим, глаза которого горели, как два угля.

— Это он, Джек, — прошептал он.

— Да, это Бони, — ответил я.

— Нет, нет, это *он*. Делапп или де Лиссак, или как его там зовут, чёрт бы его побрал! Это он.

Тут я узнал его. Это был всадник с красным пером на шляпе. Даже на таком расстоянии я мог бы поклясться, что узнал наклон его плеч и манеру держать голову. Я схватил Джима за рукав: я заметил, что в нём при виде этого человека закипела кровь и он готов был надеть Бог знает каких глупостей. В эту минуту Бонапарт, как казалось, наклонился к де Лиссаку и что-то сказал. Вся группа тронулась и исчезла из глаз. Вслед за тем послышался пушечный выстрел, и белый дым разостлался по склону холма. В ту же самую минуту в нашей деревне протрубили сбор, мы бросились разбирать оружие и занимать свои места. Был дан залп по всей линии, и мы подумали, что началось сражение; на самом деле наши товарищи просто прочищали ружья, потому что заряд мог отсыреть за дождливую ночь.

Ради открывшегося нам зрелища стоило приехать сюда из-за моря. Наш холм был точно шахматная доска красного и синего цвета, простиравшаяся до самой деревни, что находилась от нас на расстоянии двух миль. Солдаты передавали один другому, что синих мундиров слишком много, а красных слишком мало, кроме того, бельгийцы накануне показали себя трусами, а наши британские полки состояли наполовину из ополченцев и новобранцев, потому что лучшие полки, сражавшиеся на Пиринейском полуострове, ещё плыли по океану на транспортных судах. Они возвращались после какой-то глупой ссоры, возникшей между нами и нашими родственниками-американцами. И всё же мы видели медвежьи шкуры гвардейцев — их было две сильные бригады — и шапки горцев, а также синие мундиры старого немецкого полка, красные линии бригады Пака и бригады Кемпта, а впереди зелёные мундиры стрелков, — и мы знали: что бы ни случилось, эти люди останутся на том месте, на котором они будут поставлены, и у них есть командир, который поставит их именно туда, где они должны стоять.

Французов видно не было, только мерцающие огоньки их лагеря, да ещё несколько верховых мелькнули в долинах между холмами; но пока мы стояли, у них вдруг громко заиграла музыка, и вся их армия двинулась вниз по низенькому холму, закрывавшему её от нас; бригада шла за бригадой, дивизия за дивизией, так что склон холма, во всю его длину и ширину, засинел от их мундиров и заблестел от их сверкающего оружия. Казалось, им не будет конца — они всё выходили и выходили из-за холма, а наши солдаты стояли между тем опершись на ружья, курили трубки, смотрели вниз на эту огромную армию и слушали, что рассказывали о французах сражавшиеся с ними прежде. Затем, когда пехота собралась в плотные колонны, за нею покатились по склону холма пушки; их снимали с передков и готовили к бою. Затем вниз по холму гордой рысью полетела кавалерия, по крайней мере тридцать полков, с перьями и в кирасах, со сверкающими саблями и колеблющимися пиками; они выстроились на флангах и в арьергарде длинными блестящими линиями.

— Вот они, эти молодцы! — воскликнул наш старый сержант. — Они так и рвутся в бой, поверьте моему слову. Видите вон те полки в высоких киверах, немножко подальше фермы? Это гвардия. Их двадцать тысяч, дети мои, и все солдаты на подбор — люди, поседевшие в боях: они всю свою жизнь только и делали, что сражались, с самых тех пор как были ростом не выше моих сапог. У них три человека против наших двух и две пушки против нашей одной и, клянусь Богом, они заставят вас, новобранцев, пожалеть о том, зачем вы вообще покинули родной дом.

Наш сержант не умел ободрять и успокаивать, но так как он после битвы при Корунне участвовал во всех сражениях и на груди у него висела медаль с семью пряжками, он имел право говорить так, как хотел.

Когда французы выстроились на расстоянии ближе пушечного выстрела, мы увидели небольшую группу всадников в красном, одежда которых блестела серебром и золотом: они проскакали между дивизиями, и когда они проезжали, с обеих сторон слышались громкие приветственные крики, солдаты отдавали им честь и махали руками. Через минуту после этого шум стих, и обе армии стали одна против другой, храня мёртвое молчание. Это зрелище я и теперь часто вижу во сне! Затем вдруг среди солдат, находившихся как раз против нас, произошло какое-то движение; от плотной синей массы отделилась небольшая колонна, которая пошла, уклоняясь то в ту, то в другую сторону, по направлению к ферме, находившейся прямо под нашими ногами. Колонна не сделала и пятидесяти шагов, как с английской батареи, находившейся влево от нас, грянула пушка, и началась битва при Ватерлоо.

Я не сумею описать вам битву, и, конечно, я находился бы далеко отсюда и не участвовал в ней, если бы наша судьба — судьба трёх простолюдинов из шотландской пограничной области — не имела бы для неё столько же значения, сколько и судьба какого-нибудь короля или императора. Сказать по правде, я узнал больше об этой битве из того, что прочёл после, чем из того, что видел сам, потому что много ли мог я видеть, когда с каждой стороны от меня стоял товарищ, а на конце ружья было большое облако белого дыма. Только из книг и из рассказов других я узнал о том, как повела атаку тяжёлая кавалерия, как она наткнулась на знаменитых кирасиров и была изрублена в куски. Из того же источника я узнал о следовавших одна за другой атаках, а также и о том, что бельгийцы обратились в бегство, а Пак и Кемпт держались твёрдо. Но в этот долго тянувшийся день сквозь разредившийся дым и в промежутках между стрельбой я видел лишь немного, и вот об этом-то я хочу рассказать вам. Мы находились на правом фланге боевой линии и в резерве, потому что герцог боялся, что Бони обойдёт его с этой стороны и нападёт с тыла; потому наши три полка вместе с другой британской бригадой и ганноверцами были поставлены здесь, чтобы быть на всякий случай готовыми. Здесь были также и две бригады лёгкой кавалерии, но французская атака была направлена на фронт, так что мы потребовались только вечером.

Английская батарея, сделавшая первый залп, продолжала стрелять влево от нас, немецкая батарея действовала непрерывно с правой стороны, так что мы были совсем закутаны дымом; но он не закрывал нас настолько, чтобы служить защитой от находящихся напротив нас французских пушек, потому что десятка два ядер упали на землю как раз посреди нас. Когда я услышал их свист около уха, я пригнул голову, как человек, собравшийся нырнуть в воду, но наш сержант толкнул меня в спину рукояткой алебарды.

— Не будь таким вежливым, — сказал он, — когда в тебя попадает ядро, можешь один раз поклониться, и довольно.

Одно из этих ядер сбило с ног пятерых солдат и превратило их в кровавую массу; я видел его после того лежащим на земле — оно было похоже на мяч красного цвета. Другое попало в лошадь адъютанта, причём произвело такой звук, словно камень шлёпнулся в грязь; оно переломило ей спину и пролетело дальше, а лошадь лежала на земле, похожая на лопнувшую ягоду крыжовника. Ещё три ядра упали дальше направо, и по суматохе и крикам, какие поднялись там, можно было догадаться, что все они попали в цель.

— Джеймс, вы потеряли хорошую лошадь, — сказал майор Рид, стоявший как раз впереди меня, глядя с лошади на адъютанта, у которого все сапоги были в крови.

— Я заплатил за неё в Глазго пятьдесят фунтов стерлингов, — отвечал тот. — Как вы думаете, майор, не лучше ли солдатам лечь, раз до нас стали долетать ядра?

— Тьфу! — отвечал майор. — Они молодцы, Джеймс, это пойдёт им только на пользу.

— Ещё успеют наглядеться, прежде чем кончится сражение, — проворчал адъютант, в эту минуту стрелки и 52-й полк, находившиеся направо и налево от нас, двинулись вниз по склону, а потому нам было приказано растянуть линию. Выстрелы визжали, точно голодные собаки, на расстоянии нескольких футов за нашими спинами. Почти каждую минуту слышались глухие удары, какое-то шлёпанье, затем крики боли и топанье сапогами по земле: мы знали, что у нас большие потери.

Так как моросил мелкий дождик и дым стлался по земле, то только в те минуты, когда он немного рассеивался, мы могли видеть, что происходит впереди, хотя, судя по грохоту пушек, сражение шло уже по всем линиям. Теперь стреляли сразу из четырёхсот пушек, и от грохота могла лопнуть барабанная перепонка. У всех нас потом долго стоял в голове шум. Как раз напротив нас на склоне холма стояла французская пушка, и мы совершенно ясно видели, как из неё стреляли. Маленькие проворные люди в очень узких панталонах и высоких киверах с большими прямыми перьями работали, как овчары, которые стригут овец, — они приколачивали снаряд, банили пушку и стреляли. Когда я увидел их в первый раз, их было четырнадцать человек, а под конец их осталось только четверо, но они продолжали работать так же неустанно, как и прежде.

Внизу, под нами, находилась ферма, которая называлась Гугумон; и там всё утро шёл ожесточённый бой, потому что стены, окна и фруктовый сад были в пламени и в дыму, и оттуда доносились такие ужасные крики, каких мне никогда не приходилось слышать прежде. Ферма была наполовину сожжена и разрушена ядрами; десять тысяч человек ломались в ворота: около четырёх тысяч гвардейцев защищали её утром и две тысячи вечером, и ни один француз ещё не переступил её порог. Но как они дрались, эти французы! Жизнь была для них всё равно, что грязь под ногами. Там был один — я как будто и сейчас вижу его перед собой — довольно полный человек с красным лицом, на костыле. Он подошёл совершенно один, прихрамывая, к боковым воротам Гугумона, начал стучать в них и закричал своим солдатам, чтобы они шли за ним. Он пробыл тут пять минут, расхаживая взад и вперёд перед наведёнными на него дулами ружей, выстрелы из которых в него не попали, но наконец один брауншвейгский стрелок, находящийся в саду, прицелился из винтовки и прострелил ему голову. И это был только один из многих, потому что в продолжение всего дня, когда французы не наступали целыми массами, они подходили по двое и по трое, и на лицах у них было написано такое мужество, как будто бы вслед за ними шла целая армия.

Мы пролежали так всё утро, смотря сверху вниз на бой при Гугумоне; но герцог вскоре увидел, что справа бояться нечего, и потому нашёл для нас другое употребление.

Французы выдвинули своих застрельщиков* дальше фермы, и они, засев в незрелой ржи, стреляли в канониров, так что прислуга трёх из шести орудий, находившихся влево от нас, была вся перебита и лежала вокруг в грязи. Герцог видел решительно всё и в эту минуту подъехал к нам. Это был смуглый, худой, но крепкого сложения человек с блестящими глазами, носом с горбинкой и большой кокардой на треуголке.

За ним ехало человек двенадцать офицеров, и все они были так веселы, как будто бы охотились за лисицей: к вечеру из этих двенадцати человек не осталось в живых ни одного.

* Хорошее русское слово, указывающее на скверную суть, обозначаемого им предмета; совершенно вытеснено теперь из обихода вуалирующим её английским словом «снайпер». (П.Г.)

— Жаркое дело, Адамс, — сказал герцог, подъезжая к нам.

— Очень жаркое, ваша светлость, — отвечал наш генерал.

— Но я думаю, мы сможем выдержать их натиск. Ведь не можем же мы допустить, чтобы их застрельщики заставили замолчать нашу батарею. Переведите этих солдат на другое место, Адамс.

Только тут я узнал, какое необъяснимое чувство овладевает человеком, когда ему приказывают идти в бой. До сих пор мы просто лежали на земле и нас убивали, а это самое скучное дело в сражении. Теперь наступила наша очередь, и клянусь вам, мы были вполне готовы к этому. Мы, то есть вся бригада, сразу вскочили на ноги и, выстроившись в четыре ряда, бросились на засеянное рожью поле. Когда мы подходили, застрельщики дали по нам залп, а потом начали пробиваться сквозь рожь, точно перепела, — опустив головы, согнув спины и волоча за собой ружья. Половина из них ушла от нас, но остальных мы догнали — сначала офицера, потому что он был очень полным человеком и не мог бежать быстро. У меня закружилась голова, когда я увидел, как Роб Стюарт вонзил свой штык в широкую спину француза, и тот завыл, точно грешник в аду. На этом поле никому не было пощады, и все они были перебиты. Наши солдаты рассвирепели, и неудивительно, потому что эти осы жалили нас всё утро, а мы были не в состоянии даже толком их разглядеть.

Мы прошли до самого дальнего конца засеянного рожью поля и очутились перед дымовой завесой: тут стояла на своей позиции вся французская армия, от которой нас отделяли только два луга и узкая просёлочная дорога. Увидя французов, мы испустили крик и, дай нам волю, бросились бы в атаку, потому что глупые молодые солдаты часто рискуют головой без всякой пользы. Однако на сей раз рядом с нами ехал рысью на своей лошади герцог, и вот он что-то крикнул нашему генералу. Вслед за этим все офицеры подались вперёд и своим оружием преградили нам дорогу. Заиграли сигнальные рожки, началась толкотня и давка, сержанты бранились и распахивали нас алебардами, и скорее, чем я успею написать эти строки, вся бригада выстроилась в три небольших правильных каре с торчащими со всех сторон штыками, как это называется — эшелоном, так, чтобы каждое каре могло стрелять, не задевая другого.

Это было для нас спасением, что легко мог понять и я, хотя и был всего лишь мальчишкой-солдатом. На нашем правом фланге был низкий отлогий холм, и из-за него доносился звук, который можно сравнить разве что с шумом волн на бервикском берегу, когда ветер дует с востока. Вся земля содрогалась от этого глухого рокота.

— Смелее, 71-й полк, ради Бога смелее! — кричал за нами голос нашего полковника, хотя перед нами не было ничего, кроме отлогого зелёного ската, покрытого травой и испещрённого ромашкой и одуванчиками.

И вдруг из-за холма показались разом восемьсот медных касок с длинными хвостами из конских волос, развевающимися по воздуху, а затем восемьсот свирепых лиц, которые, сверкая глазами, смотрели на нас между ушами такого же числа лошадей. С минуту можно было видеть только блеск кирас, свистящие в воздухе сабли, развевающиеся гривы лошадей, их раздувающиеся красные ноздри и слышать топот копыт; затем послышался ружейный залп, и наши пули застучали, ударяясь об их кирасы, точно град об оконные стёкла. Я выстрелил вместе с остальными и затем как можно скорее забил новый заряд стараясь разглядеть сквозь дым, что происходит передо мной; но видел лишь что-то длинное и тонкое, медленнодвигающееся взад и вперёд.

Нам дан был рожком сигнал прекратить стрельбу; порыв ветра рассеял окутывавший нас дым, и тут мы разглядели, что случилось.

Я ждал, что половина кавалерийского полка лежит на земле; но то ли французов спасли их кирасы, то ли мы, молодые солдаты, в суматохе выстрелили слишком высоко, только залп не причинил им большого вреда. Около тридцати лошадей лежало на земле, три из них на расстоянии десяти ярдов от меня; средняя лежала на спине, задрав кверху все четыре ноги; одна из этих ног и была тем непонятным предметом, который я видел сквозь дым. Около восьми или десяти человек были убиты и приблизительно столько же ранены: они ещё не могли прийти в себя и сидели на траве, хотя один кричал изо всей силы: «Vive l'Empereur!»*

* Да здравствует император! (франц.) Боевой клич наполеоновской армии.

Другой солдат, раненный в бедро — он был высокого роста и с чёрными усами, прислонился к своей убитой лошади и, подняв с земли свою винтовку, продолжал стрелять с таким хладнокровием, как будто бы находился в тире, и попал прямо в лоб Августу Мейерсу, стоявшему от меня через двух человек. Затем он протянул руку, чтобы поднять другую винтовку, лежавшую неподалёку, но тут громадный ростом Ходсон, самый сильный солдат во всей гренадёрской роте, выскочил вперёд и всадил ему штык в шею.

Сначала я думал, что нам просто за дымом не видно, как кирасиры обратились в бегство; но они были не из таких. При нашем залпе их лошади шарахнулись в сторону, и они попали под выстрелы двух других каре, находившихся за нами. Тогда они проскочили сквозь изгородь и, натолкнувшись на полк ганноверцев, выстроенный в линию, поступили с ними так, как поступили бы с нами, если бы мы не выказали такого проворства, — в одну минуту изрубили всех солдат в куски. Было ужасно смотреть, как долгоязыые немцы бегали и кричали, а кирасиры приподнимались на стременах, чтобы ловчее взмахнуть длинными тяжёлыми саблями, которыми резали и кололи без милосердия. Вряд ли из всего полка осталось в живых хотя бы сто человек. После этого французы вернулись и проскакали перед нашим фронтом; они кричали и махали саблями, которые были красны от крови до самой рукоятки. Это они делали для того, чтобы заставить нас стрелять, но полковник, опытный воин, удержал нас, потому что мы не могли принести им большого вреда на таком расстоянии, а они набросились бы на нас прежде, чем мы успели бы вторично зарядить ружья.

Эти верховые опять скрылись за холмом по правую руку от нас, а мы прекрасно понимали, что, если бы мы разомкнули каре, они моментально налетели бы на нас. С другой стороны, было трудно оставаться в таком положении, потому что французы установили на расстоянии нескольких сотен ярдов от нас батарею, состоящую из двенадцати пушек, и стали стрелять так, что ядра пролетали прямо в середину нашего каре, — это называется беглым огнём. А один из их артиллеристов вбежал по склону на вершину холма и на глазах у всей бригады воткнул в сырую землю кол, чтобы он служил им указанием, и ни один из солдат не выстрелил в него, — каждый надеялся, что это сделает другой. Прапорщик Симпсон, бывший самым младшим офицером в полку, выбежал из каре и вытащил из земли кол; но стремительней шуки, которая гонится за пескарём, на холм взлетел какой-то улан и нанёс прапорщику сзади такой удар пикой, что не только её острие, но и ствол прошли насквозь между второй и третьей пуговицами мундира. «Элен! Элен!» — воскликнул Симпсон и упал ничком на землю, между тем как улан, изрешеченный ружейными пулями, свалился с лошади около него, всё ещё держа в руках своё оружие: так они и лежали вместе — смерть соединила их страшными узами.

Когда батарея открыла огонь, у нас не осталось времени думать о постороннем. Каре хорошо для того, чтобы встретить кавалерию, но это самый неудобный строй, когда летят пушечные ядра, в чём мы скоро убедились, когда они начали оставлять среди нас кровавые следы. Наконец нам надоело слышать это постоянное шлёпанье, звук, который производит твёрдое железо, ударяясь о живое тело. Через десять минут мы переместились на сто шагов вправо; на том месте, на котором мы стояли, остались убитыми сто двадцать рядовых и семь офицеров. Но потом пушки снова отыскиали нас, и мы попробовали выстроиться в линию, однако в ту же минуту кавалерия — теперь это были уланы — бросилась на нас в атаку по склону холма.

Надо сказать, что мы обрадовались, услышав топот лошадей: мы знали, что благодаря этому прекратится на некоторое время пушечный огонь, и это даст нам возможность отразить нападение. На этот раз мы отразили его с достаточной силой, потому что были хладнокровны, злы и свирепы; что до меня, я не обращал большого внимания на этих кавалеристов, словно это были овцы в Корримюре. На войне человек по прошествии некоторого времени перестаёт бояться за собственную шкуру. Чувствуешь, что непременно нужно заставить кого-то заплатить за то, что пришлось испытать самому. На этот раз мы отплатили уланам, потому что у них не было кирас, которые могли бы защитить их, и семьдесят человек из их числа мы выбили залпом из седла. Может быть, это и не доставило бы нам такого удовольствия, если бы мы видели семьдесят матерей, плачущих о своих сыновьях; но в сражении люди делаются похожи на диких зверей и ни о чём не думают, точно так же, как два щенка-бульдога, схватившие один другого за горло.

Наш полковник распорядился очень умно: рассчитывая задержать кавалерию минут на пять, он выстроил нас в линию и прежде, чем начали стрелять пушки, отодвинул нас дальше ко впадине холма, так, чтобы в нас не могли попадать ядра. Благодаря этому мы смогли перевести дух, что было необходимо, потому что наш полк таял, точно сосулька на солнце. Но если нам приходилось плохо, то другим было ещё хуже. Среди бельгийцев, которых насчитывалось пятнадцать тысяч, царило полное замешательство, да и в нашей линии образовались большие промежутки, через которые свободно двигалась французская кавалерия. Кроме того, у французов было больше пушек, и они были гораздо лучше наших, а наша тяжёлая кавалерия была изрублена в куски, так что дело нас не радовало. С другой стороны, Гугумон, эта обгаренная кровью развалина, был ещё в наших руках, — там все британские полки держались крепко; хотя, если уж говорить правду — а это должен делать всякий человек, — кое-где среди синих мундиров видны были красные, которые подвигались к задним рядам; но это были молодые солдаты и отставшие — трусы, какие попадают в во всякой армии; я опять повторяю, что полностью не отступил ни один полк. Сами мы видели очень мало из того, что происходит; но надо было быть слепым, чтобы не заметить, что за нами все поля покрыты обратившимися в бегство солдатами. Когда начали показываться пруссаки — хотя мы, находясь на правом фланге, ничего не знали об этом, — Наполеон выставил против них двадцать тысяч своих солдат, которые бросились на них, и те отступили, так что мы остались опять одни. Обо всём этом мы ничего не знали; одно время французская кавалерия находилась между нами и остальной армией, и мы уж подумали, что только одна наша бригада и уцелела, а потому твёрдо решили продать свою жизнь как можно дороже. Был уже пятый час пополудни; почти у всех нас со вчерашнего вечера не было куска во рту, и, кроме того, дождь промочил нас насквозь. Он моросил целый день, но в последние часы нам некогда было думать ни о погоде, ни о голоде. И вот мы начали озираться, подтягивая пояса и спрашивая себя, кто ранен, а кто уцелел. Я рад был увидеть Джима: его лицо совсем почернело от пороха, он стоял справа от меня, опершись на своё ружье. Он увидел, что я смотрю на него, и крикнул, не ранен ли я.

— Нет, не ранен, Джим, — ответил я.

— Кажется, я пустился в безумное предприятие, — сказал он с мрачным видом, — но дело ещё не кончено. Клянусь Богом, или я его убью, или он меня.

Бедный Джим день и ночь думал о своей обиде и, сказать по правде, видимо, слегка тронулся умом, потому что в глазах у него был какой-то особенный блеск, какого я никогда не видал раньше. Он всегда принимал к сердцу всякие пустяки, и я был уверен, что с тех пор, как его бросила Эди, он не вполне владел собой.

В это время мы увидели два поединка, которые, как мне рассказывали, довольно часто происходили в сражениях в старые годы, прежде чем солдат приучили драться массами. На возвышении перед нами проскакали, прищипывая лошадей, два всадника; они мчались во весь опор. Первый из них был английский драгун; он летел вперёд, склонив лицо к самой лошадиной гриве; за ним гнался французский кирасир, старый седой солдат на огромной чёрной лошади, которая громко стучала копытами. Завидев их, наши солдаты подняли насмешливый крик: нам было стыдно, что англичанин удирает от француза, но, когда они пролетели перед нашим фронтом, мы поняли, в чём дело. Драгун уронил саблю и был совершенно безоружным, враг совсем настигал его, а добыть новое оружие ему было негде. Наконец, может быть, задетый за живое нашими насмешками, он решился добыть его во что бы то ни стало. Увидев, что около одного убитого француза лежит пика, он резко поворотил лошадь в сторону, пропустил своего врага вперёд и затем, ловко спрыгнув с седла, схватил пику. Но и другой был тоже не промах и налетел на него с быстротой молнии. Драгун бросился на француза с пикой, но тот отразил удар и саблей разрубил противнику плечо. Всё это произошло в одну минуту, и француз рысью помчался вверх по холму; обернувшись к нам, он оскалил зубы, точно огрызающаяся собака.

В первом поединке победа была на стороне французов, но в следующем отличились мы. Они выдвинули вперёд линию стрелков, огонь которых был направлен не против нас, а против находившихся справа и слева от нас батарей; мы выслали две роты 95-го полка, чтобы остановить их. С обеих сторон слышался страшный треск, потому что и те, и другие стреляли из ружей. В числе французских стрелков был один офицер — высокий и худощавый, в плаще,

накинутом на плечи; когда наши солдаты выступили вперёд, он выбежал из строя и стал между двумя сторонами в позе фехтовальщика — с поднятой кверху саблей и откинутой назад головой. Я как сейчас вижу его, стоящего с опущенными ресницами и насмешливой улыбкой на лице. Увидя это, младший офицер наших стрелков — молодой человек красивый собой и высокого роста, выбежал вперёд и стремительно бросился на него с одной из тех странных кривых сабель, какие бывают у стрелков. Они столкнулись точно два барана — оба побежали друг другу навстречу, — оба упали от толчка, но француз оказался внизу и не мог подняться. Наш офицер сломал об него свою саблю, но клинок сабли его врага прошёл сквозь его левую руку; так как он был сильнее своего противника, ему удалось добить того зубчатым обломком клинка. Я так и думал, что после этого его прикончат французские стрелки, но ни один из них не спустил курка, и он вернулся к своей роте: одна сабля прошла сквозь его левую руку, а в правой он держал обломок другой.

Глава Тринадцатая ИСХОД БИТВЫ

Когда я вспоминаю об этом сражении, всего страшнее мне кажется то, что на всех моих товарищей оно произвело различное действие: некоторые вели себя так, будто сидели у себя дома за обедом, происходящее не вызывало у них ни любопытства, ни удивления; другие с первого пушечного выстрела до последнего бормотали молитвы, третьи так бранились, что мороз продирает по коже. Или вот ещё: слева от меня стоял Майк Тредингем, так он надоедал всем рассказами о своей незамужней тётушке Саре — о том, что она завещала деньги, которые хотела оставить ему, на приют для детей погибших матросов. Он Бог знает сколько раз рассказывал мне эту историю, но, когда кончилось сражение, стал клясться, что во весь день не промолвил ни слова. Что касается меня, я не могу точно сказать, говорил я или нет, но помню, что мой ум и память были яснее, чем когда-либо, и я всё время думал о стариках, о доме, о кухне Эди с её лукавыми глазками, о де Лиссаксе с его кошачьими усами, обо всём том, что произошло в Вест-Инче и благодаря чему мы очутились на равнинах Бельгии и служили мишенью для двухсот пятидесяти пушек.

Грохот пушек был ужасным, но вдруг оне разом смолкли, как во время грозы замолкает на минуту гром, чтобы потом загрохотать с новой силой. Был ещё слышен сильный шум на одном из отдалённых флангов, где подвигались вперёд пруссаки, но это было за две мили от нас. Остальные батареи, как французские, так и английские, молчали, и дым рассеялся настолько, что обе армии смогли наконец увидеть одна другую. Возвышенность, на которой мы стояли, представляла собой ужасное зрелище, потому что на том месте, где прежде находилось немецкое войско, лишь маячили там и сям отдельные кучки солдат в красных мундирах и линии в зелёных мундирах, между тем как массы французов казались такими же плотными, как и прежде, хотя, конечно, мы знали, что они потеряли не одну тысячу в атаках. Мы слышали их громкие весёлые крики; затем все их батареи сразу загрохотали так, что в сравнении с этим грохот выстрелов в начале сражения казался тихим шорохом. Теперь батареи подвинулись вдвое ближе, в упор, а спереди и сзади их защищали огромные массы кавалерии.

Когда раздался этот адский грохот, каждый солдат, до последнего мальчишки-барабанщика, сразу же понял, что это значит — Наполеон предпринимал последнее усилие уничтожить нас.

До темноты оставалось два часа, и теперь всё зависело от того, сумеем ли мы продержаться до этого времени. Умирая от голода и усталости, изнемогая, мы просили Бога дать нам сил заряжать ружья, колоть врага, стрелять в него и биться до тех пор, пока хоть один из нас останется в живых. Пушечные выстрелы Наполеона не принесли нам большого вреда, потому что мы лежали ничком: мы готовы были выставить целый лес штыков, если бы на нас опять напала кавалерия. Но вот среди грома пушек послышались более резкие звуки — топот, стук, свист рассекаемого воздуха.

— Они идут в атаку! — закричал какой-то офицер. — И на этот раз будут атаковать понастоящему.

В тот миг какой-то француз, в мундире гусарского офицера, подскочил к нам галопом на маленькой лошадке. Он кричал что есть духу: «Vive le roi! Vive le roi!»* — это означало, что он был дезертиром, так как мы были на стороне короля, а он — на стороне императора. Проезжая мимо нас, он крикнул по-английски: «Гвардия идёт! Гвардия идёт!», а потом исчез за арьергардом подобно древесному листу, гонимому бурей. В ту же самую минуту к нам прискакал адъютант: лицо его побагровело от напряжения.

— Задержите их, иначе мы погибли! — закричал он генералу Адамсу, так что услышала вся наша рота.

— Как дела? — спросил генерал.

— Из шести тяжёлых полков остались только два слабых эскадрона, — отвечал он и вдруг начал смеяться, как человек, у которого расходились нервы.

— Может быть, вы пожелаете соединиться с нашим авангардом? Пожалуйста, считайте себя одним из наших, — сказал генерал с поклоном и улыбкой, как будто приглашая на чашку чая.

— Почту за честь, — отвечал тот, снимая с головы шляпу; через минуту после этого все наши три полка соединились, и бригада, построившись в каре, выдвинулась из впадины, где мы лежали, по направлению к французскому авангарду.

Теперь его почти совсем не было видно; можно было видеть только красное пламя, которое изрыгали пушки, облака дыма и чёрные фигуры, которые суегились, чистили пушки швабрами, банили их — работали, точно черти в аду. Но за облаком дыма становились всё слышнее и слышнее стук и свист рассекаемого воздуха, смешанные с громкими криками и топотом многих тысяч ног. Затем в дыму показалась большая чёрная масса: поначалу нельзя было разобрать, что это такое; наконец мы разглядели, что это сто человек, идущих в ряд, в высоких меховых шапках с блестящими бляхами надо лбом. За этой сотней шла ещё сотня, за ней следующая и так далее; эта огромная колонна медленно выплывала из дыма, стоящего в воздухе от пушечных выстрелов, и казалось, что ей не будет конца. Впереди шла цепь застрельщиков, за ними барабанщики: все они шли как-то подпрыгивая; по бокам подвигались плотной толпой офицеры, они размахивали саблями и весело кричали. Впереди ехало двенадцать верховых; они кричали хором и один из них поднял свою шляпу на остриё сабли. Я опять повторяю, что никогда и нигде солдаты не сражались так храбро, как французы в этот день.

Их мужеству оставалось только дивиться: они так далеко ушли от своих собственных пушек, что те не могли подать им помощи, и очутились перед двумя батареями, которые стояли целый день справа и слева от нас, и мы видели, как длинные красные линии пробегали по чёрной колонне по мере того, как она подвигалась вперёд. Они были так близко к нашим пушкам и шли такими сомкнутыми рядами, что всякий выстрел пробивал насквозь их десять рядов, но, несмотря на это, ряды снова смыкались, и они продолжали свой путь с такой отвагой, что на них было любо-дорого смотреть. Голова их колонны двигалась прямо на нас, а на флангах у них находились 95-й и 52-й полки.

Я до сих пор уверен, что, если бы мы помедлили, гвардия разбила бы нас в пух и прах, потому что как могла состоящая из четырёх рядов линия устоять против такой колонны? Но тут Колберн, полковник 52-го полка, развернул свой правый фланг так, чтобы выставить его против одной стороны колонны, и это заставило французов остановиться. В эту минуту линия их фронта находилась на расстоянии сорока шагов от нас, и мы могли хорошо разглядеть французов. Мне сделалось смешно, когда я вспомнил, что прежде считал французов низкорослой нацией, потому что в первой роте не оказалось ни одного солдата, который не мог бы поднять меня с земли, как ребёнка, а из-за высоких шапок они казались ещё выше. Это были суровые солдаты с крепкими мускулами, морщинистыми лицами, нахмуренными бровями, что придавало им свирепое выражение, и с торчащими, как щетина, усами. Я стоял, положив палец на курок и дожидаясь команды стрелять; взгляд мой упал случайно на офицера, который ехал верхом, держа шляпу на сабле, и я увидел, что это де Лиссак.

* Да здравствует король! (франц.)

Не один я узнал его; его увидел и Джим. Он вскрикнул и вне себя бросился на французскую колонну; вслед за ним бросилась и вся бригада: как офицеры, так и солдаты атаковали гвардейцев с фронта, а наши товарищи напали на них с флангов. Мы ждали приказа, а теперь все подумали, что он был уже дан; но я-то знал, что на самом деле в атаку на старую гвардию нас повёл Джим Хорскрофт.

Трудно описать, что произошло в эти безумные пять минут. Я помню, что приставил ружьё к какому-то синему мундиру и спустил курок, но противник мой не мог упасть, потому что его поддерживала толпа; затем я увидел ужасное пятно на сукне, которое потом задымилось, будто бы загорелось, после этого меня толкнули прямо к двум огромного роста французам и так стиснули всех нас троих, что мы не могли поднять оружия. Один из них, с очень большим носом, высвободил свою руку и схватил меня за горло; тут я почувствовал себя перед ним не больше, чем цыплёнком. «Rendez-vous, coquin, rendez-vous!»* — рявкнул он, но тут же с воплем опустил руку, потому что кто-то всадил ему штык в живот. В первые минуты этого столкновения почти не было слышно выстрелов, слышались только удары ружейных прикладов, крики раненых и громкие команды офицеров. Затем вдруг французы начали отступать. Ах! За всё, что мы пережили, нас вознаградил восторг, который овладел нами в этот момент. Передо мной стоял француз с острыми чертами лица и чёрными глазами, который заряжал ружьё и стрелял из него так спокойно, как будто бы был на учении; прицеливаясь, он осматривался, чтобы выбрать офицера. Я помню, что подумал: если я убью такого хладнокровного солдата, то окажу нашим большую услугу, и вот я бросился на него и всадил в него штык. Когда я колот его, он повернулся и выстрелил прямо мне в лицо, и от пули у меня на щеке навсегда остался рубец. Я насел на него, когда он упал, а на меня навалились двое других, так что я чуть не задохся в этой куче. Когда наконец я высвободился и протёр себе глаза, которые были засыпаны порохом, я увидел, что колонна рассыпалась на группы, которые либо обратились в бегство, либо бьются грудь с грудью, делая тщетные попытки остановить бригаду, которая всё продвигалась вперёд. Я испытывал такое ощущение, будто к моему лицу приложили раскалённое докрасна железо; но при этом я владел руками и ногами, и, перепрыгивая через лежащих на земле убитых и изувеченных солдат, я пустился догонять свой полк и присоединился к нему на правом фланге.

Тут был старый майор Элиот. Он шёл пешком, прихрамывая: под ним была убита лошадь, но сам он не пострадал.

Завидев меня, он кивнул головой, но поговорить нам было некогда. Бригада всё двигалась вперёд, генерал ехал передо мной, оглядываясь через плечо на британскую позицию.

— Общего наступления нет, — сказал он, — но я не отступлю.

— Герцог Веллингтон одержал большую победу, — закричал торжествующим тоном адъютант и затем, не сдержавшись, прибавил: — Если б только этот дурак захотел итти вперёд!

Услышав эти слова, все мы рассмеялись.

Теперь уже было ясно, что ряды французской армии расстроены. Колонны и эскадроны, которые стояли целый день плотными массами, превратились в нестройную толпу, на месте цепи застрельщиков во фронте было теперь немного отставших в арьергарде. Ряды гвардии редели перед нами по мере того, как мы подвигались вперёд: мы увидели двенадцать пушек, направленных прямо против нас, но мы бросились на них и разом их смяли. В эту минуту мы услышали за собой громкие радостные крики и увидели, что вся британская армия спускается с вершины холма, наступая на остатки неприятельской армии. С шумом и стуком подвигались пушки; наша лёгкая кавалерия — вся, сколько её ни осталось — пошла вместе с нашей бригадой на правом фланге. На этом сражение практически закончилось. Наша армия шла вперёд без всякой задержки и наконец заняла ту самую позицию, на которой утром стояли французы. Мы взяли их пушки, их пехота была рассеяна по всей равнине, и одна только их храбрая кавалерия сохранила некоторый порядок и отходила с поля боя стройными рядами. Наконец, когда начала уже надвигаться ночь, наши измученные и умирающие от голода солдаты передали дело преследования пруссакам, а сами сложили своё оружие на отвоёванной

* Сдавайся, негодяй, сдавайся! (франц.)

земле. Вот всё, что я видел во время битвы при Ватерлоо и что могу рассказать вам о ней. Прибавлю только, что в этот день вечером я получил на ужин два фунта ржаного хлеба с хорошей порцией солонины и, кроме того, большой кувшин красного вина, так что мне пришлось проделать новую дырочку в поясе, да и после этого он был натянут, как обруч на бочонке. Потом я лёг на солому, где растянулись и остальные солдаты нашей роты, и сейчас же заснул мёртвым сном.

Глава Четырнадцатая СЧЁТ УБИТЫХ

Уже рассвело, и первые слабые лучи света стали прокрадываться сквозь длинные узкие щели в стенах риги, где мы ночевали, когда кто-то сильно потряс меня за плечо, и я вскочил на ноги. Мне представилось спросонья, что на нас напали кирасиры, и я схватился за алебарду, которую оставил прислонённой к стене; но, увидев длинные ряды спящих, я вспомнил, где нахожусь. Тем не менее я очень удивился, поняв, что меня разбудил не кто иной, как сам майор Элиот. У него был очень серьёзный вид, а за ним стояли два сержанта, которые держали в руках длинные полоски бумаги и карандаши.

— Вставай, паренёк, — сказал майор в своей прежней непринуждённой манере, точно мы были дома в Корримюре.

— Что вам угодно, майор? — пробормотал я.

— Я хочу, чтобы ты пошёл вместе со мной. Я сознаю, что на мне лежит известного рода ответственность по отношению к вам двоим, потому что это я увёл вас из родительского дома. Джим Хорскрофт пропал.

Услыхав эти слова, я вздрогнул, потому что, мучимый голодом и изнемогая от усталости, я ни разу не вспомнил о своём приятеле с самых тех пор, как он бросился на французскую гвардию, а за ним последовал весь полк.

— Я иду на поле считать убитых, — сказал майор, — и если хочешь пойти со мной, я буду очень рад.

Итак, мы отправились — майор, два сержанта и я; какое это было ужасное зрелище! — до такой степени ужасное, что даже теперь, через столько лет, я не хотел бы распространяться о нём. На всё это было страшно смотреть в пылу битвы; но теперь в это холодное утро, когда не слышно было ни криков «ура», ни барабанного боя, ни сигнального рожка, зрелище это предстало перед нами во всём своём ужасе. Поле походило на огромную лавку мясника: несчастные солдаты были распотрошены, разрублены на куски и раздроблены, как будто бы мы хотели насмеяться над образом и подобием Божиим. Здесь можно было видеть все стадии вчерашней битвы — убитых пехотинцев, которые лежали четырёхугольниками, а вокруг них убитых кавалеристов, которые напали на них, а наверху, на склоне холма, лежали артиллеристы около своего искалеченного орудия. Гвардейская колонна оставила после себя тянущуюся по всему полю полосу, похожую на след улитки, и во главе её синие мундиры лежали кучей на красных, — этот ужасный красный ковёр расстелили ещё прежде, чем французы начали отступать.

Когда я дошёл до этого места, первое, что бросилось мне в глаза, был Джим. Он лежал, вытянувшись на спине, с лицом, обращённым к небу, и казалось, от него отошли все земные страсти и печали, и он снова стал похож на прежнего Джима, такого, каким я много раз видел его спящим в школьные дни. Увидав его, я вскрикнул от горя; но потом, снова посмотрев ему в лицо, я прочёл на нём радость, какой уже не надеялся увидеть при жизни, и тогда понял, что о нём не следует плакать. Его грудь была проколота двумя французскими штыками, он умер моментально, без страданий, судя по той улыбке, которая застыла на его лице.

Мы с майором приподняли его голову в надежде, что, может быть, он ещё жив, и тут я вдруг услышал около себя хорошо знакомый голос. Это говорил де Лиссак: он сидел, опершись локтем на убитого гвардейца, закутанный в большой синий плащ, а рядом лежала на земле его шляпа с большим красным пером. Он был очень бледен, глаза ввалились, но за

исключением этого он остался всё таким же, как и прежде, — со своим острым тонким носом, торчащими усами, коротко стриженной головой, на маковке которой просвечивала плешь. Его веки были полузакрыты, так что из-под них почти не было видно блестящих глаз.

— Эй, Джек! — закричал он. — Я никак не думал, что встречу вас здесь, хотя я мог бы об этом догадаться, когда увидал вашего друга Джима.

— Это вы стали причиной нашего несчастья, — сказал я.

— Та, та, та! — воскликнул он, выражая этим, как и прежде, своё нетерпение. — Что предназначено каждому из нас, то и должно случиться. В Испании я научился верить в судьбу. Это судьба послала вас сюда сегодня утром.

— У вас на совести кровь этого человека, — сказал я, положив руку на плечо убитого Джима.

— А моя кровь на его совести. Значит, мы с ним квиты.

Говоря это, он распахнул плащ, и я с ужасом увидел у него на боку большой чёрный сгусток крови.

— Это моя тринадцатая и последняя рана, — сказал он с улыбкой. — Не дадите ли вы мне напиться из вашей фляги?

У майора была разбавленная водой водка. Де Лиссак выпил с жадностью. Его глаза оживились, а на бледных щеках показался лёгкий румянец.

— Это дело Джима, — сказал он. — Я услышал, что кто-то зовёт меня по имени, а это он приставил своё ружьё к моему мундиру. Но, пока он стрелял, двое моих солдат прикололи его. Да, конечно, Эди стоит этого! Раньше чем через месяц вы будете в Париже, Джек, и вы увидите её. Вы найдёте её в доме номер 11 по улице Миромениль, около церкви святой Магдалины. Передайте ей это известие поосторожнее, Джек, потому что вы не можете себе представить, как она любила меня. Скажите ей, что всё моё имущество находится в двух чёрных сундуках и что ключ от них у Антуана. Не забудете?

— Буду помнить.

— А что ваша маменька? Я надеюсь, вы её оставили в добром здравии? А ваш папёнька? Пожалуйста, засвидетельствуйте им моё почтение.

Даже и теперь, будучи так близок к смерти, он поклонился и помахал рукой, посылая привет моей матери.

— Наверно, — сказал я, — ваша рана не так опасна, как вы думаете. Я могу привести к вам нашего полкового доктора.

— Дорогой мой Джек, в продолжение последних пятнадцати лет я сам наносил раны и меня ранили. Как же мне не знать, какая рана опасна? Но это и лучше, потому что я знаю, что для меня всё кончено, и лучше уж умереть с моими гвардейцами, чем жить в изгнании и быть нищим. Кроме того, союзники, наверно, расстреляли бы меня, а таким образом я избежну этого позора.

— Союзники, сэр, — сказал майор с некоторой досадой, — не совершили бы подобного варварского поступка.

Но де Лиссак покачал головой с той же самой грустной улыбкой.

— Откуда вам знать, майор? — сказал он. — Неужели же вы думаете, что я бежал бы в Шотландию под чужим именем, если бы мне не угрожала большая опасность, чем моим оставшимся в Париже товарищам? Я хотел жить, потому что был уверен, что мой маленький человечек вернётся назад. Теперь же мне лучше умереть, потому что он уже никогда не поведёт за собой армии. Но я вершил дела, которые долго не забудутся. Это я стоял во главе отряда, который взял в плен и расстрелял герцога Энгийского. Это я... Ah, mon Dieu! Edie, Edie, ma chérie!*

Он протянул вперёд обе руки, пальцы его дрожали. Затем руки тяжело опустились, подбородок упал на грудь. Один из наших сержантов бережно положил его на землю, а другой покрыл его большим синим плащом; так мы и оставили этих двоих, которых так странно соединила судьба, — шотландца и француза; они лежали молча и спокойно, совсем близко один от другого, на пропитанном кровью склоне холма неподалёку от Гугумона.

* А, Боже мой! Эди, Эди, моя возлюбленная! (франц.)

Глава Пятнадцатая КОНЕЦ МОЕГО РАССКАЗА

Я подошёл к самому концу моего рассказа и очень рад этому, потому что начал я писать с лёгким сердцем, полагая, что это займёт меня в длинные летние вечера, но по мере того, как я подвигался вперёд, в моей душе вновь пробудилось много затихшего горя и ожили в памяти наполовину забытые огорчения, хотя душа моя и загрубела, как кожа дурно остриженной овцы. Если доведу свой рассказ до конца, то дам клятву никогда не брать пера в руки, потому что сначала это дело кажется лёгким, а потом получается, как если идёшь вброд по реке с неровным дном, и прежде чем успеешь оглянуться, нога соскользнёт в яму, из которой приходится выбираться с большим трудом.

Мы похоронили Джима и де Лиссака в одной общей могиле с четырьмястами тридцатью одним солдатом из французской гвардии и лёгкой инфантерии. Ах! Если бы только можно было сеять храбрых людей так, как сеют семена, то наступило бы время, когда мы собрали бы урожай героев! Затем мы оставили далеко за собой это кровавое поле и вместе с нашей бригадой перешли французскую границу, направляясь к Парижу. В течение предшествовавших этим событиям лет я привык считать французов очень дурными людьми, так как мы слышали о них только то, что они убивают не задумываясь, и мы, понятно, полагали, что они злы от природы и что с ними страшно встречаться. Но ведь и они слышали о нас то же самое, а потому, разумеется, составили себе точно такое же мнение. Но когда мы проходили по их деревням и видели уютные домики, кротких, мирных людей, которые работали в полях, женщин, сидевших у большой дороги с вязанием в руках, старую бабушку в огромном белом чепце, которая шлёпала маленького ребёнка, чтобы научить его вести себя прилично, — всё это так напоминало мне о доме, что я не мог понять, почему мы так долго ненавидели этих добрых людей. Но я полагаю, что на самом деле мы ненавидели не их, а того человека, который ими правил. И теперь, когда он удалился и его гигантская тень уже не покрывала землю, её снова освещало солнце.

Мы благополучно продвигались вперёд. Местность была очень красивая, какой мне ещё не доводилось видеть; наконец мы подошли к большому городу, причём нам пришлось в голову, что, возможно, снова придётся биться, потому что в нём жило так много людей, что выйди из двадцати человек только один, и то из них составила бы прекрасная армия. Но они уже поняли, что не стоит разрушать целую страну ради одного человека, и сказали ему, что теперь он сам должен заботиться о себе. Затем мы услышали, что он сдался англичанам и что для нас открыты ворота Парижа: я обрадовался этому известию, потому что с меня было довольно и одного сражения.

Но в Париже ещё многие любили Бони, и это было вполне понятно, потому что он доставил им славу, а кроме того, никогда не заставлял свою армию идти туда, куда не пошёл бы сам. Они смотрели на нас сурово, когда мы вошли в город, а мы — солдаты бригады Адамса, — вступили в него прежде других. Мы прошли по мосту, который называется у них Нельи — это слово легче написать, чем выговорить, пошли прекрасным парком Bois de Boulogne* и дошли до Елисейских Полей. Здесь мы расположились биваком, и вскоре на улицах города появилось так много пруссаков и англичан, что он стал скорее похож на лагерь, чем на город.

Получив увольнительную, я вместе с Робом Стюартом, моим товарищем по роте — нам позволяли ходить по городу только вдвоём, — отправился на улицу Миромениль. Роб остался ждать в швейцарской, а меня повели наверх, и едва я поставил ногу на лежащий у двери ковёр, как передо мной появилась кузина Эди, всё такая же, как и прежде, и пристально посмотрела на меня своими странными глазами. В первую минуту она не узнала меня, но потом, сделав три шага вперёд, бросилась ко мне и обвила руками мою шею.

— Старый друг Джек! — воскликнула она. — Как вы красивы в красном мундире!

— Да, я теперь солдат, Эди, — сказал я очень сухо, потому что, когда я смотрел на её прекрасное лицо, мне казалось, что я вижу за ним другое лицо, которое смотрело на небо в то

* Булонский лес (франц.)

утро в Бельгии, на поле сражения.

— Скажите, пожалуйста! — воскликнула она — Кто же вы теперь, Джек? Генерал? Капитан?

— Нет, я рядовой.

— Как! Неужели один из тех солдат, которые стреляют из ружей?

— Да, у меня есть ружьё.

— О, это совсем неинтересно, — сказала она и пошла назад к дивану, с которого встала.

Это была чудесная комната — везде шёлк и бархат, и всё блестело, мне так и хотелось пойти назад и хорошенько обтереть свои сапоги. Когда Эди опять села, я разглядел, что она вся в чёрном, и тут я понял, что она слышала о смерти де Лиссака.

— Я очень рад, что вам всё известно, — сказал я, — потому что я совсем не умею передавать таких известий. Он сказал, чтобы вы взяли всё, что находится в сундуках, и что ключи от них у Антуана.

— Благодарю вас, Джек, благодарю вас, — отвечала она. — Вы были так добры, что взяли на себя это поручение. Я узнала обо всём неделю назад. Некоторое время я была совсем безумная, совсем безумная. Я буду носить траур всю жизнь, хотя вы видите, что я в нём настоящее пугало. Ах! Я не перенесу этого. Я пойду в монашенки и умру в монастыре.

— Позвольте доложить, сударыня, — сказала горничная, заглядывая в комнату, — вас желает видеть граф де Бетон.

— Дорогой Джек, — проговорила Эди, вскакивая с дивана, — он пришёл по очень важному делу. Я страшно жалею, что нам не удалось поговорить, но я уверена, что вы опять навестите меня, когда я немножко поуспокоюсь? Ведь вам всё равно выйти чёрным входом или парадным? Благодарю вас, дорогой Джек; вы всегда были хорошим мальчиком и теперь аккуратно исполнили то, о чём вас просили.

Больше мне никогда не довелось видеть кузину Эди. Она стояла, облитая солнечным светом; в её глазах было попрежнему что-то вызывающее, зубы блестели; такой я буду помнить её всегда — блестящей и непостоянной, подобно капельке ртути. Присоединившись внизу на улице к Робу, я увидел великолепную карету, запряжённую парой лошадей, и тут я понял, почему Эди просила меня уйти незаметно: она хотела скрыть от своих новых знатных знакомых, что в детстве у неё были друзья из простонародья. Она даже не спросила ни о Джиме, ни о моих родителях, которые были так добры к ней. Но такой уж был у неё характер; она не могла поступить иначе, всё равно как кролик не может не шевелить своим коротеньким хвостом, и всё-таки мне тяжело вспомнить об этом. Через два месяца я услышал, что она вышла замуж за этого самого графа де Бетона, а через год или через два умерла от родов.

Что же касается нас, то наше дело было сделано, потому что огромная тень уже не покрывала Европу, не лежала на землях, на мирных фермах и деревушках и не омрачала жизнь людей, которые без этого могли бы жить счастливо. Я вышел в отставку и вернулся в Корримюр, где после смерти отца стал заниматься разведением овец, женился на Люси Дин из Бервика и воспитал семерых детей, которые давно уже переросли отца и всегда стараются напомнить мне об этом. Теперь, когда дни идут тихо и мирно и все они похожи один на другой, как шотландские бараны, молодые люди не хотят верить, что были времена, когда мы с Джимом ухаживали здесь за одной и той же девушкой, а из-за моря явился человек с торчащими, словно у кошки, усами.

1892 г.

(перевод М. Антоновой и П. Гелевы)

РАССКАЗЫ

ЖЕНИТЬБА БРИГАДИРА

Расскажу я вам, друзья мои, о давно прошедших днях, когда я ещё только добывал себе славу, сделавшую моё имя столь знаменитым. Среди тридцати офицеров Конфланского гусарского полка я ничем особенным не выделялся. Представляю себе, каково было бы их удивление, узнай они, что молодому лейтенанту Этьену Жерару предстоит блестящая карьера, что он дослужится до командира бригады и получит крест из рук самого императора. Если вы окажете мне честь и посетите мой домишко, – я покажу его вам, вы ведь знаете этот чистенький белый домик, увитый виноградом, стоящий на отшибе на берегу Гаронны.

Люди говорят про меня, что я никогда не знал страха. Вы, верно, слышали об этом не раз. Из глупой гордости я многие годы не оспаривал этой молвы. Теперь же, на старости лет, я могу позволить себе быть откровенным. Смелый человек не боится правды. Её боится только трус. Потому-то я и не стану скрывать, что и меня прошибал холодный пот, а волосы вставали дыбом, что и мне известно, как душа уходит в пятки и как задают стрекача. Вы поражены? Зато, случится вам когда-нибудь дрогнуть, вспомните, что даже и Этьену Жерару бывало страшно, и вам сразу станет легче. А теперь послушайте, в какую я однажды попал передрагу, а заодно и обзавёлся жёнушкой.

В те поры Франция ни с кем не воевала, и мы, конфланские гусары, всё лето стояли лагерем в нескольких милях от нормандского городка Лезандели. Само по себе местечко это не очень весёлое, но где гусары, там и веселье, так что время мы проводили недурно. За долгие годы странствий потускнели воспоминания, а всё же стоит мне произнести «Лезандели», как встают перед глазами громадный полуразрушенный замок, большие яблоневые сады и, самое главное, прекрасный пол! Ах, что за прелестные создания эти нормандские девушки! Краше нет в целом свете, да и мы были мужчины, можно сказать, хоть куда. Словом, в то замечательное солнечное лето свиданий было не счесть. О, молодость, красота, доблесть, как разглядеть вас сквозь туман тусклых унылых лет! Порой славное прошлое ложится мне на сердце камнем. Нет, мсье, в вине таких мыслей не утопить. Болит-то душа. А вино – что? Оно приносит лишь телесную радость. Но уж коли угощают... не откажусь.

Прелестней всех девушек в тех краях была Мари Равон. До чего мила да пригожа, будто самой судьбой для меня предназначена. Была она из рода Равонов, прадеды её пахали землю в Нормандии ещё со времён, когда герцог Вильгельм отправился покорять Англию. Стоит мне и теперь закрыть глаза, Мари встаёт передо мной: щёчки смуглые как лепестки мускатной розы; взгляд карих глаз нежен и в то же время смел, волосы, чёрные как смоль, будят волнение в крови и в стихии просятся, а фигурка – точно молодая берёзка на ветру. А как она отпрянула, когда я впервые хотел обнять её, – горяча была и горда, всякий раз ускользала, сопротивлялась, боролась до последнего рубежа, отчего капитуляция бывала сладостнее во сто крат. Из ста сорока женщин... Но как их сравнивать, если все были по-своему совершенства!

Вас удивляет, что у кавалера такой красивой девушки не было соперников? Но на то была веская причина, друзья мои, ибо я сделал так, что все мои соперники быстро очутились в госпитале. Ипполит Лезер, к примеру, провёл у Равонов два воскресенья подряд. Так что же? Даю голову на отсечение, что он до сих пор хромает от пули, засевшей у него в колене, если, конечно, он ещё жив. Да и бедняга Виктор до самой своей гибели под Аустерлицем носил мою отметину. Очень скоро все поняли, что от Мари Равон лучше отступить. В нашем лагере поговаривали, что безопаснее скакать в атаку на свежее пехотное каре, чем слишком часто появляться в усадьбе Равонов.

А теперь позвольте мне кое-что уточнить. Собирался ли я жениться на Мари? О, друзья мои, женитьба не для гусара! Сегодня он в Нормандии, а завтра – среди холмов Испании или болот Польши. Что ему делать с женой? Каково им будет обоим? Он станет думать, какое горе причинит жене его гибель – и былую храбрость сменит рассудительность, а она будет со страхом ждать очередную почту – вдруг придёт известие о невозместимой утрате? Правильно ли это, разумно ли? Что остаётся гусару? Погревшись у камелька, марш-марш вперёд, и добро, коли скоро будет ночёвка под крышей, а не у бивачного костра. А Мари? Хотела ли она,

чтобы я стал её мужем? Она прекрасно знала: затрубят серебряные горны – и прощай семейная жизнь! Уж лучше держаться отца с матерью и родных мест – здесь, среди садов, не расставаясь с мужем-домоседом и не теряя из виду замка Легайяр, будет она мирно коротать свои дни. А гусар пусть снится по ночам. Но мы с Мари о будущем не думали: день да ночь – сутки прочь, как говорится. Правда, отец её, полный старик с лицом круглым, как яблоки, которые росли в его садах, и мать, худая робкая крестьянка, порой намекали, что пора бы мне объяснить свои намерения, хотя в душе и не сомневались, что Этьен Жерар – человек честный, что дочь их совершенно счастлива и ничто дурное ей не грозит. Так обстояли дела, пока не пришёл тот вечер, о котором я хочу рассказать.

Однажды в воскресенье я выехал верхом из лагеря. Вместе с несколькими однополчанами, которые тоже ехали в деревню, мы оставили лошадей у гостиницы. Оттуда до Равонов надо было идти пешком через большое поле, простиравшееся до самого порога их дома. Не успел я сделать несколько шагов, как меня окликнул хозяин гостиницы.

– Послушайте, лейтенант, – сказал он, – хоть путь через поле и короче, но шли бы вы лучше дорогой.

– Эдак я дам круг с милю, а то и больше.

– Верно. Но мне кажется, так будет благоразумней, – ухмыляясь сказал он.

– Почему? – спросил я.

– Потому что в поле пасётся бык английской породы.

Если бы не его гнусная ухмылка, я бы, наверно, послушался. Но предупредить об опасности, а потом ухмыльнуться – этого я со своим гордым нравом снести не мог. Я небрежно отмахнулся, показав этим, что я думаю о быке английской породы.

– Пойду напрямик, – сказал я.

Однако, выйдя в поле, я понял, что поступил опрометчиво. Поле было очень большое, и, удаляясь от гостиницы, я ощущал себя утлым судёнышком, рискнувшим выйти в открытое море. Со всех сторон поле было огорожено. Впереди стоял дом Равонов, изгороди подходили к нему вплотную справа и слева. Со стороны поля был виден чёрный ход и несколько окон, но все они, как и в других нормандских домах, были забраны решётками. Единственным спасением был чёрный ход. И я устремился к нему, не роняя достоинства, приличествующего солдату, но тем не менее развив такую скорость, на какую только способны ноги. Верхняя моя половина была сама беззаботность и даже жизнерадостность. Зато нижняя – проворство и насторожённость.

Я уже почти достиг середины поля, как вдруг справа от себя увидел быка. Он рыл копытами землю под большим буком. Я не повернул головы, даже виду не показал, что заметил опасность, а сам искоса с опаской следил за быком. Возможно, он был в благодушном настроении, а может, его обманул мой беспечный вид, но он не сделал в мою сторону ни шага. Приободрившись, я взглянул на открытое окно спальни Мари, которое было как раз над чёрным ходом, – вдруг из-за шторы смотрят её милые карие глазки. Я стал помахивать тросточкой, сбавил шаг, сорвал первоцвет и запел лихую гусарскую песенку, чтобы подразнить этого зверя английской породы, – пусть любимая видит, что опасность мне нипочём, если наградой – свидание. Моё бесстрашие привело быка в замешательство, я дошёл до чёрного хода; толкнул дверь и очутился в безопасности, не посрамив гусарской чести.

Что для гусара опасность, когда его ждёт свидание с любимой! Да карауль её дом хоть все быки Кастилии, разве я остановился бы на полпути? Ах, вовек не вернуться тем счастливым дням юности, когда ног под собой не чуешь, живя в мире сладостных грёз! Мари почитала и любила меня за храбрость. Прижавшись раскрасневшейся щёчкой к шёлку моего доломана, глядя мне в лицо изумлёнными глазами, сиявшими от любви и восхищения, она благоговейно внимала рассказам, в которых её возлюбленный выступал во всём блеске своих достоинств.

– И сердце ваше ни разу не дрогнуло? Вы никогда не знали страха? – спрашивала она.

Такие вопросы вызывали у меня только смех. Разве место страха в душе гусара? Хоть я был ещё очень молод, подвигам моим уже не было числа. Я рассказал ей, как во главе эскадрона ворвался в каре венгерских гренадёров. Обнимая меня, Мари содрогнулась. Ещё я рассказал ей, как ночью переплыл на коне Дунай, доставляя донесение Даву. Откровенно говоря, то был вовсе не Дунай, да и глубина не такая, чтобы коню моему пришлось плыть, но

когда тебе двадцать и ты влюблён, как не приукрасить рассказ. О многих подобных случаях я рассказывал ей, а её милые глазки раскрывались от изумления всё шире и шире.

– Даже в мечтах своих, Этьен, – сказала она, – я никогда не представляла себе, что мужчина может быть таким храбрым. Счастливая Франция, имеющая такого солдата, счастливая Мари, имеющая такого возлюбленного!

Вы понимаете, с каким чувством я бросился к её ногам, бормоча, что я счастливейший человек на свете... я, нашедший ту, которая меня понимает и ценит.

Отношения наши были прелестны и слишком утончённы, чтобы их могли понять более грубые натуры. Однако её родители, само собой разумеется, имели на этот счёт своё мнение. Я играл в домино со стариком, помогал распутывать пряжу его жене, но никак не мог убедить их, что посещаю их ферму трижды в неделю только из любви к ним. В конце концов объяснение стало неизбежным, и случилось оно именно в тот вечер. Мари, несмотря на её милое негодование, удалили в спальню, а я остался лицом к лицу со стариками, которые засыпали меня вопросами относительно моих намерений и видов на будущее.

– Одно из двух, – сказали они с крестьянской прямоотой, – или вы даёте слово, что обручитесь с Мари, или вы её никогда больше не увидите.

Я говорил о солдатском долге, о своих надеждах, о будущем, но они стояли на своём. Я ссылаясь на свою карьеру, а они эгоистично не хотели думать ни о чём, кроме своей дочери. Я оказался поистине в трудном положении. С одной стороны, я не мог отказаться от моей Мари, а с другой – к чему жениться молодому гусару? Наконец, когда меня уже совсем загнали в угол, я умолил их оставить всё, как было, хотя бы до завтра.

– Я поговорю с Мари, – сказал я. – Я поговорю с Мари без промедления. Главное для меня – её счастье.

Мои слова не удовлетворили старых ворчунов, но возразить они ничего не могли. Вскоре они пожелали мне спокойной ночи, и я отправился в гостиницу. Я вышел в совершенном расстройстве чувств в ту же дверь, в которую вошёл, и услышал как её заперли за мной на засов.

Я шагал по полю, задумавшись, – из головы не шли доводы стариков и мои ловкие ответы. Как мне быть? Я обещал посоветоваться с Мари без промедления. Что мне сказать, когда я увижусь с ней? Должен ли я капитулировать перед её красотой и навсегда распрощаться с военной карьерой? Если бы Этьен Жерар перековал свой меч на орало, то это было бы поистине невосполнимой утратой для императора и Франции. Или я должен ожесточиться сердцем и отказаться от Мари? А разве нельзя совместить всё – быть счастливым супругом в Нормандии и храбрым солдатом в прочих местах? Все эти мысли теснились в моей голове, как вдруг какой-то шум заставил меня поднять голову. Из-за облака выглянула луна, и прямо перед собой я увидел быка.

Он и под буком показался мне большим, но тут передо мной была просто громадина. Он был весь чёрный. Голова опущена, свирепые, налитые кровью глаза сверкали при свете луны. Он бил себя хвостом по бокам, передние ноги зарылись в землю. Такое чудовище не привидится даже в кошмарном сне. Бык медленно, как бы нехотя, двинулся в мою сторону.

Я оглянулся и, к своему отчаянию, увидел, что зашёл в поле слишком далеко. Ближайшим убежищем была гостиница, но между нею и мной находился бык. Если этот зверь увидит, что я его не боюсь, он, наверное, уступит мне дорогу. Я пожал презрительно плечами. И даже свистнул. Бык подумал, что я вызываю его на бой, и прибавил шагу. Я бросил на быка бесстрашный взгляд, а сам давай быстро-быстро пятиться. Молодой, подвижный человек способен даже бежать задом наперёд, обратив лицо к противнику и храбро улыбаясь ему. На бегу я грозил быку тросточкой. Наверно, благоразумней было бы сдержать свой пыл. Бык счёл это вызовом, хотя бросать ему вызов мне и в голову не приходило. Это было роковое недоразумение. Фыркнув, бык поднял хвост и ринулся в атаку.

Вы когда-нибудь видели, как нападает бык, друзья мои? Это – чудовищное зрелище. Вы думаете, наверно, что он припустил рысью или даже галопом. Это бы ещё ничего... Нет, он делал прыжки, один страшнее другого. Я не боюсь человека. Когда я имею дело с человеком, то чувствую, что благородство моей позы, смелая непринуждённость, с которой я встречаю противника, уже сами по себе обезоруживают. Я владею теми же приёмами, что и он, и поэтому мне нечего его бояться. Но когда тебе предстоит сразиться с тонной разъярённой

говядины – это совсем другое дело. Тут не поспоришь, не успокоишь, не завоеешь расположения... Никакие уговоры не помогут. Что этому зверю до моего горделивого самообладания? С живостью, свойственной моему уму, я оценил обстановку и решил, что на моём месте никто, даже сам император, не мог бы удержать позиции. Значит, оставалось одно – бежать.

Но и бежать можно поразному. Кто отступает с достоинством, а кто – в панике. Я удираю, как положено настоящему солдату. Хотя мои ноги работали быстро, сам я держался великолепно. Весь мой вид выражал протест. На бегу я улыбался – это была горькая улыбка храбреца, который философски относится к превратностям судьбы. Если бы в эти минуты меня увидели мои боевые товарищи, я бы нисколько не проиграл в их глазах. С поразительным самообладанием уходил я от быка.

Но тут я должен сделать одно признание. Известное дело: если удираешь, то паники не избежать, будь ты храбрец из храбрецов. Вспомните гвардию при Ватерлоо. То же самое было в тот вечер и с Этьеном Жераром. Ведь поблизости не было никого, кто бы оценил мою доблесть... никого, кроме этого проклятого быка. А не благоразумнее ли в такую минуту забыть о собственном достоинстве? С каждым мгновением грохот копыт чудовища и его страшное фырканье за моей спиной становилось всё громче. При мысли о такой постыдной смерти меня охватил ужас. Жестокая ярость зверя лишила меня мужества. Всё было забыто. Во всём мире осталось только два существа: бык и я – он хотел убить меня, а я – во что бы то ни стало спастись. Я опустил голову и... дунул во все лопатки.

Мчался я к дому Равонов. И вдруг сообразил: если даже я добежу, спрятаться будет негде. Дверь заперта. Нижние окна забраны решётками. Ограда высокая. А бык с каждым прыжком всё ближе и ближе. И вот тут-то, друзья мои, в миг наивысшей опасности Этьен Жерар и показал, на что он способен. Был лишь один путь к спасению, и я воспользовался им.

Я уже говорил, что окно спальни Мари помещалось как раз над дверью. Занавески были задёрнуты, но не плотно – сквозь щели пробивался свет. Я был молодой, ловкий и поэтому знал, что смогу высоко прыгнуть, ухватиться за край подоконника и, подтянувшись, уйти от опасности. Подпрыгнул я в тот самый момент, когда чудовище настигло меня. Я и без посторонней помощи вскочил бы в окно. В великолепном прыжке я уже оторвался от земли, как бык поддал мне сзади, и я, как пушечное ядро, влетел в окно и упал на четвереньки посреди спальни.

Кровать стояла под самым окном, но я благополучно перелетел через неё. С трудом поднявшись на ноги, я с замиранием сердца повернулся к кровати, но она была пуста. Моя Мари сидела в кресле в углу комнаты и, судя по покрасневшим щекам, плакала. Видно, родители уже рассказали ей о нашем разговоре. От изумления она не могла встать и смотрела на меня с раскрытым ртом.

– Этьен! – задыхаясь прошептала она. – Этьен!

И тут, как всегда, мне на выручку пришла моя находчивость. Я поступил так, как должен поступать истинный джентльмен.

– Мари, – вскричал я, – простите, о, простите меня за внезапность вторжения! Мари, сегодня вечером я говорил с вашими родителями. И я не мог вернуться в лагерь, не узнав, согласны ли вы стать моей женой и сделать меня самым счастливым человеком на свете.

Её изумление было так велико, что она долго не могла вымолвить ни слова. А затем стала восторженно изливать свои чувства.

– О, Этьен! Мой замечательный Этьен! – восклицала она, обвив мою шею руками. – Такой любви не бывало никогда! Вы лучше всех мужчин на свете! Вот вы стоите предо мной, бледный, дрожа от страсти. Таким вы являлись мне в моих грёзах. Как тяжело вы дышите, любовь моя, и какой великолепный прыжок бросил вас в мои объятия! За секунду до вашего появления я слышала топот вашего боевого коня.

Объяснять больше было нечего, и когда ты только что помолвлен, для губ находится другое занятие. Однако за дверью послышался какой-то шум – кто-то поднимался по лестнице. Когда я с грохотом появился в доме Равонов, старики бросились в погреб, чтобы посмотреть не свалилась ли с козел большая бочка сидра, теперь они спешили в комнату дочери. Я распахнул дверь и взял Мари за руку.

– Вы видите перед собой вашего сына! – сказал я.

О, какую радость я доставил этим скромным людям! При воспоминании об этом у меня всякий раз навёртываются слёзы. Им не показалось слишком странным, что я влетел в окно, ибо кому быть горячим поклонником их дочери, как не храброму гусару? И если дверь заперта, то разве нельзя проникнуть в дом через окно? Снова мы собрались все четверо в гостиной, из погреба была принесена облепленная паутиной бутылка, и полился рассказ о славном роде Равонов. Будто впервые видел я эту комнату с толстыми стропилами, два стариковских улыбающихся лица и её, мою Мари, мою невесту, которую я завоевал таким странным образом.

Когда мы расставались было уже поздно. Старик вышел со мной в переднюю.

– Вы пойдёте парадным ходом или чёрным? – спросил он. – Чёрным ходом короче.

– Пожалуй, пойду парадным, – ответил я. – Этот путь, может, и длиннее, зато у меня будет больше времени думать о Мари.

1910 г.

(перевод Д. Жукова)

ХИТРОСТИ ДИПЛОМАТИИ

Старика Альфонса Лакура и теперь помнят очень многие. Не доводилось ли вам жить в Париже в эпоху 1848 – 1856 годов? Лакур умер в 1856 году. В течение этих восьми-девяти лет он ежедневно посещал кафе «Прованс». Придёт, бывало, старик в своё любимое кафе часов в девять вечера, сядет в угол и высматривает слушателя. Охотник он был поговорить. Иногда старик слушателя не находил и тогда удалялся.

Для того, чтобы выслушивать воспоминания старого дипломата, нужно было обладать большим запасом терпения и деликатности. Дело в том, что его истории в большинстве случаев были совершенно невероятны, и стоило вам улыбнуться или удивлённо приподнять брови, слушая его небывальщину, старый дипломат, следивший за вами в оба, гордо выпрямлялся, лицо его делалось свирепым, как у бульдога, и он восклицал, изо всех сил пирая на букву «р»:

– Ah, monsieur r-r-rit?*

Или:

– Vous ne me sr-r-r-royez donc pas?**

И вам ничего не оставалось, как встать и начать извиняться. Простите, дескать, мсье Лакур, мне пора в оперу, билет купил.

Много было удивительных историй у Лакура. Вспомните, например, его повествование о Талейране и пяти устрицах, или его совершенно нелепый рассказ о второй поездке Наполеона в Аяччо. А помните вы его удивительную историю о бегстве Наполеона с острова Святой Елены? Эту историю Лакур рассказывал всегда после того, как была откупорена вторая бутылка. Старик уверял, что Наполеон прожил целый год на свободе в Филадельфии. Англичане же этого долгого отсутствия императора не заметили потому, что роль его исполнял граф Эрбер Бертран, который как две капли воды был похож на Наполеона.

Изо всех историй Лакура самой интересной была, по моему мнению, история о «Коране» и курьере министерства иностранных дел. История эта долго мне казалась совершенно невероятной; только после, когда вышли из печати «Воспоминания г-на Ватто», я с удивлением убедился, что в рассказе старика Лакура содержалась известная доля истины.

– Нужно вам сказать, monsieur, *** – рассказывал, бывало, старик, – что я уехал из Египта после убийства Клебера. Я с удовольствием остался бы в Египте. Я занимался тогда переводом «Корана» и, сказать между нами, подумывал даже о переходе в ислам. Меня поражали мудрые предписания «Корана» относительно брака. Магомет сделал в «Коране» только одну непростительную ошибку, а именно – воспретил своим последователям употребление вина. Если я не перешёл в мусульманство, то только поэтому. Как меня ни уговаривал муфтий, я не изменил своих убеждений.

Ну вот, старик Клебер умер и его место занял Мену. Я понял, что мне надо уехать. Я не стану, мсье, хвалиться и говорить о своих талантах, но вы, разумеется, прекрасно понимаете, что надо оберегать чувство собственного достоинства. Нельзя же, чтобы осёл был выше человека.

И вот, захватив с собой «Коран» и все мои записки и бумаги, я перебрался в Лондон. В Лондоне в это время жил Monsieur Ватто. Он был назначен первым консулом для заключения мирного договора с Англией. Война между Англией и Францией длилась уже десять лет, и обе стороны устали.

Я оказался очень полезным человеком для Monsieur Ватто. Во-первых, я хорошо знаю английский язык, а во-вторых, у меня – терпеть не могу хвалиться – выдающиеся дипломатические способности. Жили мы на Блумсберийской площади. О, хорошее было время! Должен только сказать, мсье, что климат вашего отечества отвратителен. Но что ж вы хотите? Хорошие цветы только под дождём и цветут. Позвольте заметить, мсье, что ваши соотечественницы – чудные, прекрасные цветы, расцветающие под дождём и в тумане.

* А, судар-р-рь! вас смех р-разбир-рает? (франц.)

** Так, стало быть, вы мне не вер-р-рите? (франц.)

*** Читается: «мсье» – сударь, милостивый государь, господин. (франц.) (П.Г.)

Ну вот, наш посланник, Monsieur Ватто, страшно много работал над этим мирным договором. Всё посольство работало над этим договором. Слава Богу ещё, что нам не пришлось тогда иметь дело с Питтом. О, этот Питт ужасный человек. Францию он ненавидел. Если Франция видела, что против неё составляется какой-нибудь заговор, она могла быть уверенной заранее, что тут без Питта не обошлось. Питт совал свой длинный нос всюду, где можно было подстроить пакость Франции.

Но англичане, слава Богу, догадались удалить этого беспокойного человека от дел правления. У власти стоял Monsieur Аддингтон, с которым нам не приходилось видаться. Министром иностранных дел состоял милорд Хоксбери. Он с нами больше и торговался.

Уверяю вас, мы занимались не пустяками. Война длилась более десяти лет, и за это время Франция успела захватить многое, что принадлежало Англии, а Англия захватила то, что принадлежало французам. Спрашивается, что отдавать назад и что удерживать в своих руках? Возьмём, к примеру, такой-то остров: стоит ли он, спрашивается, такого-то полуострова? Можно ли отдать остров и взять полуостров? Мы, например, соглашались делать англичанам такие уступки в Венгрии, потребовали у них таких же уступок в Сьерра-Леоне. Мы соглашались отдать Египет султану, но взамен этого просили англичан уступить нам мыс Доброй Надежды, который вы, господа, отняли у наших союзников голландцев.

В таком духе, мсье, мы и препирались с английскими дипломатами. Monsieur Ватто возвращался в посольство совершенно изнурённый. Иногда он сам даже из кареты выйти не мог; мы с секретарём, бывало, вытаскивали его из экипажа и уложим на диван.

Но помаленьку дело шло, и наконец настал вечер, когда нам и англичанам предстояло подписать договор.

Должен сказать, что главным нашим козырем в игре с англичанами был Египет, занятый нашими войсками. Англичанам ужасно не хотелось, чтобы Египет остался за нами. Владея Египтом, мы были хозяевами всего Средиземного моря. И кроме того, мсье, англичане боялись, что наш маленький, удивительный Наполеон, утвердившись в Египте, двинется оттуда на Индию. Мы знали об этих страхах англичан и использовали их. Лорд Хоксбери говорит, например, нам: «Эту землю мы удержим за собой», а мы ему и отвечаем: «А в таком случае мы не согласны на эвакуацию из Египта». И наши слова отлично действовали на лорда Хоксбери, и он соглашался на все наши требования. Благодаря Египту нам удалось выторговать великолепные условия, нам даже удалось принудить англичан уступить нам мыс Доброй Надежды. Мы, мсье, вовсе не хотели допускать ваших соотечественников в Южную Африку. История научила нас уму-разуму. Ведь если Англию куда-нибудь пустишь, то оттуда её уж не выгонишь. Мы не боимся, мсье, вашей армии и флота. Мы боимся ваших младших сыновей и людей, делающих себе карьеру. Ах, эти ужасные младшие сыновья! Мы, французы, заполучив какую-нибудь заморскую землю, сейчас же на том успокаиваемся и только поздравляем друг друга в Париже. Вот, дескать, поздравляем вас: у нашего отечества есть новая колония. Вы, англичане, действуете совсем не так. Взяв новую землю, вы сейчас же начинаете спрашивать: а что это за земля такая? И новое владение вас так интересует, что вы немедленно же забираете с собой жён и детей и едете за море. И попробуй потом у вас эту землю отнять! Это так же трудно, как, скажем, отнять Блумсберийскую площадь в Лондоне.

Однако, возвращаясь к моему рассказу. Договор должен был быть подписан первого октября. Утром я поздравил Monsieur Ватто с благополучным окончанием трудов. Ватто был маленький, бледный человек, очень нервный и подвижный. Своему успеху он страшно радовался. Весь день не мог сидеть спокойно: бегал по комнатам, со всеми разговаривал и смеялся. Я был спокоен; усевшись на диван в углу, я молчал и думал.

И вдруг, мсье, входит курьер из Парижа и подаёт Monsieur Ватто депешу. Мсье Ватто распечатал депешу, прочитал, и вдруг колени его подогнулись – и он упал на пол без чувств. Мы с курьером бросились к нему, подняли и положили на диван. Мсье Ватто был так бледен, что я подумал, уж не умер ли он? Приложил руку к левой стороне груди: нет, Ватто жив, сердце ещё бьётся.

– В чём дело? – спросил я у курьера.

– Не знаю, – ответил курьер. – Monsieur Талейран велел мне спешить изо всех сил с этой депешей и передать её прямо в руки Monsieur Ватто. Из Парижа я выехал вчера в полдень.

Знаю, мсье, – продолжал Лакур свой рассказ, – что я поступил в данном случае

нехорошо, но не мог сдержаться и заглянул-таки в депешу. Боже мой! Меня точно молнией поразило. Впрочем, в обморок я не упал, а сел на диван, у ног своего начальника и стал плакать. Депеша была весьма краткая и извещала, что Египет уже месяц как занят английскими войсками. Договор наш можно было считать окончательно погибшим: ведь наши враги и согласились на выгодные для нас условия только из-за того, что нами был занят Египет. Теперь же, узнав о нашей эвакуации из Египта, англичане должны были отказаться от всего. Договор-то ещё не подписан, и нам придётся отказаться от мыса Доброй Надежды. Мы должны будем отдать англичанам Мальту. Ведь если Египет оставлен нами, нам и торговаться нельзя.

Но, мсье, мы, французы, не так-то легко сдаёмся. Правда, мы легко поддаёмся чувствам и не можем их скрывать. Поэтому вы, англичане, считаете нас малодушными и женственными, но это ошибка. Почитайте-ка историю – и вы убедитесь в том, что ошибаетесь.

Мсье Ватто пришёл в себя, и мы стали совещаться, что нам предпринять.

– Продолжать дело бесполезно, Альфонс, – сказал он, – этот англичанин станет надо мною смеяться, если я ему предложу подписать договор.

– Courage!* – воскликнул я. – Мне пришла в голову потрясающая мысль: почему вы думаете, что англичане знают о нашей эвакуации из Египта? Может быть, им ничего ещё неизвестно, и они подпишут договор?

Мсье Ватто вскочил с дивана и заключил меня в свои объятия.

– Альфонс, вы меня спасли! – воскликнул он. – В самом деле, откуда англичанам знать о нашей эвакуации из Египта? Мы получили депешу прямо из Тулона через Париж. Их же агенты везут то же известие через Гибралтарский пролив. В Париже никто об этом не знает, кроме Талейрана и первого консула. Если мы будем держать эту новость в тайне, мы ещё можем надеяться, что английская дипломатия подпишет договор!

Вы, конечно, можете себе представить, мсье, в какой ужасной тревоге мы провели тот день. О, никогда не забуду тех еле тянувшихся, томительных часов! Мы сидели вместе, вздрагивая всякий раз, когда на улицах раздавался крик; казалось, что этими криками толпа приветствует наш уход из Египта. Мсье Ватто за один день состарился, а что касается меня, мсье, я всегда держусь того мнения, что лучше итти опасности навстречу, нежели ожидать её приближения. Поэтому вечером я отправился бродить по городу. Побывал я и в фехтовальном зале мсье Анджело, и у боксёра, мсье Джексона, и в клубе Брукса, и в кулуарах палаты общин – об оставлении нами Египта никто не знал. Однако это меня не успокоило. Почём знать? Может быть, милорд Хоксбери получил известие одновременно с нами. Милорд жил на Гарлейской улице, и там мы уговорились сойтись, чтобы подписать договор. Свидание было назначено в восемь часов вечера. Я заставил Monsieur Ватто выпить перед отъездом два стакана бургундского. Я боялся, что увидав его растерянное лицо и трясущиеся руки, английский министр заподозрит неладное.

Из посольства мы отбыли в карете в половине восьмого. Мсье Ватто вошёл один, а затем извинился, будто забыл портфель, и снова вышел ко мне. Он был радостен, и щёки его горели румянцем. Мсье Ватто сообщил, что всё идёт благополучно.

– Он ничего не знает! – шепнул Monsieur Ватто. – О, если бы только полчаса продержаться!

– Дайте мне какой-нибудь знак, что договор подписан, – сказал я.

– Для чего?

– Потому что до тех пор, пока договор не будет подписан, ни один курьер не войдёт в дом министра. Я, Альфонс Лакур, даю вам слово.

Мсье Ватто с чувством пожал мне руку.

– Видите ли, вон в том окне две свечи горят? Оне стоят на столе подле окна. Когда договор будет подписан, я под каким-нибудь предлогом передвину одну из свечей, – сказал он и поспешил в дом.

Я остался один ожидать в карете. Вы понимаете теперь, мсье, положение, в котором мы находились, – нам нужно было во что бы то ни стало обеспечить себе полчаса. Если это нам удастся, договор будет подписан.

* Не будем падать духом! (франц.)

Прошло несколько минут после ухода Monsieur Ватто, как вдруг из Оксфордской улицы показалась карета и стала быстро приближаться к дому министра. Что, если в этой карете сидит курьер с депешей об оставлении Египта? Что мне делать?

Да, мсье, в эту минуту я был готов на всё, я был готов даже убить курьера. Да, убить! Лучше я совершу преступление, чем позволю расстроить начатое нами дело. Тысячи людей умирают, чтобы со славой закончить войну. Почему же не убить одного человека для того, чтобы добиться славного и почётного мира? Пускай меня хоть казнят за это! Я готов был пожертвовать собой ради отечества.

За поясом у меня торчал кривой турецкий кинжал. Я схватился за его рукоятку, но карета, к счастью, проехала мимо! Я немножко успокоился, но только немножко. Ведь могла подъехать и другая карета. Я понял, что мне нужно ко всему приготовиться. Прежде всего следовало устранить из этой компрометирующей истории посольство. Я велел кучеру отъехать вперёд, а сам нанял извозчию карету. Извозчику я дал гинею, и он сразу понял, что тут будет дело совсем особое.

– Если вы будете исполнять все мои приказания, то получите другую гинею, – сказал я извозчику.

Извозчик был неуклюжий, вялый детина; он поглядел на меня сонными глазами и сказал без малейших следов удивления или любопытства:

– Слушаю, сэр.

– Если я сяду в вашу карету с другим джентльменом, возите меня взад и вперёд по Гарлейской улице и не слушайте ничьих приказаний, кроме моих. Когда же я выйду из экипажа, возите другого джентльмена в Уотверский клуб на Брутон-стрит.

– Слушаю, сэр, – снова ответил извозчик.

И вот я продолжал стоять у дома милорда Хоксбери, с нетерпением поглядывая на окно, подле которого горели свечи. Прошло таким образом пять минут, а затем ещё пять.

Ах, как томительно медленно ползли эти минуты! Стояла октябрьская ночь, настоящая октябрьская ночь – сырая и холодная: по мокрым, блестящим камням мостовой полз белый туман, постепенно поднимаясь вверх. Мрак улиц, освещённых слабыми масляными фонарями, всё более сгущался. За пятьдесят шагов не было видно ни зги. Я напрягал слух, стараясь различить стук копыт и дребезжанье колёс экипажа. Невесёлое место, мсье, ваша Гарлейская улица. На ней невесело даже в солнечный день. У домов солидный, почтенный вид, но изящества в них ни на грош. Лондон, мсье, это такой город, в котором должны были бы жить одни мужчины.

Особенно же тосклива была Гарлейская улица в тот серый вечер. Кругом сырость и туман, на душе кошки скребут... ах, как я скверно себя чувствовал! Мне казалось, что я попал в самое тоскливое место на свете.

Я шагал взад и вперёд по тротуару, стараясь согреться и прислушиваясь к доносившимся ко мне звукам. И вдруг я различил стук копыт и дребезжанье колёс. Звуки становились всё громче и сильнее. Вот в тумане показались два фонаря, и к дому министра иностранных дел подкатил кабриолет. Экипаж ещё не успел остановиться, как из него уже выскочил молодой человек. Он бросился в подъезд и готовился взбежать по лестнице. Кучер повернул лошадь и исчез в тумане.

Мои способности, мсье, обнаруживаются во всём своём блеске, когда нужно действовать. Вы вот сидите со мной в кафе «Прованс», видите, как я попиваю вино, и вам в голову прийти не может, на что я способен.

Я понял, мсье, значение наступившего момента, я понял, что на карту поставлены все приобретения десятилетней войны. Я был великолепен. Франция начала последнюю битву, и я являл собою и главнокомандующего, и всю армию.

Я приблизился к молодому человеку, взял его под руку и произнёс:

– Если не ошибаюсь, сэр, вы привезли депешу для лорда Хоксбери?

– Да, – ответил он.

– Я вас уже полчаса жду. Вы должны ехать со мной немедленно. Лорд Хоксбери находится у французского посланника.

Я говорил это так уверенно и просто, что курьер не колебался ни минуты и сейчас же сел в извозчию карету. Я сел рядом. В душе я так сильно радовался, что мне хотелось

кричать.

Курьер министерства иностранных дел был маленький, тщедушный человечек, ростом чуть-чуть повыше Monsieur Ватто. А я, мсье... Вы видите, каковы у меня и теперь руки, представьте же себе, каков я был тогда, в двадцать семь лет. Ну, усадил я курьера в карету; спрашивается, что мне с ним делать? Вреда без надобности мне причинять ему не хотелось.

– Очень спешное дело, – сказал курьер, – у меня депеша, которую я должен вручить министру безотлагательно.

Мы проехали всю Гарлейскую улицу. Извозчик, повинуясь моим приказаниям, повернул лошадь и мы поехали назад.

– Вот так раз! Это что ещё за чертовщина?! – крикнул курьер.

– Чего вы кричите?

– Да ведь мы назад поехали! Где же лорд Хоксбери?

– Мы его скоро увидим.

– Выпустите меня! – закричал курьер. – Тут, я вижу, какое-то мошенничество. Извозчик, стой! Стой, тебе говорю! Выпустите меня, говорю я вам!

Курьер стал отворять дверцу кареты, но я его отшвырнул назад. Он закричал «караул». Я зажал ему рот ладонью, но он прокусил мне руку насквозь. Тогда я снял с него шарф и завязал ему рот. Курьер продолжал барахтаться и мычал, но производимый им шум заглушался стуком колёс.

Мы проехали мимо дома министра. Свечи были в прежнем положении.

Курьер на какое-то время успокоился, и я видел в темноте, как он глядел на меня, сверкая глазами. Он был оглушён, когда я его оттолкнул назад, сильно ударившись о стенку кареты. И кроме того, наверное, он размышлял, что ему делать?

Ему удалось, наконец, сдвинуть шарф. Высвободив рот, он произнёс:

– Если вы меня отпустите, я вам отдам часы и кошелёк.

– Благодарю вас, сэр, но я такой же честный человек, как и вы.

– Но кто вы такой?

– О, вам это совсем неинтересно!

– Чего вы от меня хотите?

– Видите ли, я заключил пари.

– Пари? Что вы хотите сказать? Да знаете ли вы, что мешаете исполнить дело государственной важности? За такое пари и верёвку неплохую дадут.

– Что делать! Я держал пари. Я страшный любитель всякого спорта.

– Достанется же вам за этот спорт! – воскликнул курьер. – Вы прямо какой-то сумасшедший, вот что я вам скажу.

Я ответил:

– Видите ли, сэр, я держал пари, что прочту целую главу из «Корана» первому человеку, которого встречу на улице.

Я не знаю, мсье, с чего мне пришла в голову такая мысль. Должно быть, я думал о своём переводе «Корана».

Курьер опять схватился за дверцу кареты, но я его снова отшвырнул назад и посадил на место. Он был измучен борьбой и спросил меня более смиренным тоном:

– А вы долго будете читать свой «Коран»?

– Это зависит от той главы, которую я буду читать. В «Коране» есть и длинная, и короткая главы.

– Прочтите, пожалуйста, что-нибудь покороче и отпустите меня с миром.

– Пожалуй, это будет нечестно с моей стороны, – возразил я. – Поспорив, что я прочту первому встречному главу из «Корана», я не подразумевал что-нибудь уж очень коротенькое. Я имел в виду главу средней величины.

– Караул! Грабят! – завопил снова потерявший терпение курьер, и мне пришлось опять завязать ему рот шарфом.

– Потерпите немножко! – сказал я ему. – Я быстро управлюсь, и кроме того, я прочту нечто, что должно вас заинтересовать. Признайтесь, что я великодушен и стараюсь всеми способами облегчить вашу участь.

Курьер, снова выпутавшийся из-под шарфа, простонал:

- Ради Бога, кончайте ваше чтение поскорее.
- Хотите, я вам прочту главу о Верблюде?
- Да, да, читайте.
- Но, может быть, вы, предпочтёте главу о Морской Лошади?
- Ну, читайте о Морской Лошади.

Мы опять проехали мимо дома министра. Сигнала на окне всё не было. Я принялся читать главу о Морской Лошади.

Вы, мсье, наверное, не знаете «Корана», а я его и тогда знал, и теперь знаю наизусть. Слог в «Коране» таков, что может привести в отчаяние человека, который куда-нибудь спешит. Но иначе нельзя. Восточные люди спешить не любят, а ведь «Коран» писался именно для них. Я принялся читать «Коран» медленно, торжественно, как и подобает читать священную книгу. Молодой человек даже притих от нетерпения и стонал. А я знай себе читаю:

«И вот вечером привели к нему лошадей, и каждая из этих лошадей стояла на трёх ногах, упершись концом копыта четвёртой ноги в землю, и когда эти лошади были поставлены перед ним, он сказал: «Возлюбил я земные блага любовью высшей, чем та, которой я стремился к неземному и высшему, и глядел я на этих лошадей и впал в нищету, забыв об Аллахе. Подведите ко мне лошадей поближе». И подвели к нему лошадей, и стал он отрезать им ноги, и...»

Но когда я дошёл до этого места, молодой англичанин вдруг на меня набросился. Боже мой, какие пять минут я провёл! Этот малютка-англичанин оказался боксёром. Он умел ловко наносить удары. Я пробовал поймать его за руки, а он знай себе хлоп да хлоп, то в глаз мне ударит, то в нос... Я наклонил голову и попробовал защититься. Напрасно, – он меня из-под низу стал лупить. Но как он ни старался, всё было тщетно. Я был для него слишком силен. Бросился я на него, а убежать ему и некуда; шлёпнулся он на подушки, а я его и притиснул – да так, что из него чуть дух не вылетел.

Нужно мне было во что бы то ни стало этого молодца связать. Стал я искать, чем бы мне его связать, и нашёл. Снял со своих башмаков ремни и одним связал ему руки, а другим ноги. Рот я ему заткнул шарфом. Умолк тут мой курьер; лежит только, да в темноте на меня глазами сверкает.

Сделал я всё это и занялся собой. Из носа у меня текла кровь. Выглянул я в окно кареты, мсье, и первым делом увидел окно в доме министра, и свечи уже переставлены. Ах, какими милыми, хорошими показались мне тогда эти свечи, мсье! Один, одними своими руками я помешал капитуляции целой армии и потери провинции. Да, мсье, я один, невооружённый, сидя в извозничьей карете на Гарлейской улице, разрушил то, что сделали у Абукира генерал Аберкромби и его пять тысяч солдат.

Времени мне терять было нельзя. Мсье Ватто мог выйти в любую минуту. Я остановил извозчика, дал ему вторую гинеею и велел ему ехать на Брутон-стрит вместе со злополучным курьером. Сам же я, нимало не медля, забрался в посольскую карету. Не прошло и минуты, как дверь дома отворилась и на пороге показались Monsieur Ватто и лорд Хоксбери. Министр заговорился до того, что вышел провожать нашего посланника до кареты. Министр был без шляпы. В то время, как лорд Хоксбери стоял у подъезда, послышался стук колёс, и из экипажа выскочил какой-то человек.

– Весьма важная депеша, милорд! – воскликнул он, подавая лорду Хоксбери запечатанный пакет. Я успел разглядеть лицо курьера. Это был не мой приятель, а другой, должно быть, посланный вдогонку. Лорд Хоксбери схватил пакет и прочитал его около фонаря кареты. Лицо у него стало бледное, как мел.

– Мсье Ватто! – воскликнул он. – Мы подписали договор по недоразумению. Египет давно в наших руках!

– Что? Невероятно! – воскликнул Monsieur Ватто, притворяясь поражённым.

– Но это так. Месяц тому назад Аберкромби овладел Египтом.

– В таком случае, я весьма счастлив, что договор уже подписан, – сказал Monsieur Ватто.

– Да, сэръ, у вас есть все основания считать себя счастливым, – ответил лорд Хоксбери и отправился к себе.

Договор во Францию отвёз я, мсье. Англичане послали за мной погоню, но догнать не

смогли. Их ищейки добрались только до Дувра в то время, когда я, Альфонс Лакур, был уже в Париже и докладывал Monsieur Талейрану и первому консулу о происшедшем. Оба они сердечно поздравили меня с успехом.

1894 г.

(перевод Павла Гелевы)

ВETERAN BATERЛОО

Было пасмурное октябрьское утро, тяжёлые тучи низко стлались над мокрыми, серыми крышами домов Вульвича. Внизу, на длинных улицах, застроенных кирпичными зданиями, всё было мрачно, грязно и неприветливо. От высоких строений арсенала доносился глухой шум от бесчисленных колёс, грохота падающих тяжестей и прочих проявлений человеческого труда. За арсеналом закопчённые дымом убогие жилища рабочих расходились лучами в постепенно ухотившей перспективе суживающейся дороги и исчезающих стен.

Улицы были почти пусты, потому что громадное чудовище, вечно извергающее из своей пасти клубы дыма и дававшее работу всему мужскому населению города, ежедневно с рассветом поглощало рабочих в своих стенах, чтобы вечером опять извергнуть их на улицу усталыми и измученными дневным трудом. Кое-где на крыльце домов виднелись здоровенные женщины в грязных передниках, с руками, загрубелыми от работы; оне занимались утренней уборкой и обменивались через дорогу громкими приветствиями. Вокруг одной, с жаром что-то говорившей, собрались приятельницы и время от времени одобрительно посмеивались её словам.

– Он достаточно стар, чтобы знать, что делать! – сказала она в ответ на восклицание одной из своих товарок. – Но сколько же ему лет на самом деле? Сколько я ни ломала над этим голову, так ничего и не поняла.

– Ну, это не так уж трудно рассчитать, – сказала бледнолицая, голубоглазая женщина с резкими чертами лица. – Он участвовал в битве при Ватерлоо, в доказательство чего у него есть медаль и пенсия.

– Это было в незапамятные времена, – заметила третья. – Меня тогда ещё и на свете не было.

– Это было пятнадцать лет спустя, считая от начала столетия, – сказала одна из женщин помоложе, стоявшая прислонившись к стене; улыбка на её лице показывала, что она считает себя осведомлённой лучше остальных. – Это сказал мне мой Билл в прошлую субботу, когда я говорила с ним о старом дяде Брюстере.

– Если предположить, что он сказал правду, миссис Симпсон, то сколько же лет прошло с тех пор?

– Теперь восемьдесят первый год, – сказала, считая по пальцам, женщина, вокруг которой собрался кружок, – а тогда был пятнадцатый. Десять да десять, ещё десять да десять, и ещё десять и десять – но выходит всего только шестьдесят шесть лет, так что в конце концов он не так уж стар...

– Но ведь не был же он новорождённым малюткой, участвуя в битве? – сказала молодая женщина, рассмеявшись. – Если допустить, что ему было в то время всего только двенадцать, то и тогда ему никак не меньше семидесяти восьми лет.

– Да, ему никак не меньше восьмидесяти лет, – сказала несколько голосов.

– Мне это уже надоело, – мрачно сказала первая женщина. – Если его племянница, или внучатая племянница, или кем там ещё она ему приходится, не придёт сегодня, я уйду; пусть он ищет себе кого-нибудь другого. Свои дела прежде всего – таков мой взгляд.

– Так он беспокойного нрава, миссис Симпсон? – спросила самая молодая из женщин.

– Вот послушайте, – ответила та, протянув руку и повернув голову по направлению к открытой двери. С верхнего этажа послышались чьи-то неровные шаги и сильный стук палкой об пол.

– Это он ходит взад и вперёд по комнате, *дозором*, как он говорит. Целую половину ночи он занимается этой игрой, глупый старикашка. Сегодня в шесть часов утра он постучал палкой ко мне в дверь. «Выходи на смену!» – закричал он, и ещё что-то совсем непонятное. Кроме того, ночью он постоянно кашляет, встаёт с кровати и отхаркивается, так что ни на минуту невозможно заснуть. Слушайте!

– Миссис Симпсон! Миссис Симпсон! – кричал кто-то сверху хриплым и жалобным голосом.

– Это он, – воскликнула она, кивая головой с торжествующим видом. – Он опять выкинет что-нибудь... Я здесь, мистер Брюстер.

– Дайте мне мой завтрак, миссис Симпсон.

– Он сейчас будет готов, мистер Брюстер.

– Ей Богу, он похож на маленького ребёнка, который просит есть, – сказала молодая женщина.

– Поверите ли, я иногда готова была задать ему хорошую взбучку, – злобно сказала миссис Симпсон. – Ну, кто идёт со мной выпить малую толику?

Почтенная компания уже двинулась, было, к питейному дому, когда какая-то молодая девушка перешла через дорогу и робко дотронулась до рукава ключницы.

– Ведь это N56 по Арсенальному проспекту? – спросила она. – Не можете ли вы мне сказать, здесь живёт мистер Брюстер?

Ключница окинула спрашивающую критическим взглядом. Это была девушка лет двадцати, широколицая, миловидная, со слегка вздёрнутым носом и большими серыми, честными глазами. Её ситцевое платье, соломенная шляпка, украшенная яркими цветами мака, и узелок, который у неё был с собою, – всё свидетельствовало о том, что она только что приехала из провинции.

– Вы, я полагаю, Нора Брюстер? – спросила миссис Симпсон, далеко не дружелюбно оглядев девушку с ног до головы.

– Да, я приехала, чтобы ходить за своим дедушкой Грегори.

– И отлично сделали, – кивнула ключница. – Пора уж кому-нибудь из его родственников о нём позаботиться, потому что мне это ох как надоело. Вот, значит, вы явились. Ладно, входите в дом и принимайтесь за хозяйство. Чай вон там, в чайнице, а ветчина в шкафу. Старик разозлится на вас, если вы не подадите ему завтрак. За своими вещами я приду вечером.

И, кивнув на прощание, она с кумушками отправилась в питейный дом.

Предоставленная таким образом самой себе, деревенская девушка вошла в первую комнату и сняла шляпу и жакет. Это была комната с низким потолком, в печке пылал огонь, на котором весело кипел медный котелок. Стоявший в комнате стол наполовину покрывала грязная скатерть; на столе были пустой чайник, ломоть хлеба и кое-какая грубая фаянсовая посуда. Нора Брюстер, быстро осмотревшись вокруг, тотчас же принялась за исполнение своих новых обязанностей. Не прошло и пяти минут, как чай был готов, два куса сала шипели на сковородке, стол был убран, вязанные салфеточки аккуратно разложены на тёмно-коричневой мебели – и вся комната стала чистенькой и уютной. Покончив с этим, девушка стала с любопытством разглядывать гравюры, развешанные на стенах. Затем её взгляд остановился на тёмной медали, висевшей на пурпуровой ленточке над камином. Под нею была помещена газетная вырезка. Девушка встала на цыпочки, уцепилась пальцами за доску над камином и вытянула шею, изредка поглядывая и на сало, шипевшее на сковородке. Пожелтевшая от времени газета гласила следующее:

«Во вторник в казармах третьего гвардейского полка, в присутствии принца-регента, лорда Гилля, лорда Солтауна и многочисленного собрания, среди которого было много представителей высшей аристократии, происходила интересная церемония вручения именной медали капралу Грегори Брюстеру из фланговой роты капитана Гольдена, пожалованной ему за храбрость, оказанную в происходившей недавно большой битве в Нидерландах. Дело обстояло так. В достопамятный день, 18-го июня, четыре роты третьего гвардейского полка под командою полковников Мэтленда и Бинга занимали ферму Гугумон, бывшую важным пунктом на правом фланге британских позиций. В критический момент боя у этих войск кончился порох. Видя, что генералы Фуа и Жером Бонапарт опять собирают свою пехоту для атаки британской позиции, полковник Бинг поспешил послать в тыл капрала Брюстера, дабы ускорить доставку боевых припасов. Брюстер напал на две повозки с порохом и, угрожая извозчикам мушкетом, заставил их везти порох в Гугумон. Однако в его отсутствие заграждения, окружавшие позиции, были зажжены французскими гаубицами, и проезд повозок с порохом сделался предприятием крайне рискованным. Первая повозка взорвалась, причём извозчик был разорван на куски. Второй извозчик, устрешённый участью своего товарища, повернул лошадей назад, но капрал Брюстер, вскочив на сиденье, сбросил его с повозки и, бешено погоняя лошадей, прорвался к своим товарищам. Победа, одержанная в этот день британской армией, может быть прямо приписана этому героическому поступку,

потому что без пороку было бы невозможно удержать Гугумон, и герцог Веллингтон неоднократно повторял, что если бы Гугумон пал, он не был бы в состоянии удержаться на своей позиции. Пусть же храбрый Брюстер живёт долго и хранит, как сокровище, эту медаль, которую он так храбро добыл, с гордостью вспоминая тот день, когда в присутствии товарищей он получил это воздаяние за своё мужество из августейших рук первого джентльмена Королевства».

Чтение этой старой вырезки ещё более увеличило в уме девушки уважение, которое она всегда питала к своему воинственному родственнику. С самого детства он был в её глазах героем. Она помнила, что её отец часто рассказывал о его мужестве и физической силе, о том, как он мог ударом кулака сшибить с ног молодого быка или свободно нести под мышками по жирной овце. Правда, она никогда не видела его, но всякий раз, когда она думала о нём, он представлялся ей таким, как изображали его домашние – широколицым, гладко выбритым, здоровенным мужчиной с большою мохнатою шапкой на голове.

Она всё ещё смотрела на медаль, ломая голову над тем, что могли значить слова «*dulce et decorum est*», вычеканенные на краях медали, когда на лестнице послышались чьи-то неровные шаги и на пороге двери остановился тот самый человек, который так часто занимал её воображение.

Но неужели то был он? Куда девался воинственный вид, сверкающие глаза, мужественное лицо, которое она так часто рисовала себе? В дверях стоял перед нею громадный, сгорбленный старик, худой и покрытый морщинами, с беспомощными плохо повинующимися членами. Копна пушистых седых волос, красный нос, два толстых клочка бровей и пара мрачно-вопрошающих глаз – вот что встретил её взгляд. Старик стоял, подавшись туловищем вперёд и опираясь на палку, в то время как его плечи вздымались и опускались в такт шумному хриплому дыханию.

– Накормите меня завтраком, – жалобно проговорил он, ковыляя к своему креслу. – Мне нужно поесть, чтобы согреться. Видите, какие у меня пальцы?

Он протянул свои обезображенные руки, сморщенные и узловатые, с громадными распухшими суставами и с посиневшими кончиками пальцев.

– Завтрак почти готов, – ответила девушка, удивлённо смотря на него. – Разве вы не знаете, кто я? Я Нора Брюстер из Уитхема.

– Ром согревает, – пробормотал старик, качаясь в своём кресле, – водка и суп также согревают, но для меня самое лучшее – чашка чая. Как, вы говорите, вас зовут?

– Нора Брюстер.

– Говорите громче, милая. Мне начинает казаться, что голоса людей стали слабее, чем в былые времена.

– Я Нора Брюстер, дядя. Я ваша внучатая племянница и приехала из Эссекса, чтобы жить у вас.

– Значит, вы – дочь брата Джорджа. Господи! Подумать только, у маленького Джорджа есть дочь!

Он хрипло рассмеялся, и длинные морщины на его шее затряслись и запрыгали.

– Я дочь сына вашего брата Джорджа, – сказала девушка, переворачивая на сковородке сало.

– А славным был маленький Джордж, – продолжал он, – право, славным, чорт возьми. У него остался мой щенок-бульдог, когда меня взяли на военную службу. Он рассказывал вам об этом?

– Но ведь дедушка Джордж умер двадцать лет назад, – сказала Нора, наливая чай.

– Да, это был превосходный бульдог, прекрасно выдрессированное животное, чорт возьми! Я зябну, когда мне долго не дают есть. Ром – хорошая вещь, и водка тоже, но я охотно пью вместо них чай.

Он тяжело дышал, уничтожая свой завтрак.

– Это довольно сносная дорога, по которой вы приехали, – сказал он наконец. – Вы, вероятно, приехали вчера вечером в почтовой карете?

– Нет, я приехала с утренним поездом.

– Господи, подумать только об этом! И вы не боитесь этих новомодных изобретений? Подумать только: вы приехали по железной дороге! Чего в конце концов не выдумают люди!

Тут на несколько минут наступила пауза, во время которой Нора молча пила чай, искоса поглядывая на синеватые губы и жующие челюсти своего собеседника.

– Вы, вероятно, повидали немало интересного на своём веку, дядя? – спросила она наконец. – Ваша жизнь должна вам казаться необыкновенно долгой.

– Не такую уж долгой, – отвечал он. – В Сретение мне будет девяносто лет, но мне кажется, что с тех пор, как я ушёл со службы, прошло не так уж много времени. А эта битва, в которой я участвовал... иногда мне кажется, что она была вчера. Будто и сейчас я слышу запах порохового дыма. Однако, подкрепившись, я чувствую себя гораздо лучше!

Теперь он действительно не выглядел таким изнурённым и бледным, как в первую минуту их встречи. Лицо его покраснелось, и он держался прямее.

– Прочли вы это? – спросил он, тряхнув головою в сторону газетной вырезки.

– Да, прочла, и думаю, что вы должны очень гордиться своим поступком.

– Ах, это был великий день для меня! Великий! Там был сам регент и множество высокопоставленных особ. «Полк гордится вами», – сказал мне регент. «А я горжусь полком», – ответил я. «Превосходный ответ!» – сказал он лорду Гиллю, и они оба засмеялись. Но что вы там увидели в окне?

– Ах, дядя, по улице идут солдаты с оркестром впереди.

– А, солдаты? Где мои очки? Господи, но я ясно слышу музыку. Вот пехотинцы и тамбур-мажор. Какой их номер, милая?

Его глаза сверкали, а костлявые жёлтые пальцы впились ей в плечо, точно когти какой-то свирепой хищной птицы.

– У них, кажется, нет номера, дядя. У них что-то написано на погонах. Кажется, Оксфордшир.

– Ах, да, – проворчал он. – Я слышал, что они уничтожили номера и дали им какие-то новомодные названия. Вот они идут, чорт возьми. Всё больше молодые люди, но они не разучились маршировать. Они идут лихо, ей Богу, лихо идут...

Он смотрел вслед проходившим солдатам, пока последние ряды их не скрылись за углом, и мерный звук шагов не затих в отдалении.

Только он уселся в своём кресле, как дверь отворилась, и в комнату вошёл какой-то джентльмен.

– А, мистер Брюстер! Ну что, лучше вам сегодня? – спросил он.

– Входите, доктор! Да, мне сегодня лучше. Но только ужасно хрипит в груди. Всё эта мокрота! Если бы я мог свободно откашляться, я чувствовал бы себя совсем хорошо. Не можете ли вы дать мне чего-нибудь для отделения мокроты?

Доктор, молодой человек с серьёзным лицом, дотронулся до его морщинистой руки со вздувшимися синими жилами.

– Вам следует быть очень осторожным, – сказал он, – вы не должны позволять себе никаких отступлений от режима.

Пульс старика был еле заметен. Совершенно неожиданно он засмеялся прерывистым старческим смехом.

– Теперь у меня живёт дочь брата Джорджа, которая будет ходить за мной, – сказал он. – Она будет следить за тем, чтобы я не удирал из казарм и не делал того, что не полагается. Однако, чорт возьми, я заметил, что-то было не так.

– Вы про что?

– Да про солдат. Вы видели, как они проходили, доктор, а? Они забыли надеть чулки. Ни на одном из них не было чулок. – Он захрипел и долго смеялся своему открытию. – Такая вещь не могла бы случиться при герцоге, – пробормотал он. – Нет, герцог задал бы им трёпку!

Доктор улыбнулся.

– Ну, вы совсем молодцом, – сказал он, прощаясь. – Я загляну к вам через недельку, чтобы справиться о вашем здоровье.

Когда Нора пошла провожать его, он вызвал её на крыльцо.

– Он очень слаб, – прошептал врач. – Если ему будет хуже, пошлите за мной.

– Чем он болен, доктор?

– Ему девяносто лет. Его артерии превратились в известковые трубки, сердце сужено и вяло. Организм износился.

Нора стояла на крыльце, глядя вслед удалявшемуся доктору и думая о новой ответственности, возложенной на неё. Когда она повернулась, чтобы войти в дом, то увидела подле себя высокого, смуглого артиллериста с тремя золотыми шевронами на рукаве мундира и с карабином в руке.

– Доброе утро, мисс! – сказал он, поднося руку к своей щегольской фуражке с жёлтым галуном. – Здесь, кажется, живёт старый джентльмен по имени Брюстер, участвовавший в битве при Ватерлоо?

– Это мой дядя, сэр, – сказала Нора, потупив глаза под проницательным, критическим взглядом молодого солдата. – Он в гостиной.

– Могу я поговорить с ним, мисс? Я зайду ещё раз, если сейчас нельзя его видеть.

– Я уверена, что он будет очень рад видеть вас, сэр. Он здесь, войдите, пожалуйста. Дядя, вот джентльмен, который хочет поговорить с вами.

– Горжусь, что имею честь видеть вас, горжусь и радуюсь, сэр! – сказал сержант, сделал по комнате три шага вперёд и, опустив карабин на землю, отдал честь.

Нора стояла у двери с раскрытым ртом и расширенными глазами, размышляя о том, был ли её дядя в юности таким же великолепным мужчиной, как этот сержант, и в свою очередь будет ли этот молодой человек когда-нибудь такой же развалиной, как её дядя.

– Садитесь, сержант, – сказал старик, указывая палкою на стул. – Вы ещё так молоды, а уже носите три шеврона. Господи, теперь легче получить три шеврона, чем в моё время один! Артиллеристы тогда были старые солдаты, и седые волосы на голове появлялись у них раньше, чем третий шеврон.

– Я служу восемь лет, сэр, – сказал сержант. – Моё имя Макдональд, сержант Макдональд из 4-й батареи Южного Артиллерийского дивизиона. Я послан к вам в качестве депутата от своих товарищей по артиллерийским казармам, чтобы сказать вам: мы гордимся тем, что вы живёте в нашем городе, сэр.

Старый Брюстер засмеялся и стал потирать свои костлявые руки.

– То же самое сказал и регент, – воскликнул он. – «Полк гордится вами», сказал он. «А я горжусь полком», ответил я. «Превосходный ответ», сказал регент, и они оба с лордом Гиллем расхохотались.

– Нижние чины сочтут за честь видеть вас, сэр, – сказал сержант Макдональд. – И если вас не пугает расстояние, для вас всегда найдутся в наших казармах трубка с табаком и стакан грога.

Старик расхохотался и затем раскашлялся.

– Рады видеть меня, говорите вы? Канальи! – сказал он. – Ладно, ладно, когда будет опять тепло на дворе, может быть, и загляну к вам. Весьма возможно, что загляну. Вы нынче стали слишком важны для казённого обеда, а? Завели себе столовые, как офицеры. До чего ещё дойдёт свет!

– Вы служили в линейном полку, сэр, не правда ли? – почтительно спросил сержант.

– В линейном?! – презрительно воскликнул старик. – Никогда в жизни не носил кивера. Я гвардеец, вот кто я. Я служил в Третьем Гвардейском полку, том самом, который теперь называют Шотландской Гвардией. Господи! Они все уже умерли, все до одного, начиная с полковника Бинга и кончая последним мальчиком-барабанщиком, и остался только я один. Я здесь, тогда как должен быть там. Но это не моя вина, я готов встать в строй, как только придёт приказ.

– Всем нам придётся быть там, – отвечал сержант. – Не хотите ли отведать моего табаку, сэр, – прибавил он, протягивая старику кисет из тюленьей кожи.

Старый Брюстер вытащил из своего кармана почерневшую глиняную трубку и начал набивать её табаком сержанта, как вдруг трубка выскользнула у него из рук и, упав на пол, разбилась вдребезги. Губы старика задрожали, нос сморщился, и он разразился продолжительными беспомощными рыданиями.

– Я разбил свою трубку! – жалобно воскликнул он.

– Перестаньте, дядя, перестаньте, – говорила Нора, наклоняясь над ним и глядя его по волосам точно маленького ребёнка. – Это пустяки. Мы достанем другую трубку.

– Успокойтесь, сэр, – сказал сержант. – Не сделаете ли вы мне честь принять от меня вот эту деревянную трубку с янтарным мундштуком? Я буду очень рад, если вы возьмёте её.

– Чорт возьми! – воскликнул старик, улыбаясь сквозь слёзы. – Это превосходная трубка. Посмотрите на мою новую трубку, Нора. Бьюсь об заклад, что у Джорджа никогда не было такой трубки. Вы принесли сюда свою винтовку, сержант?

– Да, сэр, я зашёл к вам, возвращаясь со стрельбы.

– Дайте мне поддержать её. Господи! Когда держишь в руках ружьё, чувствуешь себя так, точно опять стал молодым. Ах, чорт возьми, я сломал ваше ружьё пополам!..

– Это ничего, сэр, – воскликнул артиллерист со смехом. – Вы нажали на рычаг и открыли казённую часть. Вы знаете, конечно, что мы заряжаем их оттуда.

– Заряжаете его не с того конца? Удивительно! И без шомпола! Я слышал об этом, но мне не верилось. Ах, им не сравниться со старыми ружьями! Когда дойдёт до дела, – помяните моё слово, – вернутся опять к старым ружьям.

– Клянусь вам, сэр, – горячо воскликнул сержант, – перемены не помешали бы в Южной Африке! В сегодняшней утренней газете я прочёл, что правительство уступило этим бурам. Между солдатами идут горячие разговоры по этому поводу.

– Эх, эх, – ворчал старый Брюстер. – Чорт поberi! Этого не могло бы быть при герцоге. Герцог сказал бы им своё мнение.

– Да, уж он бы сказал, сэр! – воскликнул сержант. – Пошли нам Бог побольше таких, как он. Но я засиделся у вас. Я зайду к вам опять и, если вы позволите, приведу с собой товарищей, так как каждый из них почтёт для себя за честь поговорить с вами.

Итак, ещё раз поклонившись ветерану и улыбнувшись Норе, дюжий артиллерист ушёл, оставив после себя воспоминание о своём голубом мундире и жёлтом галуне. Но едва прошло несколько дней, как он пришёл снова; мало-помалу он сделался постоянным посетителем Арсенального проспекта. Он приводил с собой других, и скоро на паломничество к дяде Брюстеру во всём гарнизоне смотрели как на своего рода долг для каждого солдата. Артиллеристы и сапёры, пехотинцы и драгуны входили, кланяясь, в маленькую гостиную, гремя саблями и звеня шпорами, тяжело ступая длинными ногами по грубому мохнатому ковру и вытаскивая из кармана свёрток курительного или нюхательного табаку, который они приносили как знак своего уважения.

Была страшно холодная зима, и снег лежал на земле шесть недель подряд, так что Норе стоило большого труда поддерживать жизнь в этом измождённом теле. Были дни, когда старик впадал в слабоумие, и тогда он не говорил ни слова, и только в часы, когда он привык получать пищу, заявлял о своём голоде нечленораздельным криком. Но когда опять наступила тёплая погода, и зелёные почки стали лопаться на деревьях, кровь оттаяла в его жилах, и он стал даже садиться на крылечке и греться под яркими солнечными лучами.

– Это укрепляет меня, – сказал он однажды утром, греясь на майском солнце. – Только трудно отгонять мух. Оне становятся назойливыми в такую погоду и жестоко кусают меня.

– Я буду отгонять их от вас, дядя, – сказала Нора.

– Э, что за чудесная погода! Солнечный свет заставляет меня думать о небесном сиянии. Почитайте мне библию, моя милая. Я нахожу, что это удивительно успокаивает.

– Что вам прочесть из неё, дядя?

– Прочтите мне про войны.

– Про войны?

– Да, придерживайся войн. Почитай-ка мне из Ветхого Завета. Он мне больше по вкусу. Когда приходит пастор, он читает другое, а мне подавай Иисуса Навина или никого. Хорошие солдаты были эти израильтяне, чудесные солдаты.

– Но, дядя, – возразила Нора, – на том свете уже не будет войн.

– Нет, будут, милая.

– Но нет же, дядя.

Старый капрал сердито стукнул палкой об пол.

– Говорю вам, что будут, милая. Я спрашивал пастора.

– Что же он сказал?

– Он сказал, что там будет последняя битва. Он даже назвал её. Битва при Арм... арм...

– Армагеддон.

– Да, так её и назвал пастор. Я думаю, что Третий Гвардейский полк будет там. И герцог... Герцог скажет своё слово.

В это время, поглядывая на номера домов, по улице проходил пожилой господин с седыми бакенбардами. Увидев старика, он направился прямо к нему.

– Добрый день, – сказал он, – не вы ли Грегори Брюстер?

– Так точно, я, – ответил ветеран.

– Вы, как я думаю, тот самый Брюстер, который значится в списках Шотландского Гвардейского полка как участник битвы при Ватерлоо.

– Тот самый, сэр; хотя мы называли его тогда Третьим Гвардейским. Это был прекрасный полк, и ему не хватает только меня, чтобы быть в полном составе.

– Полноте, полноте, им ещё долго придётся ждать вас, – сказал джентльмен. – Но я полковник Шотландского Гвардейского полка и хотел бы поговорить с вами.

Старый Грегори мгновенно поднялся на ноги и приложил руку к своей шапочке из кроличьей шкурки.

– Господи помилуй! – воскликнул он. – Это удивительно! Только подумать!

– Не войти ли лучше джентльмену к нам в дом? – предложила из-за двери практичная Нора.

– Конечно, сэр, конечно, входите, если смею просить вас об этом.

В своём волнении он забыл взять палку и потому, сделав несколько шагов, зашатался и упал бы, если бы полковник и Нора моментально не подхватили его под руки с обеих сторон.

– Успокойтесь, не надо волноваться, – сказал полковник, подводя его к креслу.

– Благодарю вас, сэр; я чуть не отправился на тот свет. Но, Господи, ведь я едва верю своим глазам! Подумать только: вы, полковой командир, сидите у меня, капрала фланговой роты. Чорт возьми, как всё меняется на свете!

– Но мы все в Лондоне гордимся вами, – сказал полковник. – Итак, вы действительно один из храбрецов, удержавших Гугумон.

Полковник посмотрел на его костлявые, дрожащие руки с огромными опухшими суставами, на его исхудалую шею и сгорбленную спину. Неужели это в самом деле был последний из той кучки героев? Затем он посмотрел на пузырьки, наполовину наполненные лекарствами, на голубые бутылки с мазью, на все отталкивающие подробности комнаты больного. «Наверное, было бы лучше, погибни он под горящими балками бельгийской фермы», – подумалось полковнику.

– Надеюсь, что вы чувствуете себя хорошо и ни в чём не нуждаетесь? – заметил он после паузы.

– Благодарю вас, сэр. Меня ужасно беспокоит мой кашель... ужасно беспокоит. Вы не можете себе представить, как трудно мне отхаркивать мокроту. И мне постоянно хочется есть. Я зябну, когда мне долго не дают есть. А мухи! Я слишком слаб, чтобы справиться с ними.

– А как ваша память? – спросил полковник.

– О, память у меня в порядке. Верите ли, сэр, я могу вам назвать по имени каждого из солдат фланговой роты капитана Гольдена.

– А битва? Вы помните её?

– Ещё бы! Каждый раз, как закрываю глаза, я как бы снова переживаю её во всех подробностях. Вы не поверите, сэр, до чего ясно она представляется мне. Вот линия наших войск – от бутылки с болеутоляющим до табакерки. Вы смотрите? Теперь пусть коробочка с пилюлями направо будет Гугумон, где находились мы, а напёрсток Норы – Лаэ-Сент. Здесь были все наши пушки, а вон там, позади, резервы и бельгийцы. Ах, эти бельгийцы! – он яростно плюнул в огонь. – Затем, там, где лежит моя трубка, находились французы, а выше, куда я положил свой кисет с табаком, – пруссаки, подходившие к нам с левого фланга. Чорт возьми! Красивое было зрелище, когда они начали палить из пушек.

– Что же вас больше всего поразило в этом сражении? – спросил полковник.

– Я лишился во время него трёх пол-крон, – жалобно сказал старый Брюстер. – Ничего удивительного не будет, если мне не удастся получить эти деньги обратно. Я дал их в Брюсселе Джабезу Смиту, своему соседу по строю. «В ближайшую получку я верну вам эти деньги, Грег», – сказал он. Но ему не пришлось сдержать своё слово. Его заколол улан в Куортер-Брассе, и я остался с распиской в руках вместо денег. Так я всё равно что потерял эти деньги.

Полковник, смеясь, встал со стула.

– Офицеры полка хотели бы, чтобы вы купили себе какую-нибудь безделицу, которая послужила бы к вашему удобству, – сказал он. – Это не от меня, так что вы, пожалуйста, не благодарите.

Он взял кисет старика и сунул в него новенький банковский билет.

– Благодарю вас, сэр. Но я хотел бы попросить вас об одной милости, полковник. Когда я умру, вы не откажете мне в воинских почестях при погребении?

– Хорошо, мой друг, я позабочусь об этом, – сказал полковник. – До свидания. Надеюсь, что буду иметь от вас только хорошие вести.

– Хороший джентльмен, Нора, – проворчал старый Брюстер, глядя вслед удалившемуся полковнику, – но всё-таки далеко ему до моего полковника Бинга.

В этот день старику неожиданно сделалось хуже. Даже яркое летнее солнце целыми потоками врывавшееся в комнату, было не в состоянии отогреть это увядшее тело. Пришедший доктор молча покачал головой. Весь день больной лежал неподвижно, и только слабое дыхание показывало, что в нём ещё теплится жизнь. Нора и сержант Макдональд весь день сидели у его кровати, но он, повидимому, не замечал их присутствия и лежал тихо, с полужакрытыми глазами, положив руки под щеку, как человек, который очень устал.

Они оставили его на минуту одного и сидели в соседней комнате, где Нора готовила чай, как вдруг громкий, полный силы и яростного возбуждения голос прозвучал по всему дому:

– Гвардейцам нужен порох! – крикнул он, и затем ещё раз: – Гвардейцам нужен порох!

Сержант вскочил с места и бросился в комнату больного; за ним последовала дрожащая Нора. Старик стоял на ногах подле своего кресла; его глубокие глаза сверкали, седые волосы стояли дыбом, а вся фигура дышала возбуждением и гневным вызовом.

– Гвардейцам нужен порох! – прогремел он ещё раз, – и, клянусь Небом, он у них будет!

Широко взмахнув в воздухе длинными руками, он со стоном упал в кресло. Сержант нагнулся над ним, и лицо его омрачилось.

– О, Арчи, Арчи, – простонала испуганная девушка, – как вы думаете, что с ним такое?

Сержант отвернулся.

– Я думаю, – сказал он, – что третий гвардейский полк теперь в полном составе.

1894 г.

(перевод Павла Гелевы)

СОДЕРЖАНИЕ

Наполеоновская эпопея Конан-Дойля (П.А. Гелева)	
ДЯДЮШКА БЕРНАК (перевод М. Антоновой и П. Гелевы)	
ГИГАНТСКАЯ ТЕНЬ (перевод М. Антоновой и П. Гелевы)	

РАССКАЗЫ:

Женитьба бригадира (перевод Д. Жукова)	
Хитрости дипломатии (перевод П. Гелевы)	
Ветеран Ватерлоо (перевод П. Гелевы)	